
ЭБ

Узорочная пестрядь

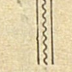
СЕРГѢЙ АТАВА (С. Н. ТЕРПИГОРЕВЪ)

УЗОРОЧНАЯ ПЕСТРЯДЬ

> „Узорочная пестрядь, или пестрядинное узорочье, составляетъ предметъ производства хлѣбородной полосы Россіи, гдѣ разводятся также и волокнистыя растенія. Пестрядь производится домашнимъ способомъ на неприхотливыхъ станкахъ, и не получаетъ настоящей отдѣлки. Отчего видъ и свойство ея грубоваты, но въ нòскѣ она имѣетъ достоинства. Цѣна ея еще не опредѣлилась".
>
> „Экономич. Вѣстникъ"—о производительныхъ силахъ Россіи.

ИЗДАНІЕ Ф. Н. ПЛОТНИКОВА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,
Гостинный дворъ, № 151.



МОСКВА,
Мясницкая, магазинъ Наумова.

1883





Типографія А. С. Суворина, Эртелевъ пер., д. 11—2



Первыя впечатлѣнія.—Козловъ.

Послѣ грязныхъ, длинныхъ николаевскихъ вагоновъ, маленькіе, чистенькіе вагоны московско-рязанской дороги показались мнѣ такими славными, свѣтлыми, уютными.

— Курить здѣсь можно? спросилъ я кондуктора, пришедшаго чуть ли не въ десятый разъ повѣрять билеты.

— Отчего же, можно.

— А газету какую-нибудь у васъ можно купить?

— И это можно: ихъ сейчасъ будутъ разносить.

Я закурилъ сигару и принялся за обычныя занятія пассажира—наблюденія и разсматриванія своихъ сосѣдей и визави. Сосѣда на этотъ разъ у меня не было и его мѣсто занималъ мой сакъ. Визави сидѣли двое: прямо противъ меня, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати пяти, бѣлокурый, съ маленькими изящными усиками и бородкой, съ умными, нѣсколько утомленными сѣрыми глазами, вообще обладатель очень счастливой наружности. Одѣтъ онъ былъ для дороги черезчуръ ужь свѣжо и изыскано. Еслибъ не изящная дорожная сумочка поверхъ свѣтлаго сѣраго драповаго пальто и не форменная фуражка, вмѣсто шляпы, можно бы было пожалуй подумать, что онъ собирался съ визитомъ въ какой-нибудь самый щепетильный домъ; даже перчатки, совершенно новенькія, онъ

надѣлъ при мнѣ, въ вагонѣ, взамѣнъ нѣсколько поношенныхъ, которыя онъ тутъ же выбросилъ въ окно. Рядомъ съ нимъ сидѣла дама въ бѣломъ кашемировомъ башлыкѣ съ серебрянымъ шитьемъ и кисточками; на видъ ей было тоже лѣтъ двадцать-пять, съ энергическимъ, нѣсклько насмѣшливымъ, даже злымъ выраженіемъ въ глубокихъ темно-синихъ глазахъ, въ бровяхъ, почти сросшихся, и въ маленькой складочкѣ между ними. Это была въ полномъ смыслѣ красавица, роскошная, энергическая и въ то же время хорошо знающая цѣну своей красотѣ. Одѣта она была просто, но тоже свѣжо и со вкусомъ. Съ ловкостью и уютностью, свойственной только женщинамъ, она усѣлась въ своемъ уголкѣ, и, слегка закусивъ нижнюю губу, какъ будто что-то припоминала или разсчитывала. У противоположнаго окна, вытянувъ ноги и скрестивши на груди руки, въ сѣромъ пальто на красной подкладкѣ, дремалъ старикъ-генералъ, лѣтъ семидесяти, съ совершенно бѣлыми баками и усами.

Больше никого не было въ вагонѣ.

Минутъ черезъ двадцать по уходѣ кондуктора, къ намъ вошелъ мальчикъ лѣтъ шестнадцати, съ сумочкой, туго набитой газетами, книжками, и остановился передъ генераломъ.

— Газетъ не угодно ли?

Генералъ на минуту широко открылъ глаза, проговорилъ: а что?.. нѣтъ, не нужно! и опять задремалъ.

Мальчикъ подошелъ къ намъ.

— Какія у васъ газеты?

— А вотъ извольте сами выбирать.

Но выбирать оказалось нечего. №№ всѣ были старые, вышедшіе уже дней пять.

— Да это все старыя, сказалъ я.

— Помилуйте, гдѣ же старыя? Они всѣ запечатаны, мы старыхъ не беремъ.

— Да вышли-то они давно, я еще ихъ Петербургѣ читалъ.

— Позднѣе нѣтъ-съ. Надо эти прежде продать, тогда опять изъ Москвы получимъ. Вотъ изъ книжекъ не угодно ли? „Необходимое наставленіе въ супружеской жизни“, „Грамматика любви“, „Мужчина и женщина“, „Физіологія брака“, пересчитывалъ блѣдный мальчикъ.

— Нѣтъ, и этого не нужно.

— Карточки стереоскопныя... робко проговорилъ онъ, поведя на насъ глазами.

— Что такое? Какія карточки? вмѣшалась красавица.

— Стереоскопныя-съ.

— Позвольте, и она протянула немного руку.

„Она навѣрно не знаетъ, что̀ это за карточки, ее надо предупредить“, подумалъ я.

— Не смотрите, это дрянь, это нехорошія, брякнулъ я.

Она удивленно-насмѣшливо посмотрѣла на меня: дескать, и безъ тебя, другъ, знаю; что ты въ опекуны-то лѣзешь?

Мальчикъ, немного было-оторопѣвшій отъ моихъ словъ и уже собиравшійся уйти, жалобно взглянулъ на меня, на моего визави и вытащилъ толстую пачку карточекъ, завернутую въ пол-листа бѣлой писчей бумаги.

— Я ихъ всѣ пересмотрю... Это долго. Вы или сядьте, или уйдите. Онѣ будутъ цѣлы, до Козлова ѣду, не убѣгу.

Мальчикъ еще разъ обвелъ насъ своимъ умоляющимъ взглядомъ, пробормоталъ: „по 50 к. с. за штуку“, неловко торопливо наклонился и вышелъ. Дама принялась разсматривать карточки, а я ее.

„Кто бы это могъ быть?..“ думалъ я: „такое свѣжее лицо... такія манеры... Что это за явленіе?“ И вдругъ мнѣ припомнилось, что я ее гдѣ-то видалъ и часто видалъ, даже знакомъ съ нею. „Но гдѣ, когда? Вѣрно

только, что въ Петербургѣ". Мой визави попросилъ у меня огня, закурилъ папироску, удивленно переглянулся со мною и тоже сталъ ее разсматривать. Она молча перебирала карточки, откладывая однѣ направо, другія налѣво. Ни одинъ мускулъ не шевелился въ ея лицѣ, только иногда, и то чуть-чуть, верхняя губа слегка приподнималась и все лицо, спокойно-серьёзное, принимало на нѣсколько секундъ злое и презрительно-досадное выраженіе... „Гдѣ это я ее видѣлъ? А видѣлъ. Это вѣрно". Сперва мнѣ показалось, что я видѣлъ ее одинъ разъ на подъѣздѣ послѣ маскарада, но нѣтъ, это не та, у той не русское было лицо, а похожа, очень похожа. Гдѣ же, когда?—чуть ли не въ сотый разъ спрашивалъ я себя и все-таки даже на умѣ, что называется, не вертѣлось отвѣта.

Наконецъ, карточки были всѣ пересмотрѣны и лежали у нея на колѣнахъ въ двухъ пачкахъ. Съ секунду она подумала о чемъ-то, потомъ смѣшала ихъ и начала считать. „Сорокъ-семь". Она немного подняла голову и сжала глаза. „По пятидесяти коп. Четырежды пять—двадцать, да пятью семь... Пятью семь сколько?" Глаза наши встрѣтились. „Сколько же?" повторила она.

— Тридцать-пять.

— Это значитъ, за 47 карточекъ 23 р. 50 к. Такъ?

— Такъ. Стало быть, вы еще и купить ихъ хотите?

— „Еще и", вырвала она изъ моей фразы. — Да, куплю, дрянь только страшная — все какія-то жалкія, истасканныя рожи, ни у одной нѣтъ порядочныхъ формъ— точно манекены: ни жизни, ни позы, ни движенія... Впрочемъ, для Тамбова и эти будутъ хороши...

„Формы, манекены, движенія"—и я сразу вспомнилъ, гдѣ я ее видѣлъ.

— Что вы такъ на меня смотрите?

— Припоминаю, гдѣ я васъ видѣлъ.

— У I—ва. Я васъ сразу, какъ вы вошли въ вагонъ, узнала. Въ прошломъ году мы съ вами раза три у него встрѣчались, я къ нему „на натуру“ ходила.

— Да, я тоже теперь вспомнилъ.

— Вѣдь вы, кажется, съ нимъ большіе пріятели были? Онъ мнѣ часто объ васъ говорилъ.

— Онъ славный былъ малый.

— Да, чудакъ только: все идеальныхъ людей добивался.

Съ минуту мы ѣхали молча.

— Вы въ Тамбовъ или дальше? спросила она.

— Да, въ Тамбовъ, т.-е. вообще въ Тамбовскую губернію.

— Къ роднымъ?

— Да.

— Вы хорошо знаете Тамбовъ?

— Знаю немножко. А что?

— Такъ... И я туда же ѣду.

— Тоже къ роднымъ?

— Къ роднымъ. Она улыбнулась.

— Въ деревню?

— Куда придется.

— Какъ же это такъ?

— Да такъ же, какъ и все на свѣтѣ...

— Что-жь, вы хотите въ гувернантки развѣ къ кому?

— Не знаю; можетъ, буду дебютировать и въ роли гувернантки...

— То-то вы и запасаетесь учебными пособіями, стряхивая упавшій на рукавъ пепелъ и нѣсколько оживляясь, процѣдилъ вялый блондинъ.

— Какими пособіями? просто спросила натурщица, очевидно, не догадываясь.

— А вотъ карточками-то.

— А! Да, это хорошо сказано. Учебныя пособія... повторила она. Блондинъ молчалъ.

— Вы также въ Тамбовъ? начала она.

— Да-съ.

— Вы тамъ служите?

— Буду служить.

— А прежде гдѣ служили?

— Въ Петербургѣ.

— Первый разъ ѣдете въ Тамбовъ?

— Нѣтъ, это моя родина, я тамъ каждый годъ бываю.

— Ну, значитъ, Тамбовъ хорошо знаете?

— Хорошо знаю.

— Значитъ, вы всю подноготную знаете, всю скандальную тамошнюю жизнь знаете, все знаете? разспрашивала она.

— Все знаю.

— Стало быть, и Д. знаете (она назвала нашего помпадура), и его содержанку знаете?

— Знаю.

— Что это за господинъ?

— Зачѣмъ это вамъ?

— Такъ, надо. Я къ нему, т. е. къ его содержанкѣ ѣду. Скажите же, что это за господинъ? старикъ? очень старъ?

— Да, ужъ старъ.

— Я ему орденъ везу. Лиза просила купить. Старый потерялъ, а новаго въ Тамбовѣ негдѣ купить. Глушь, говоритъ, страшная.

— Глуховато...

— Ну, теперь вотъ что̀ скажите: правда, она пишетъ, что въ Тамбовѣ пропасть молодежи богатой изъ тамошнихъ помѣщиковъ? Отцы, говоритъ, померли съ перепугу отъ крестьянской реформы, а они-то, на волькѣ, и кутятъ. Какой-то князекъ, пишетъ, ужъ особенно старается. Правда?

— Н-да. Правда.

— Кутятъ? А инженеры? Тамъ дороги теперь желѣзныя строятъ. У нихъ, пишетъ, шальной деньги тоже не мало водится.

— Жалованье огромное. Подрядчики. Денегъ много.

— Ну, спасибо вамъ за это... Вы холостой?

— Да.

— А вы?

Я сказалъ то же.

— Будете въ Тамбовѣ—ко мнѣ, господа. Не побрезгуйте когда чаю напиться, поболтаемъ. Лиза пишетъ, глушь страшная, дурь непроходимая.

Блондинъ сказалъ, что непремѣнно будетъ ѣздить.

— А вы?

— Если буду въ Тамбовѣ, зайду и я. Ваши дебюты во всякомъ случаѣ любопытны... Я буду за вами слѣдить...

— Такъ денегъ много? еще разъ переспросила она.

— Много.

— То и любо!..

И какая-то злая, жадная радость тихо проступила на ея до сихъ поръ оживленно красивомъ лицѣ. Она задумалась. Она показалась мнѣ отвратительна. Все, что̀ выдвигало ее—красота, шикъ, признаки несомнѣннаго ума, вызывающая смѣлость признанія—все вдругъ исчезло.

— Столичная цивилизація степи просвѣщать ѣдетъ, закуривая другую папироску и поводя глазами на сосѣдку, пробормоталъ блондинъ.

— А? что такое? переспросила она, какъ бы пробуждаясь.

— Я говорю: столичная цивилизація ѣдетъ степи просвѣщать, кивая ей на нее самое, повторилъ онъ.

Опять шевельнулись очертанія рта, глаза углубились какъ-то, потемнѣли, явилось оскорбительнѣйшее изъ всѣхъ выраженій человѣческаго лица—снисхонительно презрительное со смысломъ: молодъ, дескать, не тебѣ, непомя-

тому жизнью, судить и рядить объ этомъ. Начался разговоръ, которому я отроду ничего подобнаго не слыхалъ и не читалъ: она не сказала ни одной сальной, ни одной плоской фразы; это былъ цѣлый рядъ холодныхъ, глубоко развратныхъ мыслей, умно и спокойно подобранныхъ. Собственно говоря, она не оправдывалась, а просто разбирала, въ наставленіе и вразумленіе его, одинъ за другимъ, желудочно-соціальные вопросы, ясно и ловко выводя свое право на полученіе доли въ „шальныхъ“ деньгахъ.

Противникъ ея былъ убитъ, цѣплялся за выраженія, улыбался, и наконецъ совсѣмъ спутался и замолчалъ. Замолчала и задумалась и она. Смеркалось. Виднѣлась ровная, низкая болотистая мѣстность, становилось сыро, въ открытое окно врывался мокрый воздухъ съ паромъ и дымомъ; виднѣлись усадьбы, низенькія строеньица—избы, должно быть. Я поднялъ окно, плотнѣе забился въ свой уголъ и тоже молчалъ. Мнѣ какъ-то даже страшно стало за будущія жертвы ея. А покосъ ей будетъ, я знаю, хорошій. Такая волчица въ такой непроглядной глуши свободно и долго погуляетъ...

Поѣздъ съ пассажирами приходитъ въ Козловъ только одинъ разъ, въ двѣнадцать часовъ ночи; также и отходитъ одинъ разъ, въ семь съ половиною часовъ утра. И то, и другое время крайне неудобно назначено. Пріѣхали мы аккуратно, минута въ минуту. Вокзалъ, очень хорошій и хорошо отдѣланный, былъ ярко освѣщенъ газомъ. Въ залѣ втораго и перваго класса былъ накрытъ прекрасно сервированный столъ. Нѣсколько человѣкъ мужчинъ и дамъ, пріѣхавшихъ встрѣчать поѣздъ, пили чай, ужинали. Зная, что въ Козловѣ, кромѣ вокзала, негдѣ порядочно пообѣдать или поужинать, я получилъ свой багажъ и спросилъ карточку. Подошла наша натурщица и тоже потребовала ужинъ. Подошелъ, наконецъ, и ея сосѣдъ, и

онъ спросилъ карточку; какихъ-то два мѣстныхъ денди въ палевыхъ и розовыхъ галстучкахъ скосились на насъ и перешептывались. Рѣчь шла несомнѣнно объ нашей красавицѣ. Немного погодя, они куда-то убрались, и мы остались въ залѣ втроемъ. Кое-гдѣ потушили газъ; неразобранный багажъ стащили въ кучу. Разныя бюро и конторки заперлись и захлопнулись. Стало тихо. Принесли, наконецъ, нашъ ужинъ.

— Какая здѣсь лучшая гостинница, т. е. чище гдѣ? спросилъ я.

— Къ „Сѣверову“ пожалуйте, чище этой нѣтъ-съ. Тамъ всѣ господа помѣщики останавливаются.

— Ѣхали вмѣстѣ, въ одной гостинницѣ и станемъ, предложилъ блондинъ.

Я согласился. Натурщица мнѣ кивнула головой: она все еще была подъ впечатлѣніемъ прошлаго разговора. Какъ-то робокъ былъ и ея противникъ. Вдругъ у подъѣзда послышался трескъ ресорнаго экипажа и, немного погодя, быстро взошелъ въ черномъ цилиндрѣ красивый, высокій, изящно одѣтый господинъ лѣтъ двадцати-трехъ-четырехъ, съ круглой, черной бородкой, съ усами, подошелъ къ столу, вставилъ въ глазъ стеклушко, обвелъ насъ взглядомъ и остановился на натурщицѣ.

— Карточку!

Подали карточку. Явились какія-то личности въ желѣзно-дорожной формѣ, т. е. собственно въ форменныхъ фуражкахъ.

— Поѣздъ во время пришелъ, не опоздалъ? спрашивалъ брюнетъ.—Все благополучно?

Натурщица спросила у лакея, кто это. Ей сказали: инженеръ и назвали фамилію.

— Ростбифъ, портеръ, лафитъ, холодная пулярка, полбутылки шампанскаго, мороженое, персики, заказы-

валъ инженеръ, ногтемъ отмѣчая порціи.—А еще никого нѣтъ въ вокзалѣ?

— Никого-съ.

Подъѣхалъ еще экипажъ, еще, и, наконецъ, набрался опять народъ, но это все были, очевидно, козловскіе львы; всѣ они были знакомы между собою, всѣ веселые и всѣ такъ и останавливались, какъ обожженные, на нашей спутницѣ. Меня это заняло.

„Ну, кому же разставишь ты сѣти?“ невольно вспомнилось мнѣ. Красавица не обращала ни на кого никакого вниманія. Одинъ только брюнетъ инженеръ удостоился услышать отъ нея „merci“ за пододвинутую солонку. Наконецъ, мы все поѣли, запили ужинъ, кто виномъ, кто чаемъ—надо было ѣхать въ гостинницу. Спрашиваю извощика—говорятъ, извощики всѣ ужь разъѣхались. Что тутъ дѣлать? Дама наша такъ и ахнула. Рѣшили: отправится блондинъ и приведетъ кого нибудь, если найдетъ гдѣ на улицѣ, а мы пока будемъ ждать. Инженеръ поужиналъ, закурилъ сигару, вынулъ изъ кармана пачку серій, и, посмотрѣвъ число мѣсяцевъ на верхней, отдалъ лакею.

Прошелъ черезъ зало кондукторъ и пронесъ газеты. Въ дверяхъ буфета онъ началъ ихъ считать и передавать кому-то. Я подошелъ, спросилъ продажныя ли, новыя ли, и сталъ отбирать себѣ.

— Могу я знать фамилію этой дамы? послышалось позади меня. Я обернулся, передо мной стоялъ инженеръ.

— Полагаю, что можете, но я не могу сказать вамъ фамиліи ея, я не знаю.

— А знаете, кто она?

— Это знаю. Натурщица.

— Вы художникъ, и она съ вами ѣдетъ?

— И не художникъ, и не со мной ѣдетъ.

— И не съ этимъ блондиномъ?

— Нѣтъ.

Инженеръ извинился, что побезпокоилъ вопросами, и отошелъ. Когда я вернулся къ столу, онъ уже говорилъ съ нею, говорилъ, что извощиковъ здѣсь не найдемъ, а если и найдемъ какого, то на немъ, во-первыхъ, и ѣхать страшно и, наконецъ, дождь, грязь.

— Какъ же быть?

— Если позволите, я васъ довезу въ своей коляскѣ. Вы гдѣ остановитесь? Лучше всего у Сѣверова.

Она сказала, что тамъ и хотимъ.

— Вотъ и прекрасно, и я, пока мою квартиру отдѣлываютъ, тоже тамъ стою. Угодно?..

Между тѣмъ пріѣхалъ блондинъ, досталъ гдѣ-то гнуснѣйшаго извощика, и мы отправились,—впереди, въ коляскѣ, инженеръ съ своей новой знакомой, позади мы съ блондиномъ.

— Онъ съ ней знакомъ?

— Сейчасъ познакомились.

— Одинъ, значитъ, попался. Она вотъ повыпорошитъ его. Я бывалъ у нихъ въ передѣлкѣ, злился вялый юноша.

Кругомъ грязь, слякоть; моросилъ мелкій, частый дождикъ, мостовая убійственная. Коляска, наконецъ, остановилась у подъѣзда; инженеръ ловко выскочилъ, подалъ руку своей дамѣ и высадилъ. Вскочилъ и вытянулся сонный, высокій швейцаръ-солдатъ; сверху слышались какіе-то смѣшанные звуки органа, арфы, женскихъ голосовъ. Было часа два ночи. Нумеръ намъ дали очень порядочный, т. е. чистенькій, безъ клоповъ, безъ тараканов; взяли и цѣну порядочную—1 р. 50 коп. въ сутки.

Бѣлья постельнаго не полагается. Пришлось развязывать чемоданы, вытаскивать простыни. Двѣ подушки безъ наволочекъ, какія намъ дали, мы обернули полотенцами. Товарищъ мой спросилъ себѣ горячей воды, вытащилъ изъ чемодана какіе-то флаконы, баночки съ помадой, тѣс-

томъ и принялся натираться. Я такъ и заснулъ—онъ все возился.

Часа въ три или четыре утра насъ разбудилъ страшный гвалтъ въ сосѣднемъ нумерѣ. Слышался собачій визгъ, раздавалось: кушъ, тибо и пр. Какіе-то два голоса слышались.

— Понимаешь, я требую.

— Да гдѣ же теперь достанешь? Всѣ, сударь, спятъ.

— А мнѣ какое дѣло—достань. Развѣ я даромъ прошу! Ну, живо!

Я отворилъ дверь въ коридоръ. Половой въ одной рубашкѣ, босой, съ заспанной рожей, шелъ отъ безпокойнаго господина.

— Кто это такое, спросилъ я.

— Помѣщикъ-съ!.. Сейчасъ пріѣхалъ, спрашиваетъ сырого мяса собакамъ. Ну, гдѣ я теперь достану? Шесть собакъ—развѣ мало имъ нужно!

Гвалтъ продолжался, слышалось попрежнему: „кушъ, Роброй! а, подлецы! Тибо, тибо, куда? Поцалуй меня!“ Черезъ полчаса половой однако досталъ говядины и принесъ.

— Ну, вотъ видишь, досталъ-же.

— Да вѣдь это что? Это вѣдь порціи бифштекса. Вѣдь за это по 30 коп. за каждую порцію заплатите.

— Ну, чтожъ, и заплачу. Тибо! Куда? — Ты вѣдь обѣдалъ?

— Какой нашъ обѣдъ! схватишь чего.

— Ну, все-таки обѣдалъ! Схватилъ чего?

— Да какъ же не ѣмши-то!

— Ну, про то и я тебѣ говорю. Такъ и собака. Пріѣзжихъ много?

— Одинъ только нумеръ остался.

— Кто и кто?

Лакей сталъ пересчитывать. Дошло наконецъ дѣло и

до натурщицы. „Съ инженеромъ пріѣхала со станціи. Взяла отдѣльный нумеръ, а теперь у него“.

— Хорошенькая?

— Ничего. Такая изъ себя видная.

— Брюнетка, волосы черные?

— Черные.

— Ну, и такая полная, большая?

— Большая такая изъ себя.

— Надо это, однако, принять къ свѣдѣнію...

— Вы не спите? спросилъ мой товарищъ.

— Нѣтъ.

— Слышите?

— Слышу...

— И этотъ нарвется. Она ихъ тутъ переберетъ...

На утро часовъ въ девять я проснулся. Слышался ужасный колокольный гулъ и звонъ. День былъ праздничный. Я отворилъ окно и усѣлся. Прямо предо мною какія-то лавки, должно быть, мучныя, потому что все— крыльца, двери, колонки, все въ мукѣ. Погода стояла хорошая, т. е. было солнце. Отъ вчерашняго дождя стояла грязь. Купчихи и мѣщанки—все въ яркихъ платочкахъ на головахъ и какихъ-то тюлевыхъ мантильяхъ—я видѣлъ такія только въ Козловѣ — шли къ поздней обѣднѣ, высоко поднимая платья и выставляя грязныя юпки и ноги, обутыя въ суконные чулки. Мужикъ провезъ штукъ шесть телятъ въ телегѣ. Спѣшно прошелъ, шагая черезъ грязь, дьяконъ въ зеленой рясѣ, съ сильно напомаженными волосами. Мѣсто было, очевидно, глухое; звукъ колесъ брань, крикъ, говоръ, доносились откуда-то справа. Напившись чаю, мой товарищъ уѣхалъ въ Тамбовъ, а я пошелъ бродить по городу.

Обѣдня между тѣмъ отошла и лавки отперли. На Московской улицѣ (единственная, на которой есть признаки мостовой) мнѣ попались двѣ-три коляски, нѣсколько ка-

ретъ, эгоистокъ; какъ разъ посреди улицы, передъ лавками, стояли извощики; у всѣхъ запряжены дроги—нѣчто въ родѣ линеекъ, только некрытыя: это любимый козловскій экипажъ. Прежде всего бросается въ глаза обиліе мучныхъ лавокъ, лабазовъ съ хлѣбомъ. Куда ни посмотрите, вездѣ все мука, пшено, овесъ пшеница, рожь. Вездѣ стоятъ длинныя вереницы подводъ съ хлѣбомъ, уже зашитымъ въ рогожные кули: это значитъ, отправляютъ на желѣзную дорогу, въ Москву, Петербургъ. Несмотря на праздничный день, работа кипитъ—весь народъ перепачканъ мукою. Я зналъ, что центръ козловской коммерческой жизни—козловская биржа—гостиница купца Рогова, и направился туда. Я нашелъ биржу въ полномъ разгарѣ. Всѣ столы заняты чайными приборами, идетъ самый оживленный разговоръ и публика все прибываетъ. Я отыскалъ свободный уголокъ, спросилъ полпорціи чаю, закурилъ сигару и сѣлъ. Почти слѣдомъ за мною къ этому же столику, съ другой стороны, подошли трое купцовъ и какой-то баринъ въ сюртукѣ, сильно накрахмаленной манишкѣ, широчайшемъ галстухѣ, подпиравшемъ шею, въ усахъ, съ маленькими слезливыми глазами, коренастый, загорѣлый. Одинъ изъ купцовъ спросилъ чаю, и они усѣлись всѣ четверо.

— Ну-съ, Иванъ Максимычъ, пшеничка какъ-съ?

— Ничего, пшеница хороша, хороша.

— Хороша-съ? Убрали-съ?

— Убралъ. Я до дождей еще убралъ.

— До дождей-съ. Такъ-съ.

— А какъ умолотомъ? Образчики захватили?

— Захватилъ.

— Туточко-съ?

Помѣщикъ вытащилъ изъ кармана носовой фуляровый платокъ, въ уголкахъ котораго было завязано нѣсколько образцовъ пшеницы. Купцы уткнулись.

— А дождикъ прихватилъ-съ таки, заискивающимъ голосомъ замѣтилъ купецъ.

Иванъ Максимычъ началъ показывать видъ, что обижается, или что не знаетъ.

— Какъ же онъ могъ прихватить, я до дождя еще...

— А вотъ росточки-то, изволите видѣть... Вотъ-съ, вотъ-съ! мизинцемъ указывалъ купецъ, осторожно дотрогиваясь до зеренъ, какъ до какой-то святыни. Поспоривши вдоволь о томъ, смочилъ или не мочилъ дождикъ пшеницу, перешли къ цѣнѣ. Купцы увѣряли, что цѣны спали и въ Москвѣ, и въ Петербургѣ. Иванъ Максимычъ доказывалъ, что, вопервыхъ, это не правда и, потомъ, цѣны если и спали, то онѣ вновь поднимутся; вытащилъ какое-то письмо и сталъ читать; потомъ сослался на другое письмо, отъ сына, въ которомъ тотъ пишетъ, что непремѣнно будетъ война. Не убѣдивши ни въ чемъ и тутъ другъ друга, перешли къ политикѣ. Иванъ Максимычъ сталъ, наконецъ, томиться. Солнце страшно припекало его въ окно, потъ градомъ лился. Купцы все пили чай, чашка за чашкой. Говорилъ только одинъ; другіе молчали, икали, улыбались. Разговоръ вновь прошелъ всѣ свои фазы, т.-е. вновь поговорили о росточкахъ, о биржевыхъ цѣнахъ, о предстоящей съ кѣмъ-то войнѣ, и ужъ наконецъ-то сторговались. Иванъ Максимычъ потребовалъ графинчикъ водки и селянку. Выпили по рюмкѣ и опять заговорили-было о политикѣ, но купцы уже, видимо, тяготились. Иванъ Максимычъ весь свой интересъ для нихъ уже потерялъ послѣ продажи. Хотѣлъ-было онъ имъ что-то разсказать, они не поддержали, разговоръ оборвался, повторили еще разъ условія, дали задатокъ и ушли. Иванъ Максимычъ посидѣлъ немного, расплатился, и тоже ушелъ. Народъ въ залѣ нисколько не убавлялся: одни уходили, на ихъ мѣсто сейчасъ же приходили другіе. Нѣсколько человѣкъ, я замѣтилъ, приходили и уходили раза по два, по

три и все пили чай, и все съ новыми лицами. Здѣсь ни одна самая ничтожная коммерческая сдѣлка, хотя бы на какую нибудь сотню рублей, не обходится безъ пары чаю въ роговскомъ трактирѣ. Ѣдятъ мало, пьяныхъ я тоже никого не замѣтилъ — все чай, чай и чай; въ годъ, мнѣ сказывали, выходитъ его до 3 тысячь фунтовъ. Говоря относительно, трактиръ чистъ, мебель мягкая, на окнахъ кисейныя занавѣски, стѣны оклеены яркими обоями, висятъ картины обыкновеннаго трактирнаго содержанія — разныя лежащія женщины съ голубями, цвѣтами, генералы и пр. Пока я выпилъ свой чай и прочиталъ газету, прошло, по крайней мѣрѣ, часа три, а народъ, торговый народъ, ничуть не убавлялся. Я такъ и ушелъ: все покупали, торговались, божились и дули, немилосердно дули чай. По дорогѣ мнѣ попалась въ глаза вывѣска: книжный магазинъ. Я вошелъ. Весь магазинъ заключается въ какой нибудь сотнѣ или двухъ сотняхъ книгъ. Прямо и взади, направо и налѣво коробки съ конфектами, боченки съ селедками, виноградомъ, два-три арбуза, спаржа — обыкновенная петербургская зеленная лавоча. Только у противоположной съ дверью стороны, въ стѣнѣ сдѣланы полки и на нихъ разставлены книги. Самъ хозяинъ, высокій, красивый мужчина, съ бородой, въ сюртукѣ, былъ въ магазинѣ. Чтобы завести разговоръ, я спросилъ какую-то книгу изъ новенькихъ, очевидно, ни въ какомъ случаѣ неуспѣвшую еще попасть въ магазинъ. Мальчишка-прикащикъ полѣзъ ее искать, рылся, рылся и, разумѣется, не нашелъ. Но разговоръ у насъ ужь завязался.

— Я, изволите видѣть, дворянинъ, здѣшній помѣщикъ... Вѣдь ничего дурнаго я не дѣлаю, что книгами торгую?.. Ничего?..

— Разумѣется.

— Вѣдь было бы гораздо хуже, еслибы я сталъ, положимъ, пить или воровать?

— Конечно.

— Ну-съ, а мнѣ всѣ говорятъ, что я позорю свое званіе. Ну, какъ думаете, легко это слышать для развитого человѣка.

Я, разумѣется, старался его успокоить.

— Нѣтъ-съ, это легко на словахъ. Разумѣется, кто не развитъ... но вѣдь я, благодаря Бога, получилъ образованіе. Вотъ видите эти книги? Я вѣдь ихъ всѣ перечиталъ.

Пришелъ какой-то мальчикъ съ записной книжкой.

— Что тебѣ?

— Книжку другую обмѣните.

— Какую же тебѣ?

— Какую нибудь.

— Какую нибудь! Хозяинъ грустно улыбнулся. Потомъ провелъ рукою по лбу, снялъ съ полки довольно толстый томъ, стряхнулъ съ него густо насѣвшую пыль, и, вручая мальчику, торжественно проговорилъ: на, читай—это записки графини де-Монтолонь.

Мальчикъ взялъ свою записную книжку, въ которой ему что-то отмѣтили, и вышелъ.

Хозяинъ опять обратился ко мнѣ.

— Какъ это затруднительно! Ну, что я дамъ читать этому мальчику? Дать ему вотъ этихъ книгъ—оно, конечно, займетъ его (онъ указалъ на записки Ригольбошъ, наставленіе въ бракѣ и пр.), но полезно ли?... Я больше имъ все историческихъ даю.

Насъ опять прервали. Пришла какая-то горничная, тоже съ книжкой, и спросила газетъ барину, изъ чего я узналъ, что въ магазинъ выписываются еще и газеты и журналы. Но дѣло съ ними идетъ плохо, охотниковъ до газетъ мало, а журналы до того треплютъ и рвутъ, что, побывавши въ двухъ-трехъ рукахъ, они почти уже не годятся въ дѣло. Книги раскупаютъ охотнѣе всего двухъ ро-

довъ—духовнаго и скоромнаго содержанія: различныя изслѣдованія о брачной жизни и пр., хорошо идутъ также и фотографическія карточки, тоже преимущественно веселаго характера. При этомъ же магазинѣ устроено переплетное заведеніе, переплетаютъ довольно порядочно и недорого.

Я раскланялся и ушелъ. Было часа три. Грязь на улицѣ нѣсколько попросохла, и такъ застыла колеями. Движеніе нѣсколько стихло; былъ послѣобѣденный сонъ. Я еще ничего не ѣлъ, и потому, придя домой, отправился наверхъ, въ общій залъ, откуда наканунѣ слышался непонятный, смѣшанный звукъ.

Здѣсь я нашелъ публику совершенно иную, чѣмъ въ Роговскомъ трактирѣ — здѣсь все помѣщики, офицеры, мѣстное начальство. Тутъ не было ни одного длиннополаго синяго сюртука — все пиджаки, визитки, два гвардейскихъ мундира, нѣсколько дамъ. Разговоръ шелъ громко, раздавался смѣхъ, слышались требованія французской горчицы, лафиту, винограду. Чаю здѣсь никто не требовалъ; полъ паркетный, столъ сервированъ чисто, даже съ претензіей. Игралъ очень порядочный органъ. Разговоръ вертѣлся большею частью на лошадяхъ, земскихъ вопросахъ; я спросилъ себѣ обѣдъ и сѣлъ за общій столъ. Прямо противъ меня сидѣлъ по другой сторонѣ старичекъ, лѣтъ пятидесяти съ чѣмъ нибудь, посѣдѣлый, съ длинными отвислыми баками и усами, худенькій, средняго роста, въ очкахъ, въ поношенномъ шоколаднаго цвѣта пиджакѣ и такихъ же брюкахъ; онъ что-то съ жаромъ толковалъ неподвижно уставившемуся на него господину колоссальныхъ размѣровъ и объема.

— Случись это за границей, вѣдь объ этомъ всѣ газеты бы только и говорили, а у насъ!.. Родное, кровное изобрѣтеніе, слава русскаго ума... По правдѣ сказать, ну, что такое я? Не спеціалистъ я какой... такъ, случай...

Позади послышались знакомые голоса; оборачиваюсь— вчерашній инженеръ съ натурщицей подъ руку. Она, мило закинувъ головку и какъ-то прильнувъ къ его плечу, поспѣшала за его быстрыми шагами. Милый поклонъ мнѣ, когда они поровнялись со мной:

— Вы долго еще здѣсь пробудете?

Я сказалъ, что какъ только осмотрю городъ, такъ и поѣду дальше.

— А вы?

— Да вотъ все пристаетъ: погоди да погоди.—Она указала на инженера.

— Разумѣется, погодить! ну, куда ей спѣшить? проговорилъ онъ.

— Да! какъ куда!

Инженеръ сталъ заказывать обѣдъ. Нѣсколько взглядовъ любопытныхъ и горячихъ остановились на его дамѣ. Органъ игралъ мелодіи Венявскаго на русскіе мотивы. Она тихонько подпѣвала, слегка покачивая въ тактъ головой. Мѣста возлѣ меня были заняты и они усѣлись стульевъ черезъ шесть. Господинъ въ шоколадномъ пиджакѣ оставилъ своего неразговорчиваго собесѣдника, взялъ газету и сѣлъ неподалеку отъ счастливой пары. Я между тѣмъ пообѣдалъ (очень порядочный обѣдъ стоитъ 75 к. с.; на заказъ, разумѣется, другая цѣна), спросилъ стаканъ чаю, закурилъ сигару и сталъ прислушиваться. Завтра должно было быть земское собраніе, и это всѣ почти пріѣхали гласные, посредники. Трактовались разныя интрижки, условливались на счетъ того или другого вопроса. Старичекъ въ шоколадномъ пиджакѣ, прикрывавшійся газетой и время отъ времени взглядывавшій на меня, наконецъ, всталъ, взялъ стулъ, поправилъ очки, распустилъ робко заискивающую улыбку и подошелъ ко мнѣ.

— Вы свободны?.. На полчаса какихъ... Мнѣ съ вами посовѣтоваться.

— Свободенъ. Что вамъ?

— Вотъ изволите видѣть... вы литераторъ?

— Откуда вы это знаете?

— А вотъ эта дама, что съ инженеромъ обѣдаетъ— онъ повелъ въ мою сторону глазами, она сейчасъ все объ васъ ему разсказывала: прекрасный, говоритъ, человѣкъ. Я, говоритъ, давно его знаю... И сочиняетъ... Старичекъ заикнулся и посмотрѣлъ мнѣ въ глаза.

— Къ чему вы это все говорите?

— А вотъ къ чему-съ. Я изобрѣлъ скоропечатную машину. Она и набираетъ и печатаетъ, и все это посредствомъ телеграфа. Какъ человѣка развитого, это должно васъ заинтересовать.

Я сказалъ, что это дѣйсвительно интересно, и хотя этимъ дѣломъ не занимаюсь, но отчасти знаю печатныя машины.

— Устройство, продолжалъ шоколадный старичекъ:— самое простое. Представьте, большая мѣдная доска, вотъ такая (онъ размахнулъ руки), гладкая, полированная. Наверху устроенъ осязатель, отъ него идутъ голубыя ленты, а тамъ все колеса, валы, а подъ ручкой телеграфъ...

Мнѣ показалось, что онъ сумасшедшій. Старичекъ это смекнулъ.

— Что, вы не вѣрите?

— Нѣтъ-съ, ничего; я слушаю.

— Я вамъ долженъ открыться: изобрѣло насъ трое и привиллегію мы взяли всѣ трое. Мы имѣемъ привиллегіи отъ всѣхъ европейскихъ государствъ.

— Можете вы мнѣ ихъ показать?

— А, нѣтъ-съ! Пока нельзя.

— Ну-съ, чѣмъ же я-то могу вамъ быть здѣсь полезенъ?

— Огромные расходы теперь по устройству. Мнѣ хотѣлось бы запродать кому нибудь одну изъ такихъ машинъ — онѣ ужь заказаны въ Парижѣ у Борзига на заводѣ.

— Борзига заводъ въ Берлинѣ, поправилъ я.

— Т. е., виноватъ, не у Борзига, а у этого, какъ его? У... онъ назвалъ какую-то неизвѣстную мнѣ фамилію... Или вотъ что: не купятъ ли у меня одну изъ привиллегій—на это бы я еще охотнѣе согласился.

— Не знаю-съ.

— Вѣдь это очень выгодно.

— И на это я вамъ ничего не могу сказать.

— Ну, а если написать, назначить цѣну, какъ думаете, купятъ по письму? Самому мнѣ ѣхать въ Петербургъ теперь некогда.

— На это я вамъ могу отвѣчать—навѣрно не купятъ.

— Почему вы думаете?

Потому что такую новую вещь, да еще за глаза, у неизвѣстнаго человѣка...

— Да вѣдь я развѣ мошенникъ какой?

— Не въ томъ дѣло — просто васъ не знаютъ. Кто же будетъ давать деньги за то, чего не видалъ?

— Вотъ тутъ-то вы и можете быть мнѣ полезны. Не можете ли отъ себя написать кому нибудь, что вы здѣсь встрѣтили меня, узнали о моемъ изобрѣтеніи...

Ко мнѣ подошелъ лакей и подалъ на тарелкѣ клочекъ бумаги. Я прочиталъ слѣдующее лаконическое предостереженіе, написанное крупно карандашемъ: „будьте осторожны, на эту удочку здѣсь уже многіе попались“.

— Отъ кого это?

Лакей молчалъ и улыбался.

— Отъ кого это? повторилъ я.

— Не приказали сказывать.

Я посмотрѣлъ въ глаза шоколадному старику.

— Что вы такъ смотрите на меня? спросилъ онъ. Потомъ какъ-то съежился, завертѣлся на стулѣ, всталъ и отошелъ. Я долго смотрѣлъ ему вслѣдъ. Онъ все подходилъ то къ одной, то къ другой группѣ, улыбался, поправлялъ очки, галстухъ; потомъ подходилъ къ другимъ. Я посидѣлъ еще съ четверть часа и ушелъ; онъ все переходилъ отъ одного къ другому, бралъ газету, то и дѣло закуривалъ сигару.

Было часовъ пять. Мнѣ хотѣлось осмотрѣть мѣстный острогъ и полицейскія камеры арестантовъ. На это надо было получить разрѣшеніе отъ полиціймейстера. Попался мнѣ какой-то чиновникъ,—спрашиваю у него—гдѣ тутъ полицейское управленіе.

— Вамъ зачѣмъ?

— Надо. Мнѣ хотѣлось бы острогъ посмотрѣть.

— Острогъ не тутъ, острогъ за городомъ.

— Надо разрѣшеніе попросить?

— Это такъ, безъ разрѣшенія не пустятъ. Идите все прямо, выйдете на площадь — большой домъ, тамъ увидите вывѣску—полицейскаго управленія. Какъ взойдете на лѣстницу, сейчасъ наверхъ.

Я поблагодарилъ и пошелъ-было. Оглядываюсь — чиновникъ стоитъ и смотритъ на меня.

— Вы зачѣмъ же это хотите острогъ смотрѣть? идя ко мнѣ, говорилъ онъ.

— Такъ, изъ любопытства.

— Чтожъ тамъ любопытнаго? Всякаго избави Господи отъ него.

Я что-то отвѣтилъ и хотѣлъ откланяться, но чиновникъ опять меня остановилъ.

— Вы изъ Тамбова? Можетъ, имѣете какое порученіе?

— Нѣтъ-съ, я въ Тамбовѣ еще не былъ. Я изъ Петербурга и здѣсь проѣздомъ. Хотѣлось бы посмотрѣть такъ, скуки ради.

Чиновникъ недовѣрчиво посмотрѣлъ мнѣ въ глаза, улыбнулся и опять заговорилъ.

— Можетъ, хотите какую критику написать, такъ я бы вамъ кое-что поразсказалъ—я самъ прежде служилъ въ полицейскомъ управленіи, да вышелъ, не стоитъ! такой, можно сказать, денной грабежъ, благородному человѣку тамъ служить не приходится.

Я сказалъ, что, можетъ быть, что нибудь и напечатаю и его разсказамъ во всякомъ случаѣ буду радъ. Чиновникъ просіялъ.

— То-то я вижу, говорилъ онъ: — новая личность; прежде я васъ ни разу не встрѣчалъ здѣсь. И шляпа на васъ такая, тутъ такихъ нѣтъ.

Мы пошли рядомъ.

— Что же, вы хотѣли разсказать? напомнилъ я.

— Вотъ видите... вѣдь это долго.

— Ну, чтожъ такое—я свободенъ.

Чиновникъ началъ разсказывать какую-то страшно запутанную плутню, въ которую онъ совершенно невинно попался, пострадалъ и т. д.

Между тѣмъ, мы подошли къ присутственному дому. Чиновникъ взялся за фуражку.

— Куда же вы? спросилъ я.—Вы бы мнѣ тамъ отрекомендовали кого.

— Нѣтъ-съ, по правдѣ сказать, у насъ тутъ съ полицейской стороны могутъ непріятности начаться, и мнѣ сказали, чтобы и духу моего тутъ не было. И все по этому проклятому дѣлу.

— Ну, въ такомъ случаѣ, прощайте.

— Вы ихъ хорошенько! — Некому написать-то про нихъ здѣсь. Есть у насъ тутъ одинъ М—въ, онъ иногда статейки тоже въ „Сынъ Отечества“ посылаетъ — не изволите знать?

Я сказалъ, что не знаю, раскланялся, поблагодарилъ за компанію и пошелъ къ присутственному дому.

Домъ большой, очевидно новый, но неимовѣрно загаженный. Крыльцо все облито, у подъѣзда битыя чернильницы, гусиныя перья, бумажки, папиросные окурки, и все это цѣлыми ворохами. На лѣстницѣ мнѣ попалась какая-то небритая личность, заспанная, въ изорванномъ форменномъ сюртукѣ. Я спросилъ, гдѣ помѣщается управленіе.

— Вамъ какое—городское или уѣздное?

— Городское.

Онъ кивнулъ головой наверхъ и проговорилъ: тамъ, направо.

Прошелъ до самаго верху; у дверей ручки нѣтъ; тронулъ—она сама отворилась. Большая комната съ запахомъ пота, бани, старой бумаги, гнили. Клубы прогорклаго гнуснѣйшаго табачнаго дыма растянулись въ длинныя полосы, и тихо, какъ волны, колыхались въ воздухѣ, въ уровень съ головой; на окнахъ, на связкахъ дѣлъ сидѣли писцы и сторожа; слышался хохотъ, кто-то напѣвалъ сквозь зубы и какъ-то въ носъ.

— Вы что? спросилъ солдатъ, подходя ко мнѣ.

— Не можешь ли ты меня проводить въ арестантскую? прямо обратился я, предполагая, что, можетъ, какънибудь устроится дѣло и безъ формальностей.

Солдатъ удивленно взглянулъ на меня.

— Что такое? Въ арестантскую?

— Ну, да. Мнѣ посмотрѣть.

— Чтожъ тамъ смотрѣть?

Съ окна одинъ по одному начали спрыгивать писцы и подходить ко мнѣ.

— Въ арестантскую просится, объяснялъ имъ солдатъ. Писцы, въ свою очередь, начали разсматривать меня и спрашивать, зачѣмъ мнѣ осматривать арестантскую.

Наконецъ объявили, что безъ разрѣшенія полиціймейстера туда нельзя.

— А скоро онъ придетъ?

— Зачѣмъ онъ теперь придетъ? — нынче праздникъ, присутствія нѣтъ. Да и въ будни, послѣ обѣда присутствія не бываетъ. Одинъ началъ оспаривать, говорилъ, что полиціймейстеръ хотѣлъ придти и что, если придетъ, то теперь скоро, много если черезъ полчаса.

— Мнѣ здѣсь его можно подождать?

— Отчего-же, можно.

— И курить здѣсь можно?

— Можно, здѣсь не присутствіе.

Я вынулъ сигару, одинъ писецъ любезно зажегъ спичку и предложилъ мнѣ; я отвѣтилъ на любезностъ любезностью — предложилъ сигару. Писецъ побладарилъ и тоже закурилъ. Видя, что я человѣкъ общительный, чиновники успокоились, и разсѣлись по своимъ мѣстамъ, т.-е. кто вспрыгнулъ на окно, кто сѣлъ на связки старыхъ бумагъ. Начали дразнить солдата съ еврейскимъ типомъ лица; солдатъ отмалчивался. Къ писцу, которому я далъ сигару, подходили другіе, брали у него изо рта окурокъ, затягивались, сплевывали и передавали другимъ. Одинъ началъ продавать панталоны. Долго торговались, наконецъ, сошлись. Покупатель отдавалъ свои и 30 к. въ придачу. Кто-то замѣтилъ, что надо примѣрить; мысль нашли дѣльною, и покупатель и продавщикъ пошли примѣривать въ сосѣднюю комнату. Писцы одинъ по одному опять попрыгали съ оконъ и пошли къ примѣрявшимъ. Шелъ смѣхъ, остроты, шуточная брань, хватали другъ друга за животъ. Наконецъ, одинъ какой-то предложилъ прорепетировать засѣданіе. Самъ сѣлъ на мѣсто, обыкновенно занимаемое президентомъ. Другіе усѣлись кругомъ. Президентъ началъ распекать какого-то писца. Тотъ слушалъ, слушалъ, наконецъ выругалъ президента. Раздался

хохотъ. Мнѣ показалось, что имъ должно быть ужасно скучно. Народъ все былъ еще молодой. Изъ разговоровъ видно было, что всѣ они почти или изъ уѣзднаго училища, или изъ низшихъ класовъ гимназій. Собрались они сюда вовсе не для дѣла, — занятій въ праздникъ не полагается и ихъ никто не требовалъ—а просто такъ отъ скуки: поболтать, посмѣяться, покурить... Странная вещь! Когда на другой день, добившись-таки позволенія осмотрѣть острогъ и арестантскія, я выходилъ изъ камеръ рѣшенныхъ и подслѣдственныхъ еще убійцъ и поджигателей, я выносилъ впечатлѣніе все же не такое тяжелое, какъ отсюда. Тѣ жили, и бывали у нихъ минуты глубокихъ ощущеній. Здѣсь же какая-то безконечная, безразсвѣтная духота, въ которой нѣтъ мѣста ни мысли, ни чувству...

Начинало темнѣть. Подошелъ солдатъ, отворилъ окно, облокотился и сталъ смотрѣть внизъ, во дворъ. Тамъ стояли пожарныя трубы, бочки, лежали лѣстницы, хомуты.

Я подсѣлъ къ нему.

— Это у васъ на весь городъ только трубъ-то?

— Только. Да и этѣ-то почти, можно сказать, никуда негодны, старыя, дрянь. Онѣ еще въ 1805 году сдѣланы.

— Какъ такъ—не можетъ быть!?.. И дѣйствительно, трудно предположить, чтобы такой богатый городъ и съ такимъ населеніемъ (до 30,000 жит.) не могъ имѣть хорошихъ трубъ, а между тѣмъ это было такъ. И все это, несмотря на недавній страшный пожаръ. По поводу этихъ трубъ солдатъ долго разсказывалъ и между прочимъ, какъ удивлялся и смѣялся бывшій губернаторъ, когда пріѣхалъ на пожаръ, и увидѣлъ, что на трубахъ выставленъ годъ его рожденія.

Немного погодя, совсѣмъ почти ужъ стемнѣло; писцы какъ-то вдругъ всполошились и собрались уходить; начали даже другъ за другомъ спѣшить.

— Не пріѣдетъ нынче? спросилъ я у солдата.

— Кто? Полицiймейстеръ-то? Нѣтъ, теперь зачѣмъ ему? Надо пойти ужинать, пора! вставая и тяжело вздыхая, словно пробуждаясь отъ какого-то тяжелаго раздумья, проговорилъ онъ. Писцы всѣ ужъ ушли.

— А скучно здѣсь у васъ, замѣтилъ я.

— Э—хъ, какая еще скука-то!.. И нигдѣ такой скуки нѣтъ. Скажи мнѣ: ступай сейчасъ опять въ Севастополь— ей-Богу бы пошолъ!..

— Ну, прощай.

— А на водку бы пожаловали, какъ-то машинально, по привычкѣ, проговорилъ онъ.

Я далъ ему 15 — 20 коп.; онъ вытянулся, проговорилъ что-то и широко распахнулъ обѣ двери.

Вечеръ былъ славный, тихiй, теплый; полный мѣсяцъ высоко взошелъ и остановился надъ городомъ. Слышались пѣсни, хохотъ; кто-то ругался посреди площади. Я пошелъ все прямо; дошелъ до Роговскаго трактира; въ освѣщенныя окна видно было, какъ тамъ пили чай; народу ничуть не убавилось. Лавки одна за другою запирались. Я побродилъ еще съ полчаса по заснувшему уже городу и пошелъ домой.

— Васъ спрашивали тутъ, сказалъ половой.

— Меня? Кто?

— Изъ седьмого нумера.

— Да кто тамъ, въ седьмомъ нумерѣ-то?

— Барыня была, что вчера съ дороги желѣзной прiѣхала.

— Скажи, если опять будетъ спрашивать, что у меня голова болитъ.

— Да она ужъ уѣхала.

— Уѣхала!..

— Она ничего, продолжалъ половой:—она такая обходительная: намъ съ швейцаромъ по рублю дала.

— Не знаешь, куда поѣхала?

— Въ Тамбовъ. Я и за ямщикомъ ходилъ. Инженеръ самъ усаживалъ, все прощался. Простятся-простятся— нѣтъ, говоритъ, поцѣлуй меня еще. Денегъ онъ ей страхъ что отвалилъ. Чай я ему подавалъ сюда въ нумеръ, такъ онъ при мнѣ ей пять серій далъ. Пріѣхать обѣщала. Нарочно, говоритъ, къ тебѣ, душа моя, пріѣду, дай только больного мнѣ брата въ Тамбовѣ провѣдать...

Къ полночи, или еще нѣсколько раньше, наверху въ общемъ залѣ опять собралась публика. Три немилосердно истасканныхъ арфистки и какой-то венгерецъ, не то полякъ въ пиджакѣ со шнурами, играли на арфѣ, пѣли, потомъ ходили съ тарелкой. Кто кланялся и улыбался, кто клалъ двадцать, тридцать коп. Одинъ положилъ рублевую бумажку. Обойдя, венгерецъ опять садился играть, пѣть, потомъ опять бралъ тарелку и шелъ собирать или посылалъ одну изъ своихъ дѣвицъ; послѣдній маневръ употреблялся чаще, но результаты были одинаково плачевны, потому что дѣвицы были одинаково потерты и мало соблазняли публику. Шоколадный старичокъ былъ тутъ же, но ко мнѣ ужъ больше не подходилъ и даже старался не встрѣчаться взглядомъ.

За ужиномъ я разболтался съ однимъ очень не глупымъ господиномъ.

— Скажите, говорилъ я:—отчего у васъ здѣсь нѣтъ ни клуба, ни собранія?

— Пробовали — нейдетъ. Было два клуба—начались въ нихъ драки, шуллерство—ну, ихъ и закрыли.

— Гдѣ же собираются? Нѣтъ открытаго дома, гдѣ принимаютъ?

— Нѣтъ и этого. А у кого и собираются, все же карты и игра. Здѣсь вы представить не можете, до чего это развито. Пятнадцатилѣтнія дѣвочки въ деньги играютъ и помногу проигрываютъ, и матери платятъ...

— А часто дерутся у васъ?

— Часто. Въ годъ драки три-четыре ужь непремѣнно. И свалки-то еще какія бываютъ!

— Ну, а потомъ помирятся, и ничего? разспрашивалъ я.

— Помирятся, и ничего...

На другой день утромъ, добившись разрѣшенія, я поѣхалъ осматривать арестантскую, этапъ и острогъ. Для видавшихъ эти заведенія въ Петербургѣ я могу привести такое сравненіе: козловскій острогъ и арестантскія камеры при полицейской управленіи настолько же почти лучше, напримѣръ, тюрьмы, что у Поцѣлуева моста, на сколько отель Демута лучше какого-нибудь Малинника на Сѣнной. Это положительно самый чистый острогъ изо всѣхъ, какіе только мнѣ приходилось видѣть. Воздухъ вездѣ чистый, свѣжій—вентиляція превосходная. Арестантовъ не такъ, чтобы ужь очень много, но довольно. Бо̀льшею частью это все бывшіе дворовые, и сидятъ за воровство, грабежъ, мошенничество и за безпаспортныя вояжированія. Убійцъ человѣкъ 5—только. Арестанты почему-то принимали меня за ревизора, подавали свои листы и просили о дѣлахъ. Это, впрочемъ, я всегда встрѣчаю. Когда я осматривалъ арестантскія камеры при полицейскомъ управленіи, туда привезли совершенно пьяную дѣвочку лѣтъ 15-ти, въ розовомъ растегнутомъ платьѣ.

— Гдѣ ты ее поднялъ? спросилъ я у солдата.

— Передъ трактиромъ.

— На улицѣ?

— Вѣстимо, на улицѣ. Должно, какой съ вечера еще завелъ, напоилъ, на ныньче и вытолкнулъ.

— Что̀ жь вы съ ней будете дѣлать?

— Да что̀ съ ней дѣлать! Проспится — выпустимъ. Вѣдь она изъ здѣшнихъ, городская, должно. Что̀ жь ее держать?

— А къ судебному слѣдователю не дадутъ знать?

— Зачѣмъ? Мало ихъ развѣ тутъ пьяныхъ. Еслибы она попалась съ чѣмъ, а то вѣдь такъ, пьяна только! болталъ солдатъ, заботливо, насколько это возможно для него, оправляя на ней ея забрызганное кисейное платьице...

Часовъ въ 12 или немного раньше, я попалъ въ земство, какъ обыкновенно называютъ здѣсь земское собраніе. Земство помѣщается на той же главной улицѣ, Московской, гдѣ и Роговскій трактиръ, и даже недалеко другъ отъ друга. Засѣданіе еще не начиналось. Я взошелъ по чистой, хорошей, деревянной лѣстницѣ наверхъ, въ бель-этажъ. Въ первой комнатѣ послѣ передней, набитой верхнимъ платьемъ, два стола, а за ними сидятъ писцы и пишутъ, но это писцы не такіе, какихъ я видѣлъ въ полицейскомъ управленіи—это типъ совершенно другой. Это все волостные писаря, молодые ребята изъ мужиковъ, все свѣжія и здоровыя лица, цвѣтъ деревенскихъ граматниковъ. Я подошелъ къ одному, къ другому: пишутъ хорошо, четко, бойко. Мнѣ сказывали, что здѣшній предводитель дворянства, онъ же, значитъ, и президентъ земства, чувствуетъ неопреодолимое отвращеніе вообще къ канцеляріямъ и ихъ порожденіямъ — писцамъ, и потому поставилъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы ни одинъ писецъ изъ судовъ и полицейскаго управленія не смѣлъ и носу показывать сюда. Въ слѣдующей комнатѣ опять столъ. За нимъ работаетъ секретарь земства; кругомъ стола табуретки и стулья. У окна группа сюртуковъ и пиджаковъ ведетъ оживленный разговоръ о томъ, какъ понимать слова: „антагонизмъ и пропаганда“. У другого окна, ближе къ залу, группа мужиковъ и мѣщанъ. Тутъ рѣчь идетъ о хлѣбныхъ цѣнахъ и о томъ, куда хлѣбъ дѣвается; что высокія, неслыханныя здѣсь цѣны, конечно, для нихъ, имѣющихъ землю, штука славная, но что народу безземельному — дворовымъ, ремесленникамъ и мѣ-

щанамъ—погибель неминучая будетъ. Между той и другой группой, подходя къ нимъ, ходятъ купцы и покупаютъ хлѣбъ. При мнѣ было куплено у одного изъ группы пиджаковъ тысячи три четвертей ржи и пшеницы. Пріѣхалъ президентъ, поздоровался со всѣми и прошелъ въ залъ. Раздался звонокъ; начали усаживаться. Пиджаки и сюртуки по лѣвую сторону отъ предсѣдателя, мужики, мѣщане и купцы (частью)—по правую. Публика помѣстилась противъ. Опять звонокъ. Всѣ начали оправляться, сморкаться, откашливаться. Президентъ объявилъ, что засѣданіе открыто и что прежде всего нужно избрать членовъ въ повѣрочную комиссію.

— Гг., кого угодно въ секретари?

— О***, заговорило нѣсколько голосовъ.

— Г. О***! угодно? спросилъ президентъ.

О*** всталъ и началъ кланяться. Встало и земство, и тоже начало кланяться. Поклонившись раза три, всѣ сѣли и опять откашлялись и высморкались, потомъ также и съ такими же поклонами выбрали всѣхъ членовъ комиссіи. Выбранный въ секретари всталъ, подвинулся къ предсѣдательскому столу, взялъ толстую тетрадь и началъ читать. Такъ какъ содержаніе этого дѣла въ высшей степени интересно, то я и передамъ его здѣсь вкратцѣ. Жилъ былъ въ городѣ Козловѣ, давно, лѣтъ 40 или 50 тому назадъ, бѣдный чиновникъ, по фамиліи Козловскій, именемъ Николай Терентьевичъ. Въ ту пору Козловскій былъ очень бѣденъ. Наконецъ, судьба надъ нимъ какъ-то сжалилась и послала богатства великія. Но Николай Терентьевичъ и изъ Петербурга (онъ живетъ въ Петербургѣ) не забылъ своего родного города и тѣхъ несчастныхъ бѣдняковъ, которые, какъ онъ самъ выразился, „влачатъ свои печальные дни“. Помня свое прошлое и чувствуя это, Николай Терентьевичъ пожертвовалъ 40,000 р. сер. съ тѣмъ, чтобы 20,000 шли на устройство богадѣльни,

а другія 20,000 на устройство и основаніе въ Козловѣ городского банка, на проценты отъ операцій котораго долженъ содержаться пріютъ или богадѣльня. Въ пріютѣ за это должны молиться о здравіи, при жизни, и за упокой—по смерти его, Николая Терентьевича. Кромѣ того, Николай Терентьевичъ жертвуетъ въ пріютъ свой портретъ, писанный масляными красками, въ золотой рамѣ. Этому пожертвованію уже нѣсколько лѣтъ. Пріютъ теперь уже выстроенъ, и въ немъ живутъ вдовы и сироты. Банкъ основанъ и занимается операціями, но... но нѣтъ ни тамъ, ни тутъ порядка. Желая получить этотъ порядокъ, Николай Терентьевичъ обращался, кажется, чуть ли не ко всѣмъ, но получилъ только похвалы за свое благодѣяніе. А между тѣмъ, пишетъ Николай Терентьевичъ, „сердце обливается кровью и слезы выступаютъ на глазахъ при взглядѣ на несчастныхъ, въ изорванныхъ рубищахъ, бродящихъ по стогнамъ города". Затѣмъ повторяется содержаніе всего этого еще разъ, но уже въ болѣе сжатой формѣ и слогомъ болѣе высокимъ. Въ заключеніе, онъ проситъ теперь земство принять въ свое завѣдываніе сказанные пріютъ и банкъ. Секретарь прочелъ, вздохнулъ и замолчалъ. Прошло съ полъ-минуты общаго молчанія. Всталъ президентъ и спросилъ, какъ съ этимъ быть? Изъ среды пиджаковъ послышался голосъ, что дѣло это простое, что это неожиданная находка для земства, что тутъ и толковать нечего—взять въ свое завѣдываніе и банкъ, и богадельню, а Николая Терентьевича поблагодарить. Всѣ согласились. Позвали Николая Терентьевича. Вошелъ сѣдой старичокъ, довольно-таки древній, но еще бодрый, и поклонился на всѣ стороны три раза. Всѣ встали и тоже начали кланяться. Потомъ предсѣдатель объявилъ, что земство благодаритъ его, Николая Терентьевича, за довѣріе, а банкъ и богадельню принимаетъ. Николай Терентьевичъ выслушалъ это рѣшеніе стоя, поклонился еще разъ, на что

ему тоже отвѣтили поклономъ, и сѣлъ. Предсѣдатель позвонилъ — на этотъ разъ звонокъ означалъ отдыхъ. Задвигались кресла, стулья, задымились сигары, папиросы, и все земство зашевелилось, закашляло и засморкало. Минутъ черезъ двадцать, предсѣдательскій звонокъ опять усадилъ всѣхъ по мѣстамъ. Опять всталъ секретарь и сталъ читать проектъ народныхъ школъ. Поговоривъ сперва о пользѣ граматности и окинувъ, такъ сказать, à vol d'oiseau весь вопросъ, авторъ предлагалъ открыть школы во всѣхъ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ есть церкви. Священники будутъ учить, а посредники и гласные будутъ ходить и провѣрять. И ассигнуется на все на это что-то около трехъ тысячъ руб. сер. Проектъ наконецъ былъ прочитанъ и принятъ, къ моему крайнему сожалѣнію, совершенно безъ всякихъ дебатовъ. Потомъ разбирались, т.-е. правильнѣе читались и принимались, другіе проекты и подписывались гласными. Меня поразило это удивительное единомысліе. Кромѣ нѣсколькихъ фразъ, и то крайне отрывочныхъ, небрежно сказанныхъ кѣмъ нибудь съ лѣвой стороны, обыкновенно ничего не говорилось. Засѣданіе кончилось часа въ четыре; все общество гласныхъ дворянъ прямо поѣхало въ Сѣверовскую гостинницу обѣдать. Вечеромъ было засѣданіе повѣрочной комиссіи, которая занималась, кромѣ провѣрки расходовъ и дѣйствій земской управы, еще и разработкой разныхъ проектовъ о проселочныхъ дорогахъ, мостахъ, оспопрививаніи, объ улучшеніи быта духовенства и т. д. Собрались часовъ въ восемь. Предводитель, онъ же и президентъ земства, указывая на кучи шнуровыхъ книгъ и кипы исписанной бумаги, сказалъ, что все это надо разобрать. Сейчасъ же раздѣлили эти вороха: кто взялъ провѣрять расходы, кто писать проекты оспопрививанія, кто теорію починки мостовъ и т. д.; работа закипѣла, перья такъ и трещали. Человѣкъ пять, оставшихся безъ дѣла, собрались въ кружокъ, курили и

говорили шепотомъ; слышался легкій смѣхъ, вздохи, зѣвота. Комнаты были слабо освѣщены нѣсколькими свѣчами; было сильно накурено. Часамъ къ одиннадцати или двѣнадцати ночи было все готово — проекты написаны, счеты провѣрены. Начали сходиться къ среднему столу средней комнаты, у котораго сидѣли прежде и говорили пять свободныхъ человѣкъ. Принесли сюда еще свѣчку. Стали подписывать бумаги и торопиться. Нетерпѣніе вдругъ всѣми овладѣло. Писаря едва успѣвали подносить переписанные листы, которые тутъ же и подписывались.

— Много еще?

— Много, говоритъ секретарь.

— А какъ?

— Очень еще много.

— Да это бы ужь до завтра.

— Нѣтъ, пожалуйста, господа, посидите немножко!

Наконецъ секретарь вышелъ въ первую комнату, посидѣлъ съ писарями, что-то поговорилъ съ ними и возвратился съ листомъ переписанной бумаги.

— Послѣдняя туча разсѣянной бури!.. продекламировалъ онъ, кладя листы на столъ.

— Послѣдняя?..

— Послѣдняя? Послышалось со всѣхъ сторонъ, и всѣ живо накинулись на тучу и подписали ее.

Усталые гласные кончили вечеръ ужиномъ за общимъ столомъ Сѣверовской гостинницы. На этотъ разъ игралъ только органъ: венгерца съ дѣвицами почему-то ужь не было.

Степная деревня, ея жизнь, печали и радости.

Зима. Тихiй, ясный, морозный день. Передъ вами безконечная, ровная какъ скатерть, блестящая снѣговая даль. Кругомъ ни души. Вся запушенная, съ побѣлѣвшими рѣсницами, бѣжитъ ваша низенькая, крѣпенькая, пѣгая лошадка по узкой, мягкой дорожкѣ. Править ею нечего—она никуда не свернетъ въ сторону. Вамъ тепло, хорошо: на васъ такая пушистая теплая шуба. Вы прилегли къ спинкѣ саней и тутъ-то славно, вольно дышите и мечтаете подъ ровной, мягкiй стукъ копытъ. Маленькiй ухабикъ—такъ покойно раскатились и качнулись санки. Дѣла у васъ спѣшнаго нѣтъ (въ степи никто не спѣшитъ). Вы ѣдете просто прокатиться къ сосѣду. Вы случайный здѣсь гость, прiѣхали въ вашу Петровку, съ мѣсяцъ какъ доставшуюся вамъ по наслѣдству отъ Богъ знаетъ для чего такъ долго жившаго дяди и почему-то теперь вдругъ ни съ того, ни сего вздумавшаго умереть. Порядковъ здѣшнихъ вы не знаете. Что̀ за люди ваши сосѣди, тоже не знаете. Случайно вы встрѣтили въ городѣ, въ гостинницѣ, загорѣлаго, толстаго помѣщика, разговорились съ нимъ—онъ оказался вашимъ сосѣдомъ, и такой онъ добрый, простодушный малый. Сегодня вы ѣдете къ нему въ первый разъ. Показался лѣсокъ. Всѣ запушились снѣгомъ снизу и инеемъ сверху, — стоятъ осинки и березки; дорога пошла лѣсомъ; изрѣдка развѣ сани зацѣпятъ за высоко срубленный пенекъ, и вы и санки покачнетесь и наклонитесь въ другую сторону. Поперегъ дороги и параллельно съ нею въ снѣгу глубокiя зубчатыя ямки — это заячiй слѣдъ: тутъ зайцевъ много. Но вотъ и лѣсокъ кончился, и опять началась равнина; опять глаза невольно щурятся—имъ больно смотрѣть на

чистый, бѣлый снѣгъ и длинную блестящую полосу свѣта отъ солнца. Вы продолжаете мечтать. Любите-ли-нѣтъ вы этимъ заниматься — это все равно: если зимой вы ѣдете одни въ саняхъ и погода хороша, вы непремѣнно начнете мечтать. Воображеніе невольно разыгрывается. И что за вздоръ, думаете вы, что въ деревнѣ, зимой, говорятъ, жить нельзя? Чистый вздоръ! Маленькій тепленькій домикъ, каминъ, газеты, журналы, книги, сигары, два, три сосѣда. Тихо, покойно. Ни этого низкопоклонства, ни этой гоньбы за чинами и орденами, ни этихъ пошлыхъ визитовъ—этой язвы городской жизни—ничего здѣсь не надо. Да, великая истина:—ближе къ природѣ жизнь лучше! Лѣтомъ—работа, дѣятельность. Надо будетъ выписать машинъ, да покончить съ этой трехполкой. Ваши мечты переходятъ уже въ непремѣнное почти рѣшеніе. А между тѣмъ смеркается. Солнце почти уже сѣло и сядетъ совсѣмъ еще минутъ черезъ пять. Давно уже видѣвшаяся деревня наконецъ передъ вами почти; но это пока кажется только: до нея еще версты двѣ навѣрно будетъ. Туда ли однако я попалъ? думаете вы. Кажется, такъ мнѣ толковали дорогу—проѣхать два свертка, на третьемъ повернуть и все вправо забирать. Ѣдетъ тоже къ селу мужикъ впереди васъ, увидалъ и сворачиваетъ. Передними ногами его лошать уже ступила въ сугробъ и вязнетъ.

— Не нужно, не сворачивай, кричите вы ему.—Это Ивановка?

— Ивановка, держась одной рукой за возжу, а другой срывая шапку, отвѣчаетъ мужичонко.

Вотъ и село. Совсѣмъ почти запушенныя и занесенныя снѣгомъ, длиннымъ рядомъ, какъ снѣговые холмики, протянулись мужицкія избы. Всѣ онѣ въ снѣгу, бѣлыя, только окна чернѣютъ. Вотъ и совсѣмъ уже стемнѣло и длинными полосками бѣжитъ яркій лучиній свѣтъ изъ низенькихъ оконъ. Вотъ, недалеко отъ церкви, изба нѣ-

сколько повыше, побольше, двойная—это поповская; нѣсколько поменьше, рядомъ, дьяконовская; дьячковой нельзя отличить. А вотъ, какъ разъ посреди села, посреди улицы, маленькая, освѣщенная, совсѣмъ покачнувшаяся избенка съ скворешней и тряпкой на высокомъ шесту: это кабакъ. Еще сажень сто, сто пятьдесятъ,—и барская усадьба. Садъ большой, густой, тихо стоитъ и дремлетъ. Изъ оконъ дома виденъ яркій свѣтъ. Что за народъ эти сосѣди? Самъ-то онъ добрый малый. Подъѣзжая, вы видите въ окна, какъ лакей принесъ и поставилъ на столъ самоваръ, какъ весело горитъ огонекъ въ каминѣ, какъ дочь, и, кажется, такая хорошенькая, стоитъ съ кѣмъ-то и смѣется у открытаго рояля. Вотъ гостинная съ мягкимъ матовымъ ламповымъ свѣтомъ; вы успѣли даже увидать и мягкую мебель въ бѣлыхъ чехлахъ... И такъ спокойно, тихо, безмятежно у васъ на душѣ. Васъ такъ радушно встрѣтятъ, такъ вкусенъ покажется этотъ чай съ густыми сливками, съ мягкимъ и пышнымъ бѣлымъ хлѣбомъ. Такой наивной и доброй простушкой покажется эта старшая дочь, что стояла и болтала у рояля, когда вы проѣхали мимо оконъ...

Славные люди и славная жизнь въ степныхъ деревняхъ. Такая простота, безъискуственность — ближе къ природѣ, оттого...

Для лѣтняго пейзажа потребуются, разумѣется, другія краски, но можно и его сдѣлать такимъ же теплымъ, красивымъ и уютнымъ. Для этого стоитъ только поступить такъ же, какъ мы поступили сейчасъ, т.-е. ни съ кѣмъ не заговорить, ни къ чему не присмотрѣться, а просто умилиться душою. Тогда опять все пойдетъ, какъ по маслу. И безконечныя равнины побурѣвшей уже ржи, такъ похожія на широкую шкуру огромнаго бураго медвѣдя; и ровные стройные взмахи косцовъ, и пляски и пѣсни въ селѣ, и огоньки въ избахъ, и огоньки, ночую-

щихъ въ поляхъ—все покроется мягкимъ, изящнымъ колоритомъ.

Но Боже, какая безконечная разница явится въ вашемъ взглядѣ на эту жизнь, когда вы окунетесь въ нее съ головою и узнаете всю ея подноготную. Какой наглой ложью покажутся тогда вамъ эти первыя благодушныя впечатлѣнія!..

Такъ-какъ я не имѣю чести быть рожденнымъ для вдохновенья, для звуковъ сладкихъ, для молитвъ, и такъ-какъ единственная цѣль этихъ очерковъ — голая правда, безъ всякой примѣси какой бы то ни было лжи, хотя бы и самой художественной, то я и прошу извинить, если сразу угощу читателя извѣстіемъ, что во всей, напримѣръ, Тамбовской губерніи едва-ли наберется десятокъ или два незаложенныхъ помѣщичьихъ имѣній, а изъ остальныхъ едва-ли три-четыре досятка имѣется такихъ, которыя не подлежатъ описи за просрочку въ опекунскій совѣтъ, приказъ или за неплатежъ частныхъ долговъ... Поэтому, мнѣ кажется, что уютная и болѣе или менѣе комфортабельная обстановка домашней жизни людей, находящихся въ такомъ далеко не поэтическомъ положеніи, способна вызвать настроеніе, неимѣющее ничего общаго съ тѣмъ, съ которымъ вы сейчасъ подъѣзжали къ дому добродушнаго загорѣлаго толстяка.

Не болѣе поэтической красоты будетъ заключаться и въ томъ извѣстіи, что въ этихъ низкихъ, запушенныхъ снѣгомъ и безконечнымъ рядомъ протянувшихся избенкахъ, изъ оконъ которыхъ такъ красиво бѣжитъ полосками свѣтъ на улицу, половина сидитъ ужь безъ хлѣба, пробиваясь кое-какъ работишкой, да продавая послѣднюю скотину, да отдавая въ наемъ ту землю, которую весною слѣдовало бы имъ самимъ сѣять, и которую теперь будетъ засѣвать цѣловальникъ, мѣстный лавочникъ, мѣщанинъ или два-три мужика-богача.

Какъ, отчего и для чего это устроилось,—объ этомъ нечего спрашивать.

Вѣроятно, вслѣдствіе этого, а не какихъ нибудь другихъ причинъ, вы не встрѣтите теперь ни у кого, или почти ни у кого, ни домашнихъ музыкантовъ, ни труппы волтижеровъ, ни даже псовой охоты. Развѣ гдѣ найдете трехъ, четырехъ борзыхъ, да и то какія-то жалкія, полуголодныя, смотрятъ онѣ вамъ въ глаза и только что не говорятъ вслѣдъ за хозяиномъ: а, да что тутъ еще толковать — все кончено!... Было и наше время. Были псы нужны—были и хороши...

Мнѣ разсказывали здѣсь слѣдующій, даже нѣсколько трогательный случай. Дѣло было осенью прошлаго года. Пріѣзжаетъ кто-то изъ сосѣдей къ одному здѣшнему, нѣкогда извѣстному псовому охотнику и говоритъ, что недалеко отъ его усадьбы встрѣтилъ шесть волковъ. Въ старомъ охотникѣ заиграла кровь; призываетъ онъ единственнаго оставшагося у него, ради дряхлости, доѣзжачаго и сообщаетъ ему извѣстіе. Ветеранъ отъѣзжаго поля подробно разспросилъ, въ какомъ именно мѣстѣ видѣли волковъ, куда они побѣжали и задумался.

— Ну, что-жь? спросилъ баринъ.

— Не совладаешь.

— А если они разобьются по одиночкѣ?

— Не разобьются.

Всѣхъ собакъ было только три. Несмотря на это, баринъ велѣлъ осѣдлать двѣ лошади—себѣ и своему доѣзжачему. Волковъ нагнали въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ и предполагали ихъ встрѣтить, но они по одиночкѣ не разбились.

— Пустимъ собакъ; можетъ, какого одного и отобьютъ.

— Не совладаемъ.

Собакъ пустили. Онѣ жарко бросились на волковъ, сцѣпились съ ними въ отчаянной дракѣ, но бой былъ

слишкомъ неровенъ, и собакъ разорвали. Когда охотники подскакали къ мѣсту битвы, все было уже кончено. Волки въ кучкѣ попрежнему побѣжали дальше, а собаки съ перекусанными горлами и распоронными внутренностями лежали всѣ окровавлены. Только одна была еще жива и лизала кровь на своихъ страшныхъ ранахъ.

Баринъ сошелъ съ лошади, пристально посмотрѣлъ ей въ глава, и она тутъ же издохла. Онъ шагомъ вернулся домой, задумался, а знающіе его говорятъ, что его теперь и узнать нельзя.

Домашніе музыканты, волтижеры — это все вздоръ, чепуха; но собаки дѣло особенное. Потребность псовой охоты, потребность, сдѣлавшаяся органическою—вслѣдствіе ли традиціи, пустоты здѣшней обыденной жизни, вслѣдствіе ли того, наконецъ, что въ ней можно отыскать, какъ говорятъ, нѣкоторое подобіе войны—все равно; я утверждаю только, что ни о чемъ здѣсь такъ не тужатъ, какъ о положительной невозможности содержать въ настоящее время хотя сколько-нибудь порядочную стаю собакъ. Я, нисколько не преувеличивая значенія факта, могу сказать, что собаки довели десятки имѣній до публичной продажи и разстроили сотню прекрасныхъ состояній. Здѣсь всѣ еще живо помнятъ знаменитую охоту Л—на, имѣвшаго пятьсотъ своръ борзыхъ собакъ, къ нимъ, разумѣется, приличное количество гончихъ, годовалыхъ, полугодовалыхъ и новорожденныхъ—щенятъ, псарей, верховыхъ лошадей, разныхъ волкодавовъ и проч. Имѣніе его, двѣнадцать тысячъ десятинъ, положительно все пошло на собакъ. Когда Л—нъ выѣзжалъ осенью съ охотой, то захватывались подъ дизлокацію этой собачьей арміи цѣлыя волости. Тянулись десятки подводъ съ провизіей, кухней, фургонами для раненыхъ и больныхъ собакъ и т. д. Примыкали къ нему мелкотравчатые, кто съ десяткомъ, кто съ сотней собакъ, и охота

принимала чудовищно-безобразные размѣры. Чтò совершалось при этомъ въ деревняхъ во время ночлега—единому Богу извѣстно и имъ однимъ можетъ быть прощено...

Разсказы объ этихъ охотахъ и этихъ ночлегахъ, несмотря на то, что нѣтъ еще и десяти лѣтъ, какъ они прекратились, получили въ народѣ какой-то легендарный характеръ. Одни охотничьи наѣзды и пиры В—ва, извѣстнаго въ народѣ болѣе подъ названіемъ Евграфа (его имя)—цѣлый эпосъ. Впрочемъ, я не буду здѣсь объ этомъ распространяться, а составлю изъ нихъ особую главу.

Съ 19-го февраля 1867 года все это кончено, и какъ бы ни сложилась теперешняя новая жизнь, этому ужъ не повториться никогда. Степная и особенно тамбовская деревня поразитъ васъ своей нищенской, грязной обстановкой и какимъ-то сѣренькимъ, унылымъ колоритомъ. Того, чтò называется русской избой въ архитектурѣ и чтò въ дѣйствительности я видалъ только въ подмосковныхъ деревняхъ, здѣсь положительно нигдѣ вы не встрѣтите. Тамбовская изба—срубъ березоваго дерева, чаще всего квадратный пятиаршинникъ съ двумя окнами, съ печкой *по черному*—безъ трубы. Столъ, три лавки, палати—и все это черное, закоптѣлое, продымленное до невѣроятности. Ничего нѣтъ удивительнаго, что грязь такой обстановки поражаетъ человѣка, привыкшаго болѣе или менѣе къ комфорту, но она удивляетъ даже мужиковъ другихъ губерній. Рязанцы, калужане и курскіе рабочіе козловско-воронежской дороги—въ ужасѣ отъ этой грязи. Въ деревняхъ, мимо которыхъ проходитъ дорога и въ которыхъ они должны были основать свой ночлегъ, нанимая избы,—первою заботою ихъ было все выскоблить и вымыть. Нѣкоторыя партіи, не желая окунуться въ эту грязь, даже строили себѣ балаганы изъ тесу и жили въ нихъ, несмотря на начавшіеся уже сильные морозы.

Само собою разумѣется, что главная причина такой поражающей неопрятности—бѣдность. Зажиточный мужикъ живетъ просторнѣе и потому чище, но все-таки грязно, страшно грязно. При тѣхъ же самыхъ условіяхъ, нѣтъ никакого сомнѣнія, что можно было бы жить въ тысячу разъ чище и удобнѣе. На желѣзную дорогу богатый мужикъ не наймется работать—это нечего доказывать, стало быть, всѣ эти калужане, рязанцы—народъ бѣдный, но отчего же они и одѣты чище и такъ брезгливо смотрятъ на здѣшній домашній бытъ? Разспрашивая кой-кого объ этомъ, мнѣ нѣсколько разъ приходилось слышать такое объясненіе: тамбовскій мужикъ-пахарь, онъ цѣлый день возится въ землѣ и навозѣ—до чистоты ли ему? Рязанцы плотники, курскіе копальщики — работа ихъ чище. Они, можетъ быть, и не богаче, да работа-то ихъ такова, что при ней возможна опрятность, а какъ же вы будете чисты, возясь цѣлый день въ землѣ и въ навозѣ. Я слишкомъ мало еще толкался въ народѣ и вообще мало знаю другія, даже сосѣднія съ Тамбовской, губерніи, чтобы сказать что-нибудь противъ или за это объясненіе. Богатство тамбовскаго мужика выражается въ двухъ, трехъ маленькихъ лошадяхъ, десяткѣ овецъ, двухъ, трехъ коровахъ, нѣсколькихъ свиньяхъ, относительно просторной избѣ, а главное, въ трехъ и четырехлѣтнихъ кладушкахъ ржи. Самъ же онъ чѣмъ богаче, тѣмъ непремѣнно хуже одѣтъ и всячески старается казаться простачкомъ. Это положительно общая черта; я наблюдалъ ее почти во всѣхъ деревняхъ, гдѣ только мнѣ приходилось здѣсь бывать... Былъ я разъ у одного здѣшняго помѣщика, владѣльца нѣсколькихъ сотъ десятинъ земли, и почему-то считающаго за удобное отдавать ихъ въ аренду. На крыльцѣ мнѣ попался старикъ лѣтъ шестидесяти, маленькій, худенькій, съ жалкой, робко-улыбающейся физіономіей, въ изорванномъ полушубкѣ, подпоясанномъ обрывкомъ ве-

ревки. Завидя меня, онъ торопливо сорвалъ шапку и отвѣсилъ чуть не земной поклонъ.

— У васъ на крыльцѣ нищій стоитъ, сказалъ я моему знакомому.

Тотъ взялъ со стола какую-то мѣдную монету и пошелъ на крыльцо, но сейчасъ возвратился со смѣхомъ.

— Этотъ, батюшка, нищій богаче меня, это мой арендаторъ. Пойдемте-ка въ переднюю, поразсмотрите-ко его—онъ мнѣ деньги за землю принесъ.

Они начали считаться, а я тутъ же присѣлъ и съ удивленіемъ смотрѣлъ, какъ ловко считалъ онъ процентные мѣсяцы на серіяхъ, будучи совершенно безграматнымъ.

— Къ чему же ты это, старикъ, ходишь такимъ оборваннымъ, вѣдь это самому тебѣ должно быть скверно, да и люди-то всѣ смѣются, усовѣщивалъ я.

Старикъ распустилъ свою робко-глуповатую улыбку и захохоталъ.

— А пусть ихъ смѣются: такъ-то оно покойнѣе.

— Да что жь тутъ развѣ разбойники у васъ?

— Нѣтъ, этого не слыхать, а все покойнѣе.

— Да чѣмъ же?

— Такъ, покойнѣе.

Хвастаться своимъ достаткомъ рѣшительно не принято, не въ обычаѣ; трезвый никогда не похвастаетъ, да и пьяный о деньгахъ, какія у него есть, ни за что не проболтаетъ. Все, что̀ можно, такъ это подгулявши съ пріѣхавшимъ къ нему на праздникъ или на свадьбу сватомъ, пойти на гумно и показать ржаныя кладушки. Хлѣбъ есть—вотъ его богатство; тамбовскій мужикъ охотно продаетъ лишнюю корову, овецъ, даже лошадь, только не хлѣбъ. Поэтому, нерѣдко вы увидите на гумнахъ шести, и даже и десяти и болѣе лѣтнія, кладушки ржи, проса, овса. Какъ бы онѣ ни были хорошо складены, но ихъ всетаки мочитъ дождь, снѣгъ; онѣ прѣютъ, точатъ ихъ мыши; но

онѣ все-таки стоятъ и къ концу концовъ въ нихъ останется на половину и даже меньше зерна. При частыхъ и безпомощныхъ пожарахъ, онѣ и вовсе гибнутъ. Но, несмотря на это, продать хлѣбъ въ глазахъ зажиточнаго мужика развѣ только не преступленіе, но ужь глупость положительная. Прошлую осень, вслѣдствіе сильнаго спроса за границу, финляндскаго голода и, главное, благодаря козловской желѣзной дорогѣ, облегчившей доставку хлѣба, рожь, бывшая всѣ эти года не дорожѣ полутора, двухъ и двухъ съ половиной руб. сер. за четверть, доходила одно время до неслыханной прежде цѣны—шести съ половиною рублей. Соблазнъ, кажется, огромный. А между тѣмъ, мужики все-таки ни за что не хотятъ продавать. Мнѣ нѣсколько разъ приходилось заводить объ этомъ рѣчь.

— Ну, отчего не продаешь? вѣдь есть продажная?

— Есть-то, есть.

— Такъ что жь, зачѣмъ стало дѣло? Цѣна вѣдь хороша

— Объ цѣнѣ что̀ говорить, какой же еще цѣны?

— Ну, и продавай,

— Все какъ-то бо̀язно.

— Да чего бо̀язно-то?

— А какъ не родится?

— Оставь запасъ.

— А какъ и на тотъ годъ не родится?

— Оставь запасъ и на тотъ годъ, оставь на три года.

— Страшно.

И рѣдко-рѣдко какой изъ имѣющихъ возможность продать лишнюю рожь—продастъ ее.

Такъ живо здѣсь еще воспоминаніе о страшномъ голодѣ, бывшемъ въ тридцать-девятомъ и сороковомъ годахъ. Голодъ былъ ужасный. Мнѣ десятки разъ приходилось выслушивать разсказы объ немъ, и чрезъ всѣ эти разсказы проходилъ всегда одинъ и тотъ же мотивъ: „Царь денегъ прислалъ тогда, да намъ-то они не по-

пали...“ Деньги, дѣйствительно, были присланы и переданы предводителямъ для раздачи на покупку хлѣба — это исторически вѣрный фактъ. Были составлены списки помѣщиковъ, которыхъ раздѣлили на двѣ категоріи — *благонадежныхъ* и *неблагонадежныхъ*. Благонадежными назывались тѣ, кому предводители считали возможнымъ отдать деньги прямо въ руки—не промотаютъ; неблагонадежнымъ покупали хлѣбъ и выдавали пособіе натурой. Но случилось какъ-то такъ, что благонадежные-то и оказались неблагонадежными. Дороговизна хлѣба доходила до баснословной цѣны; напримѣръ, продавалась, вмѣсто 3, 4 руб.—по 40 и даже 50 рублей (разумѣется, ассигнаціями); народъ ѣлъ лебеду, мякину—открылась цинга, щеки трескались. Но при всемъ томъ, нигдѣ не было ни малѣйшей попытки къ какому-либо возмущенію. Изъ множества разсказовъ объ этомъ ужасномъ времени, приведу здѣсь два слѣдующихъ, исторически вѣрныхъ.

„Какъ прислалъ намъ тогда царь деньги, вотъ генералы и поѣхали по господамъ рожь скупать. Цѣну набили ужасную. Вотъ пріѣзжаютъ они къ одному помѣщику и спрашиваютъ, есть ли у него хлѣбъ продажный?

„— Есть, говоритъ.

„— Покажите.

„Посмотрѣли образцы и спрашиваютъ, почемъ хочетъ взять? Вы, говорятъ, положите подешевле — человѣкъ вы богатый, одинокій; помрете — все оставите, съ собою не возьмете...

„— Это, говоритъ, ужь мое дѣло—меньше 75 рублей за четверть не возьму.

„Тѣ такъ и ахнули. Какъ ни высока была цѣна, а такой еще и не слыхивалъ у насъ никто.

„Подумали, подумали генералы—нѣтъ, говорятъ, это вздоръ; если по такой цѣнѣ купить: насъ самихъ за это по шапкѣ. Вы, говорятъ, назначайте цѣну настоящую.

А тотъ все свое: меньше 75 рублей не отдамъ, да и только. А запасъ у него былъ огромный — тысячъ пять четвертей. Какъ тутъ быть? Опять подумали генералы, переговорили между собою и отписали: такъ и такъ, молъ, ваше высокое величество, есть здѣсь помѣщикъ такой-то, безродный, одинокій и нашли мы у него запасы хлѣба большущіе, только цѣну хочетъ съ насъ слупить немилосердную, нехристіанскую. Что намъ подѣлать съ нимъ? Осерчалъ на него царь и пишетъ имъ: вы, генералы мои, его не трогайте, отберите у него только рȗки (подписку), чтобы онъ никогда ниже этой цѣны никому рожь не продавалъ. Такъ генералы и сдѣлали — рожь не купили, а рȗки отъ него отобрали. Такъ что жь, другъ ты мой любезный, какъ думаешь?—вѣдь умеръ съ тоски! Шло, говоритъ, мнѣ богатство въ руки великое — совладать не съумѣлъ—отъ себя пропалъ".

Это въ высшей степени простое рѣшеніе до того понравилось мужикамъ, что стоитъ только заговорить о голодномъ годѣ, какъ вамъ сейчасъ начнутъ объ этомъ разсказывать; разумѣется, въ разныхъ деревняхъ и разныхъ уѣздахъ варіяціи нѣсколько отличны одна отъ другой, но суть дѣла строго сохранилась. Это, повторяю, фактъ исторически вѣрный и я имѣлъ возможность его провѣрить.

А вотъ еще разсказъ, который тоже относится къ этому же времени, и который, мнѣ кажется, тоже не менѣе интересенъ.

Прихожу я какъ-то по веснѣ въ деревню, и такая она какая-то чудна̀я, скучная. Дворы и избенки еле-еле держатся. Барскій домъ стоитъ съ заколоченными окнами, на крышѣ полынь ростетъ. Садъ огромный, великолѣпный, страшно запущенъ. Нѣсколько человѣкъ, слышно, тамъ что-то рубятъ. Спрашиваю, чья деревня?

— Барышень Т-хъ, говорятъ; да онѣ тутъ не жи-

вутъ, сдали на аренду купцу и землю, и садъ, и онъ теперь тамъ сосны и липки рубитъ.

— А сами онѣ гдѣ-жь?

— Сами въ Козловѣ живутъ, Богу все молятся; набрали приживалокъ, такъ съ ними и сидятъ.

— Можно туда пройти?

— Отчего же.

— И пострѣлять тамъ можно?

— Можно.

— Вальдшнепы-то есть тамъ? Птицы такія носатыя, съ голубя ростомъ?

— А! знаемъ! есть, есть, въ вишняхъ ихъ пропасть живетъ. Осенью тоже бываютъ.

Кликнулъ собаку и пошелъ. Самъ арендаторъ куда-то уѣхалъ, намѣтилъ какія дерева рубить, и человѣкъ пять мужиковъ рубятъ ихъ. Садъ дѣйствительно очаровательно хорошъ, тѣнистый, цѣлый паркъ; липки въ два обхвата; сосны, березы. Я пошатался по саду, что-то застрѣлилъ и подсѣлъ къ мужикамъ.

— Богъ помочь.

— Спасибо.

— Что это дѣлаете?

— Видишь, рубимъ. Липки на ульи пойдутъ, перепилимъ, а сосны въ городъ на базаръ свеземъ. А ты кто будешь?

Я назвался лакеемъ.

— Что же, стрѣляешь? Себѣ или господамъ?

— Господамъ.

— Любятъ они этихъ птичекъ; носатыя какія! говорилъ мужикъ, разсматривая вальдшнепа. — Тутъ былъ тогда, давно еще, стрѣлецъ изъ здѣшнихъ дворовыхъ, такъ онъ все барышнямъ нашимъ ихъ стрѣлялъ. Любятъ онѣ ихъ. Въ голодный годъ сами-то онѣ тутъ не жили, такъ, бывало, Ефимка-то ихъ настрѣляетъ, сейчасъ

нарочнаго съ ними и посылаютъ въ Рязань—господа-то наши тотъ годъ тамъ жили у дяденьки своего. Вотъ тѣ-то самыя я и видалъ какъ-то разъ. Нутро-то изъ нея вынутъ, да крапивой набьютъ—она и ничего, сутокъ трое на жарѣ пролежитъ не протухнетъ.

Припомнилъ и другой, что и онъ тоже возилъ, когда его туда сѣчь прикащикъ посылалъ.

— Какъ сѣчь? Дальше и больше, разболтались.

— Вишь дѣло было какъ: барышни наши какъ прочуяли, что голодъ подходитъ, такъ сейчасъ взяли да весь хлѣбъ, какой у нихъ былъ, продали, а сами въ Рязанскую губернію къ дяденькѣ своему и уѣхали жить на зиму. Остался здѣсь въ отчинѣ ихъ только одинъ управляющій, Павелъ Михайловичъ прозывался. Какъ подступилъ голодъ-то, хлѣбушко-то какъ поѣли весь, какой былъ, мы и пошли къ прикащику говорить: ѣсть нечего. А я, говоритъ, откуда его вамъ возьму. Ступайте къ барышнямъ въ Рязань. Выбрали мы изъ себя пятерыхъ умнѣйшихъ стариковъ и послали туда. Вышла къ нимъ старшая барышня и раскричалась: ахъ вы, говоритъ, такіе-сякіе, бунтовать хотите? Нѣтъ у насъ за это вамъ хлѣба. Такъ старики ни съ чѣмъ назадъ и вернулись. Пораспродали у кого какая была скотина — все хлѣба не хватаетъ — мякину, лебеду сталъ народъ ѣсть. Прослышали мы, наконецъ, что царь деньги прислалъ и хлѣбъ раздаютъ. Тѣ сказываютъ, другіе; раздаютъ, говорятъ, и надо для этого къ предводителю идти. Мы такъ и сдѣлали. А предводитель-то, изволишь видѣть, барышнямъ-то нашимъ родня былъ; мы и думаемъ: кому откажутъ, а ужь намъ-то навѣрно дадутъ— потому свой, братецъ ты мой... Вышелъ предводитель и спрашиваетъ: чьи вы, и что вы и за какимъ дѣломъ пришли? Поклонились ему старики и говорятъ: такъ и такъ-молъ, хлѣба нѣтъ. Какъ нѣтъ? Да такъ нѣтъ, и все

тутъ. Не можетъ быть, говоритъ, врете вы, ослы! барышнямъ деньги на руки дали — онѣ благонадежныя. Идите къ нимъ. Да ужь были, говорятъ старики. Ну, что жь? Прогнали и на глаза не велѣли пускать. Покачалъ, покачалъ онъ головой; постойте, говоритъ, я напишу къ нимъ—хлѣбъ должны выдать. Вынесъ письмо: на-те вамъ, по немъ выдадутъ, только смотрите, бунтовать не смѣйте. Принесли старики это письмо въ деревню и говорятъ, хлѣбъ будутъ выдавать — господамъ деньги на то отъ царя высланы и нашимъ барышнямъ тоже. Пошли къ управляющему, сказываютъ ему, какъ было дѣло. Не пущу, говоритъ, я васъ съ этимъ письмомъ къ барышнямъ — приказъ такой прислали, чтобы никого изъ васъ туда не пускать. Какъ тутъ быть?! Старики думали-думали и опять пошли къ прикащику. Тебѣ самому вѣдь сѣчь насъ не приказано? Нѣтъ. А если какой въ чемъ провинится, такъ въ Рязань его отсылать? Да. Напиши, что мы провинились въ чемъ, а ты туда сѣчь насъ посылаешь, мы тогда предводительское письмо и подадимъ. Да какъ же я напишу, что вы провинились, когда вы ни въ чемъ не виноваты, вѣдь васъ высѣкутъ. Ничего, не твоя бѣда, только выпиши, что провинились—придумай какую вину. И придумалъ, что будто въ саду березки рубили. Дѣло весною было, въ самую полую воду — грязь такая стояла, что и разсказать нельзя. Запрягли мужики тогда двѣ тройки, сѣли на нихъ шестеро, взяли предводительское письмо, да другое отъ прикащика, да вотъ птичекъ-то этихъ, и поѣхали. Сутокъ пятеро никакъ ѣхали, наконецъ пріѣзжаютъ. Илья Ивановъ, вотъ его отецъ, и пошелъ въ домъ, и птичекъ взялъ. Доложили барышнѣ, вышла. Что ты? Да вотъ, говоритъ, вашей милости птичекъ привезъ. А мужикъ такая-то, я тебѣ скажу, плута былъ, кого хочешь подведетъ... Взяла барышня птичекъ и возрадова-

лась. Дяденька! говоритъ (о ту пору у нихъ дяденька ихъ гостилъ), птичекъ какихъ мнѣ привезли изъ моей деревни.—Ихъ, душенька, зажарить надо, прикажи повару на кухню отнести. Вышла опять барышня. Ну, вотъ, за это, мужичекъ, спасибо;—дайте ему вина рюмку. Илья Иванычъ сейчасъ въ ноги; простите, говоритъ, сударыня, провинились мы, березки у васъ порубили въ саду, прикащикъ письмо прислалъ, да вотъ и отъ предводителя. Такъ она, моя сердечная, и ахнула; даже и про птичекъ забыла. Такъ вотъ, говоритъ, вы какіе, бунтовать еще вздумали! Птичками хотите глаза отвести. Кличетъ опять дяденьку. Такъ и такъ говоритъ, почитайте-ка...

— Ну, что жь, высѣкли?

— Высѣкли.

— А хлѣба дали?

— Хлѣба не дали, а двѣсти рублей прислали. А сами-то вѣдь тысячи полторы изъ казны получили...

Только заговорите о голодномъ годѣ, и вы не убережетесь подобныхъ разсказовъ.

Кажется, послѣ этого нечего удивляться, отчего и какъ явилась въ народѣ привычка таиться и беречь хлѣбъ, несмотря иногда на очевидную возможность продать запасъ, ничѣмъ не рискуя. Народъ таится, не говоритъ о своихъ достаткахъ. Оно, положимъ, достатковъ этихъ мало, но не говоритъ и тотъ, у кого онъ и есть. Я знаю здѣсь одно небольшое имѣньице, дворовъ двадцать, тридцать. Мужики прежде жили, говорятъ, смотрѣть страшно было; изъ всего Козловскаго уѣзда хуже ихъ постройки ни у кого не было. Въ старину жили и они хорошо, но въ послѣдніе 10—20 лѣтъ, подъ управленіемъ тоже одной старой дѣвы, обнищали. Пришло Положеніе 19-го февраля, и вотъ въ какихъ-нибудь годъ или два пообстроились, прикрылись, такъ что ихъ никто

не узнавалъ. Дѣло ясно: были спрятаны деньжонки. Когда стало безопасно вынуть ихъ на свѣтъ Божій — они и вынули.

Мнѣ нѣсколько разъ говорили объ этой деревушкѣ, и я нарочно ходилъ туда.

— Правда, что объ васъ вотъ то-то болтаютъ? спрашивалъ я какъ-то въ минуту откровенности.

— А тебѣ на что это?

— На что? Да такъ, къ слову пришлось.

— Можетъ, и правда. Ты хребетъ-то погни, попробуй, да и скажи мнѣ, захочется ли тебѣ добро свое прахомъ на вѣтеръ пускать, или нѣтъ?

То же самое теперь вотъ и съ пьянствомъ. Возьмите любую газету и читайте въ ней любую корреспонденцію изъ какой хотите губерніи—навѣрно въ концѣ, серединѣ или началѣ идетъ печалованіе объ этой *пагубной страсти*. Фактъ вѣренъ, пьянство значительное, а отчего? Я, разумѣется, не могу сказать, что вездѣ тѣ же причины, но здѣсь, послѣ обилія праздниковъ, едва-ли не главная слѣдующая. Съ изданіемъ Положенія 19-го февраля, число рабочихъ въ помѣщичьемъ хозяйствѣ, какъ извѣстно, убавилось почти на половину; особенно ощутительно это при спѣшныхъ работахъ, какъ, напримѣръ, возкѣ сноповъ на гумно. Прежде стоило только потребовать всѣхъ мужиковъ сгономъ, и дѣло въ шляпѣ—теперь этого нельзя. Долго не знали и не догадывались, какъ и чѣмъ заткнуть эту бѣду. Пробовали замѣнить недочетъ въ рабочихъ рукахъ батраками, но дѣло на ладъ не пошло: батрачество не прививается. Запашка *исполу* съ мужиками, тоже штука не ладная, и въ ней толку мало, а возни пропасть. Выписка рабочихъ изъ Пруссіи — положительное шутовство, да и не для всѣхъ возможно это дурачество. Практическіе люди, послѣ столькихъ неудачъ сдѣлавшіеся еще умнѣе и практич-

нѣе, задумались и стали приглядываться и искать надежнаго и дешеваго средства вокругъ себя. Представьте же теперь ихъ радость, когда они нашли такое средство, что и дешево, и скоро, и всѣ-то достоинства въ немъ. Средство это, правда, давно ужь извѣстно, но на него почему-то прежде не обращали должнаго вниманія. Теперь оно оцѣнено по достоинству и съ каждымъ годомъ получаетъ все обширнѣйшее приложеніе въ сельско-хозяйственной жизни.

— Дайте мнѣ ведро водки, говоритъ современный тамбовскій *Архимедъ:*—и я этимъ рычагомъ сдвину куда угодно цѣлую деревню. И это не пустое хвастовство, а практически доказанная истина. Рычагъ этотъ имѣетъ тѣмъ большее достоинство, что и въ движеніе приводится чрезвычайно просто. Положимъ, вамъ надо запахать сто десятинъ; по положенію, вы разсчитываете и видите, что рабочихъ рукъ у васъ хватитъ на 50—60. Принанять на остальныя сорокъ - пятьдесятъ будетъ стоить вамъ 40—50 рублей, да еще найдете ли сейчасъ рабочихъ, а съ помощью рычага вы ихъ запашете за девять рублей. И вотъ, призываете вы вечеромъ вашего прикащика и дѣлаете на этотъ счетъ нужныя распоряженія. На утро этотъ прикащикъ запрягаетъ бѣговыя дрожки, садится на нихъ, ставитъ впереди себя ведерный боченокъ съ водкой и ѣдетъ по деревнѣ шагомъ. Раннее, очень еще раннее утро; солнце еще не вставало—только заря; избы топятся и изъ растворенныхъ дверей идетъ дымъ, выгоняютъ скотину. Вотъ заскрипѣли и растворились ворота, и изъ двора выѣзжаетъ мужикъ верхомъ на запряженной въ соху лошади; прикащикъ его увидалъ:

— Ѳедулъ Никитичъ, ты куда?

— Да вотъ попахаться было-собрался. А что? спрашиваетъ онъ уже въ свою очередь и поглядываетъ на боченокъ.

— Ничего. Такъ спрашиваю. Вчера было ваши мужики обѣщали намъ подсобить—такъ угощеніе везу.

— Какъ же это я-то не слыхалъ? удивляется Ѳедулъ:—я отъ міру не прочь.

— Пожалуй, чтожь. Намъ все-равно, какъ будто нехотя цѣдитъ прикащикъ: — теперь выставлю ведро, да ужо, какъ съ работы пойдете, еще два.

— Хотѣлось бы свою-то прежде запахать, раздумываетъ Ѳедулъ.

— А у тебя сколько?

— Сколько? Извѣстно, двѣ десятинки.

— Ишь махина какая—не успѣешь небось?

— Ну, какъ не успѣть!

— Такъ чтожь? А впрочемъ какъ знаешь—дѣло твое, неволить мы не можемъ.

— Это такъ... Что-же, я отъ міру не прочь. Куда сходиться-то, къ Семену Иванычу въ кабакъ, или къ Маринѣ цаловальничихѣ?

— Къ Семену Иванычу, говоритъ прикащикъ и ѣдетъ шажкомъ. Выѣзжаютъ другіе мужики. Та же самая исторія повторяется опять. На удивленіе этихъ, какъ они не слыхали вчера, что село обѣщало помочь, прикащикъ ссылается ужь на Ѳедула и т. д. Черезъ часъ все село, т.-е. мужики со всѣхъ почти дворовъ, собрались къ кабаку и распиваютъ ведро; вечеромъ они выпьютъ еще два обѣщанныхъ и будутъ положительно пьяные, а пятьдесятъ десятинъ запаханы. Нѣкоторымъ практикамъ этотъ рычагъ до того полюбился, что, нисколько не преувеличивая, можно сказать, что они приводятъ его въ движеніе передъ каждой работой — пахатой, сѣвомъ, жатвой, возкой, молотьбой, и всегда съ равнымъ успѣхомъ.

Мужики, какъ и корреспонденты газетъ, всѣ въ одинъ

голосъ кричатъ, что прежде въ сто разъ меньше пили, и все-таки пьютъ... Кто виноватъ?

Мнѣ нужна оговорка... Здѣсь же, въ очень многихъ имѣніяхъ, я встрѣчалъ прекрасное обыкновеніе — раздавать передъ завтракомъ, обѣдомъ и ужиномъ порціи водки рабочимъ; но вѣдь тутъ нѣтъ ничего общаго, и развратную сцену, сейчасъ мною переданную, надѣюсь, люди, поддерживающіе этотъ обычай, не примутъ на свой счетъ.

А тутъ праздники. Богаче всего мужикъ здѣшній бываетъ осенью, когда весь хлѣбъ у него еще на лицо. Поэтому, и всѣ почти церкви выстроены въ честь осеннихъ праздниковъ. Въ эти-то праздники и бываетъ самое сильное пьянство, да еще на масляницу. На свѣтлую недѣлю вы рѣдко кого увидите пьянымъ, также какъ и на Троицу. Тутъ все пляшутъ и пѣсни играютъ. Но на престольный праздникъ и на масляницу—исключительное пьянство и пьянство повальное: тутъ бываютъ всѣ пьяны, и мужики, и бабы, и дѣвки, даже иногда 14 — 15 лѣтніе ребятишки. Одинъ мой знакомый становой показывалъ мнѣ вѣдомость его стана объ опившихся за нѣсколько лѣтъ, и вышло, что $^9/_{10}$ изъ нихъ опились или на престольный праздникъ или на масляницу. Крестины, свадьбы, похороны, поминки и проч. тоже драгоцѣнные случаи напиться, но все не то. Это дѣло случайное, и главное, не имѣетъ эпидемическаго характера, какой имѣетъ масляничное пьянство.

Мнѣ десятки разъ приходилось читать въ газетахъ радостныя воркованья корреспондентовъ по поводу собранныхъ ими свѣдѣній о какомъ нибудь волостномъ или сельскомъ приговорѣ мужиковъ не заводить кабака у себя на селѣ, или, чтобы никто не смѣлъ водку пить. Это все жалкія и совершенно немощныя попытки отбиться отъ хорошо понимаемаго, но положительно непреобори-

маго зла. Мнѣ лично приходилось быть свидѣтелемъ такихъ приговоровъ, и всѣ они ни къ чему не повели. Чаще всего эти комедіи устраиваются какимъ нибудь очень юнымъ и очень благонамѣреннымъ посредникомъ, но, къ сожалѣнію, совершенно незнакомымъ ни съ бытомъ мужиковъ, ни съ причинами пьянства. Соберетъ такой благонамѣренный юноша мужиковъ и поведетъ къ нимъ рѣчь, что пить-де, ребята, скверно, что вино врагъ вашъ и т. д. Мужики, разумѣется, все это слушаютъ и со всѣмъ этимъ согласны уже по одному тому, что это говоритъ начальство. Да и кромѣ того, кто же, въ самомъ дѣлѣ, станетъ спорить, что пьянство не зло. Предлагаетъ посредникъ приговоръ. Разумѣется, его составятъ, назначатъ штрафъ съ того, кто его нарушитъ, и... можно напечатать въ газетѣ сотни двѣ горячихъ, но совершенно лишенныхъ практическаго смысла строкъ о такомъ „отрадномъ фактѣ"... Мнѣ извѣстенъ здѣсь одинъ такой приговоръ, продержавшійся въ селѣ отъ пятницы до воскресенья. Узнавъ о такомъ скандалѣ, посредникъ тотчасъ же прискакалъ въ деревню, уже занесенную имъ въ списокъ трезвыхъ. Опять собралъ мужиковъ, опять сказалъ имъ рѣчь, еще горячѣе первой, но толку все-таки никакого не вышло.

— Кто первый напился?

— Мишка Лыданъ.

— Отчего же его не оштрафовали?

— Да чтожь съ него взять? его и за подушныя-то три раза ужь драли.

Посредникъ махнулъ рукой, да такъ ни съ чѣмъ и уѣхалъ. Я готовъ скорѣе допустить, что пьянство отъ бѣдности. Чѣмъ беднѣе село, тѣмъ пьянѣе. По крайней мѣрѣ, для деревень Тамбовской губерніи это несомнѣнный законъ. Ну, какъ вамъ, напримѣръ, понравится такой фактъ. Есть въ Липецкомъ уѣздѣ деревня Кочетовка,—

вся она состоитъ изъ сорока дворовъ, а въ ней два кабака. Двадцать дворовъ, значитъ, содержатъ кабакъ. Бѣдна Кочетовка до невѣроятности. Изъ сорока дворовъ только въ восьми хватаетъ хлѣба до новаго, остальные живутъ въ полномъ смыслѣ слова изо дня въ день. Но я нигдѣ не встрѣчалъ такого пьянства, какъ въ Кочетовкѣ. Пьютъ рѣшительно всѣ, и старые, и малые, и все равно, въ праздникъ ли, въ будни ли. Обитатели Кочетовки — государственные крестьяне. Я положительно не понимаю, чѣмъ и какъ они существуютъ. Воровства особеннаго не слышно, на заработки ни куда не ходятъ. Неразрѣшимая загадка для меня ихъ существованіе. Повторяю: бѣдности такой я нигдѣ не встрѣчалъ; есть избы, въ которыхъ живетъ по шести и семи человѣкъ и которыя имѣютъ въ основаніи квадратъ шести аршинъ и вышиною два съ половиной, много три; въ этой же клѣткѣ, тѣсной для одного медвѣдя, торчитъ, занимая четверть или одну треть ея пространства, еще и неуклюжая печь; въ этой же клѣткѣ зимой живутъ двѣ овцы, теленокъ, три, четыре курицы.

Есть тамъ одинъ мужикъ, по прозванію Фролка Дудакъ, высокій, плечистый человѣкъ лѣтъ сорока-пяти. Онъ положительно все пропилъ; у него нѣтъ даже лошади; все имущество его состоитъ теперь только изъ одного годовалаго поросенка, избы въ родѣ вышеописанной и двухъ четвертей ржи; у него нѣтъ даже сѣмянъ къ весеннему посѣву; правда, у него нѣтъ и семьи — онъ живетъ вдвоемъ съ женою — но вѣдь у него ничего нѣтъ и для существованія двоихъ. А между тѣмъ, это едва-ли не первый пьяница въ селѣ. Говорятъ, нужда всему научитъ. Она научила и Фролку доставать себѣ выпивку совершенно оригинальнымъ способомъ. Фролка силенъ, какъ я уже сказалъ, и, какъ записной пяница, вертится постоянно на міру, т.-е. у кабака, гдѣ совер-

шается обыкновенно судъ и расправа, гдѣ заключаются коммерческія сдѣлки; слѣдовательно, онъ знаетъ всю общественную жизнь Кочетовки въ совершествѣ, знаетъ кто съ кѣмъ въ ссорѣ, кто въ ладу, кто что купилъ, кто что кому продалъ. Поссорились двое за что нибудь, Фролка сейчасъ принимаетъ участіе, и по предложенію какой нибудь стороны, бьетъ другую; по окончаніи драки выпивка, что̀ и требовалось доказать. Примѣръ Фролки понравился, и теперь въ Кочетовкѣ подвизается на этомъ же поприщѣ еще и Артюшка Хромой. Но этотъ мужичишка слабый, да еще, какъ видите и изъ прозвища, хромой, слѣдовательно бываетъ всегда побиваемъ; тѣмъ не менѣе онъ храбро лѣзетъ въ драку и послѣ пьетъ. Я имѣю основаніе утверждать, что Фролка составляетъ явленіе вовсе не спеціально только Кочетовское — ихъ можно найти, конечно, рядомъ и въ другомъ ближайшемъ селѣ. Что они продуктъ бѣдности—это, для меня, по крайней мѣрѣ, нисколько несомнѣнно.

Меня чрезвычайно занималъ вопросъ: какіе мужики больше пьютъ—временно-обязанные или государственные крестьяне, и я все-таки ничего не могу сказать положительнаго, кромѣ того, что уже сказалъ, т.-е. что больше пьютъ тѣ, которые бѣднѣе, а которые бѣднѣе—временно-обязанные или государственные, этого, кажется, никто въ мірѣ не сообразитъ. Вѣрно только, что достаточно раззорены и тѣ и другіе; завидовать другъ другу имъ нечего...

Въ плачевномъ положеніи находится и дѣло тамбовской народной граматности.

Въ каждомъ, сколько нибудь значительномъ селѣ, а ужь особенно въ такомъ, гдѣ волость, вы непременно увидите возлѣ церкви и волостного правленія сѣренькій домикъ съ зеленой желѣзной крышей, надъ окнами котораго прибита вывѣска, гласящая, что домикъ этотъ—

народная школа. Такіе домики въ селахъ преимущественно государственныхъ крестьянъ; у временно-обязанныхъ же просто избы, крытыя соломою и отличающіяся отъ сосѣднихъ только тѣмъ, что онѣ двойныя, т.-е. двѣ избы, соединенныя теплыми сѣнями, и новенькія. Это видимое обиліе школъ и ихъ приличная наружность, однако, ровно еще ничего не доказываютъ. Эти школы нисколько не мѣшаютъ тому, что на сто неграматныхъ иногда отыщется только одинъ умѣющій читать псалтирь и ни одного умѣющаго написать сколько нибудь граматно свое имя. Есть цѣлыя деревни, въ которыхъ нѣтъ ни одного граматнаго.

Учатъ въ этихъ школахъ семинаристы, ожидающіе вакантныхъ священническихъ или дьяконскихъ мѣстъ. Уже одно то обстоятельство, что они ждутъ со дня на день этихъ вакансій и нынѣ - завтра распростятся со школою, исключаетъ всякую возможность какого бы то ни было успѣха. Схоластическіе же семинарскіе пріемы, докторальный тонъ, ни на что не нужная здѣсь дисциплина, разныя формальности и пр. окончательно отбиваютъ у народа всякую охоту отдавать туда дѣтей на выучку. Поэтому, съ гораздо большимъ успѣхомъ подвизаются на поприщѣ народныхъ наставниковъ разные бывшіе конторщики, прикащики, выгнанные за пьянство, старые дьячки, успѣвшіе уже позабыть пріемы семинарской науки, и особенно *чернички*. Это слово я подчеркиваю и останавливаюсь на немъ, потому что его слѣдуетъ еще объяснить читателю.

Черничка—это въ большей части случаевъ такая же точно крестьянская дѣвушка, какъ и всѣ ея сверстницы въ селѣ, и отличается отъ нихъ только тѣмъ, что умѣетъ читать псалтирь; писать рѣдко-рѣдко какая знаетъ. Ее можно узнать и по костюму. Вмѣсто юбки и рубашки холстинной, бѣлой или красной ситцевой—обыкновенный

нарядъ деревенской дѣвушки — она носитъ платье изъ чернаго ситцу съ маленькими бѣленькими крапинками величиною съ горошенку; ноги обуты въ такіе же точно башмаки смазной кожи, какіе вы увидите по праздникамъ и на всѣхъ. Голову она не повязываетъ, а покрываетъ чернымъ шерстянымъ платкомъ, собирая и закалывая его булавкою подъ бородой. Чернички непремѣнно дѣвушки, почему либо не вышедшія замужъ; это, впрочемъ, нисколько не мѣшаетъ имъ довольно гласно пошаливать и имѣть даже одного, двухъ и болѣе дѣтей, прижитыхъ, по мѣстному выраженію, *съ вѣтру*. Но черничка тѣмъ не менѣе пользуется въ селѣ уваженіемъ, потому что, если кто умретъ, она читаетъ псалтирь, у нея всегда есть въ запасѣ мята, ромашка, сулема, мышьякъ, синька, марена, ладонъ и пр. Заболѣлъ кто — идутъ къ черничкѣ. Пошалила красавица какая неосторожно съ пареньномъ — и она идетъ къ черничкѣ: у нея она получитъ *средствіе* скрыть свою шалость. Черничка же печетъ и просвиры для церкви. Вслѣдствіе этого послѣдняго обстоятельства и того, что она читаетъ псалтирь по умершимъ, она, вмѣстѣ съ причтомъ, обходитъ село на рождество, на пасху, престольный праздникъ и получаетъ свою долю дохода. Кромѣ этихъ поборовъ, село даетъ черничкѣ еще мѣстечко земли, чаще всего на берегу гдѣ нибудь, среди огородовъ, на краю села. На общественный счетъ смастеритъ она себѣ и избенку, сложитъ въ ней печку, выбѣлитъ ее изнутри, и поживаетъ въ ней. Избенка эта, относительно другихъ, положительно чистенькая. Въ углу, въ кіоткѣ, сдѣланной сельскимъ столяромъ почти даромъ, за какую нибудь услугу, образа въ фольговыхъ ризахъ; передъ образами фарфоровая лампадка въ видѣ голубка съ розовыми или синими крылышками; подъ кіоткой столикъ, работы того же мастера, покрытый бѣлой салфеткой; на столикѣ

единственная книга, которую она читаетъ и умѣетъ читать, — псалтирь. У противоположной съ дверью стѣны стоитъ кровать, непремѣнно съ пуховикомъ и подушками въ ситцевыхъ наволочкахъ, изъ чего можете заключить, что жизнь свою тамбовскія чернички не стараются убивать и даже не притворяются это дѣлающими. Водится у чернички и вишневочка, и смородиновка; есть у нея и самоварчикъ, и чаекъ, и сахарокъ. Мнѣ самому десятокъ разъ приходилось чаевать у черничекъ. Устанешь на охотѣ, захочется чаю—гдѣ напиться?—Къ черничкѣ. Сейчасъ и самоварчикъ поставитъ, и сливокъ достанетъ, и кренделей; если у нея вышелъ весь запасъ, изъ кабака принесетъ, и все это за какихъ нибудь пятнадцать-двадцать копѣекъ. Вокругъ избы, или, какъ онѣ сами называютъ, горенки, у чернички всегда садикъ, разумѣется маленькій—двѣ, три березки, сосенка, десятокъ яблонокъ, черемуха, три сливы и великое обиліе черной смородины. Если вы спросите, отчего у нея такъ много именно этой ягоды, черничка непремѣнно отвѣтитъ, и непремѣнно тоненькимъ голоскомъ, слѣдующую стереотипную фразу всѣхъ тамбовскихъ черничекъ вообще: „и я сама черная, да и ей-то отъ Бога показано весь вѣкъ черной быть“...

И живетъ черника смирнехонько, втихомолку обдѣлывая свои дѣлишки. Только въ торжественные дни престольнаго или инаго какого крупнаго праздника, поминокъ у цѣловальника, крестинъ у дьячка и имянинъ мѣщанина, деревенскаго лавочника, черничка оффиціально показывается въ общество и, потупя глаза и вздыхая, повѣствуетъ о видѣніяхъ и явленіяхъ, которыхъ она удостоилась тогда-то, отходя ко сну или пребывая на молитвѣ. Но и это она разсказываетъ больше для формы, для приличія, такъ сказать, потому что и сама она

очень хорошо знаетъ, что вретъ чепуху и никто ей изъ слушателей не вѣритъ, развѣ старуха какая.

Изъ всего этого вы теперь можете составить себѣ понятіе о томъ, что такое тамбовская черничка. Такъ вотъ-съ, эти-то чернички, пожалуй, больше приносятъ пользы дѣлу народной грамотности, чѣмъ учителя, семинаристы и красивенькіе сѣренькіе домики съ зелеными желѣзными крышами и бѣленькими вывѣсками. Черничка беретъ выучить и выучиваетъ читать двѣнадцати и тринадцатилѣтняго мальчика за рубль, много за два рубля серебромъ. Онъ ходитъ къ ней ежедневно съ своей азбучкой и привязанною къ ней на ниточкѣ деревянной указкой, и часа по два сряду нараспѣвъ выкрикиваетъ буки-азъ-ба, вѣди-азъ-ва! Это продолжается иногда цѣлый годъ. Когда мальчикъ кончитъ курсъ у чернички, т.-е. станетъ въ носъ разбирать псалтирь и въ совершенствѣ усвоитъ себѣ привычку глотать цѣлыя фразы, замѣняя ихъ какимъ-то мычаніемъ, долженствующимъ казаться быстро произносимыми словами, и когда найдутъ нужнымъ выучить его еще и писать,—его отдаютъ къ дьячку. Какъ ни старъ заштатный дьячокъ, какъ ни много десятковъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ онъ сошелъ или его согнали съ семинарской скамьи, но онъ все-таки цѣнитъ себя гораздо дороже чернички, потому что глубоко проникнутъ сознаніемъ своего научнаго превосходства надъ нею, а слѣдовательно и цѣна его занятіямъ выше. Заштатный дьячокъ беретъ за выучку никакъ уже не меньше трехъ рублей. Курсъ у дьячка продолжается тоже годъ и совершенства ученикъ достигаетъ въ искусствѣ писанія тоже такого, какого достигъ въ искусствѣ чтенія у чернушки. Но мальчикъ вышелъ все-таки хоть сколько нибудь граматный, разберетъ хоть записку. Если онъ сынъ дворника, онъ запишетъ расходъ овса, кому что въ долгъ дано; если онъ сынъ ста-

росты или сотника, онъ прочтетъ приказъ становаго отцу, а, главное, его-то сынъ будетъ ужь навѣрно граматный. Повторяю, заштатные дьячки и чернички положительно самые первые подвижники народной граматности. Я знаю здѣсь одну черничку, которая впродолженіе своей десятилѣтней педагогической и иной дѣятельности обучила грамотѣ тридцать-восемь дѣтей, въ томъ числѣ трехъ дѣвочекъ — результатъ, которымъ можетъ похвастаться далеко не всякій обитатель сѣренькаго домика съ зеленой крышей. Поэтому, мнѣ кажется, было бы не глупо, если бы земство выдавало деньги по числу выученныхъ дѣтей, дьячкамъ и черничкамъ. Ничего такъ не боится народъ и ничто не вызываетъ въ немъ такого отвращенія, какъ формальность, а сѣренькіе домики и преподованіе въ нихъ именно на эту-то формальность и упираютъ больше всего. Семинаристъ-философъ или семинаристъ-богословъ не шутя воображаетъ себя философомъ и богословомъ и смотритъ на мужика съ неизмѣримо-великой высоты. Мнѣ не разъ случалось видѣть, какъ мужики иногда по цѣлымъ часамъ безъ шапокъ стояли у крыльца сѣренькаго домика, ожидая выхода учителя, чтобы выпросить у него позволеніе сыну мальчику не ходить въ школу три-четыре дня по причинѣ какой нибудь спѣшной работы. Иное совсѣмъ дѣло старый дьячокъ. Философскіе взгляды изъ него давно уже выскочили; къ народу онъ относится безъ презрѣнія, потому что и онъ всѣхъ знаетъ въ селѣ, и его всѣ знаютъ, и живетъ онъ со всѣми одною жизнью, и ходитъ даже въ одинаковомъ со всѣми нагольномъ тулупѣ; методъ же преподаванія и у древняго, и у новенькаго питомца семинаріи одинъ и тотъ же. Кромѣ этого, на сторонѣ дьячка еще то немаловажное условіе, что онъ получаетъ плату со штуки, а не штатное жалованье, какъ учитель. Какъ ни мало можетъ быть неграматный отецъ судьею

въ познаніяхъ своего сына, но все же доберется, кто лучше выучиваетъ читать: старый ли дьячокъ, черничка ли, и, смотря по этому, туда и отдаетъ сына на выучку. Есть, значитъ, общественный контроль, своего рода конкуренція—вещь невозможная относительно школы и ея штатнаго учителя.

При нѣкоторыхъ школахъ, года съ два тому назадъ, основаны сельскія библіотеки. Но и ихъ задушила все та же формалистика и оффиціальность. Основаны онѣ по инціативѣ посредника, въ одномъ уѣздѣ, и по инціативѣ становаго пристава—въ другомъ. Это бы, разумѣется, еще ничего не значило; но скверно то, что дѣлу, которое менѣе всего должно носить на себѣ казенный характеръ, именно его-то и придали. Прежде всего, изъ скуднаго до послѣдней возможности сбора заказали и прибили, въ соотвѣтствіе одной уже имѣющейся бѣленькой вывѣскѣ, еще другую, свидѣтельствующую, что въ такомъ-то селѣ, при школѣ, находится *фундаментальная сельская* библіотека и читальня. Купили „Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія", портреты Карамзина, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцова, Крылова и др., обдѣлали ихъ въ рамки и повѣсили по стѣнамъ; а въ библіотекѣ, между тѣмъ, нѣтъ сочиненія ни одного изъ этихъ авторовъ, кромѣ Крылова. Спрашиваемъ, что это такое? Пошлость ли, неумѣнье ли приняться за дѣло, или просто насмѣшка надъ народомъ? Да еслибы и были въ школѣ, т.-е. въ библіотекѣ, сочиненія Пушкина, Лермонтова и Карамзина, что бы понялъ изъ нихъ еле-еле читающій мальчикъ? Кромѣ портретовъ, на стѣнкахъ висятъ еще объявленія объ условіяхъ чтенія. Не мало курьёзнаго представляютъ собою и эти объявленія. Книгъ въ библіотикѣ, примѣрно, рублей на двадцать, а годовой абонементъ стоитъ пять рублей. Опять полнѣйше незнаніе ни народа, ни его средствъ. Я не

говорю уже о томъ, что выборъ книгъ крайне несостоятельный; точно составитель библіотеки зашелъ съ завязанными глазами въ книжный магазинъ и нахваталъ чего попало. И „Живописное Обозрѣніе", и „Иллюстрація", и „Будильникъ"—чортъ знаетъ что такое. Я знаю, что многіе жертвовали въ библіотеки книги, какія у кого были, и считались почему-либо не нужными, и мнѣ, пожалуй, скажутъ, что оттого-то и образовалась такая пестрая смѣсь. Это такъ. Ну, а для чего выписывались-то политическія газеты и иллюстраціи? Какому мужику онѣ нужны и интересны? Выписывать политическую газету для тамбовскаго мужика, твердо почему-то убѣжденнаго, что папа живетъ на водѣ, а міръ стоитъ на трехъ китахъ—развѣ не глупость? А эти абонементные пять рублей. Это какъ вамъ нравится? Тамбовскій мужикъ станетъ платить за чтеніе совершенно непонятныхъ и нисколько не интересныхъ для него, да вообще и какихъ бы то ни было книгъ,—пять рублей! Да этой притчѣ даже и названья прибрать нельзя. Мужикъ заплатитъ за чтеніе пять рублей! тотъ самый мужикъ, который полгода почти ходитъ къ дьячку торговаться въ какомъ нибудь рублѣ или полтинникѣ, изъ-за котораго у него чуть не расходится дѣло о выучкѣ сына граматѣ; тотъ мужикъ, который не знаетъ, какъ годъ дотянуть не голодая, который живетъ въ сейчасъ мною описанной деревянной норѣ, не имѣя возможности построить отдѣльное теплое помѣщеніе для ягнятъ, телятъ и, вслѣдствіе этого, шесть мѣсяцевъ въ году живущій съ ними въ одной и той же клѣткѣ... Хотѣлось бы вѣрить, что все это затѣяно съ чистой любовью къ народу, а не изъ простого подлаживанья подъ современный тонъ, ради одного бахвальства, но что-то плохо вѣрится... А между тѣмъ на эти пресловутыя библіотеки, — мнѣ не разъ доводилось слышать это, — представители туземной

интеллигенціи возлагаютъ чуть ли не всѣ надежды по вопросу о преуспѣяніи народной грамотности. Объ нихъ шумятъ, толкуютъ, спорятъ, иные хвастаются, какъ дѣйствительно практическимъ шагомъ впередъ.

Эта практичнось при устройствѣ народныхъ школъ и читаленъ всякій разъ напоминаетъ мнѣ жаркій споръ съ однимъ моимъ московскимъ пріятелемъ, членомъ общества распространенія въ народѣ полезныхъ книгъ, картинъ или свѣдѣній—не помню хорошо. Въ одно изъ свиданій моихъ съ нимъ, онъ хлопоталъ объ изданіи лубочныхъ картинокъ въ сколько-нибудь улучшенномъ и правильномъ противъ обыкновеннаго видѣ, а особенно старался о текстѣ подъ картинками. На мое замѣчаніе, что онъ занятъ дѣломъ совершенно безплоднымъ, онъ такъ и ахнулъ; онъ не зналъ и никакъ не хотѣлъ повѣрить, что народъ раскупаетъ у коробочниковъ эти картинки, совершенно не справляясь съ текстомъ и не будучи даже въ состояніи знать текстъ по той причинѣ, что какъ же народъ станетъ читать этотъ текстъ, когда онъ не умѣетъ читать? Мой пріятель, кажется, самый практическій и самый энергическій членъ общества, что же остальные? Кстати объ этихъ картинкахъ. Въ рѣдкой избѣ ихъ нѣтъ; даже у Кочетовскаго Фролки я видѣлъ такую картинку. Онѣ разносятся здѣсь владимірскими коробочниками и продаются по одной и по двѣ копѣйки за штуку. Литографій народъ не покупаетъ: во всѣхъ избахъ вы стрѣчаете картинки только раскрашенныя. Литографіи же покупаются уже у деревенской аристократіей: прикащиками, дьячками, священниками и пр. Больше всего распространены въ народѣ картинки, изображающія скачущихъ: Багратіона, Паскевича и пр., а потомъ духовныя. Иллюстрированныя же басни и сказки, т.-е. тѣ именно картинки, которыхъ смыслъ понятенъ послѣ прочтенія текста, рѣдко-рѣдко попадаются.

Надо здѣсь, впрочемъ, сдѣлать исключеніе для извѣстной картинки—„мыши кота хоронятъ“; эта встрѣчается одинаково часто, какъ и скачущіе генералы и адскія мученія грѣшниковъ.

Вотъ и всѣ двигатели тамбовской народной граматности. Выше, передавая сцены въ засѣданіи козловскаго земства, которыхъ я былъ свидѣтелемъ, я упомянулъ о рѣшеніи этого земства поддерживать старыя и заводить новыя школы при всѣхъ церквахъ уѣзда, а также и о томъ, чтобы гласные и посредники возможно чаще ревизовали эти школы. Само собою разумѣется, что это только одни слова, положимъ и очень хорошія, но всетаки слова, которымъ никогда не превратиться въ дѣло. Я уже сказалъ, что было бы полезнѣе заведенія этихъ школъ. Впрочемъ, улучшатся или нѣтъ козловскія оффиціальныя народныя школы, это все равно, — народъ и безъ нихъ выучится граматѣ, потому что понялъ пользу граматности и хочетъ учиться. Учатся не только 13—14 лѣтніе мальчики, но даже и 30 лѣтніе, женатые. Я знаю много этихъ примѣровъ.

Да наконецъ, успѣхъ школъ, кромѣ всего того, на что я уже указалъ, не пойдетъ далеко и потому, что дѣйствительно хорошее содержаніе ихъ и пріобрѣтеніе хорошаго учителя положительно не по средствамъ для тамбовскаго мужика. Онъ и такъ-то, какъ я уже говорилъ, еле-еле дышетъ. И потомъ еще слѣдующее обстоятельство. Тамбовскія деревни вообще очень не велики, особенно тѣ, въ которыхъ живутъ временно-обязанные. Обыкновенно сорокъ, пятьдесятъ дворовъ. Разстоянія между селами громадны: есть проселки въ десять и болѣе верстъ. Одно такое село содержать школу, конечно, не можетъ, причислить же къ нему еще нѣсколько сосѣднихъ, конечно, можно, особенно на бумагѣ, но это разумѣется, такъ и останется одною пустою фор-

мальностью. Лѣтомъ въ деревнѣ всѣ заняты работою, и старые и малые, слѣдовательно дѣтямъ нѣтъ времени посѣщать школы, да лѣто же и считается каникулами, а зимой, гдѣ же ребёнку совершать за нѣсколько верстъ путешествіе въ школу. Тамбовская зима не неаполитанская: изъ десяти дней навѣрно впродолженіе восьми несетъ страшная непогода. Надо знать, что такое степная мятель и вообще, что такое степная зима, чтобы понять, что проектъ о приурочении нѣсколькихъ селъ, для школы, къ одному есть совершеннѣйшая нелѣпость. Лѣтомъ некогда, зимой невозможно...

Говоря о тамбовской деревенской граматности и пьянствѣ, я до сихъ поръ ничего не сказалъ объ отношеніи къ этимъ вопросамъ очень значительной части тамбовскаго деревенскаго населенія—*молокановъ*.

О молоканахъ, т.-е., объ исторіи ихъ секты, въ литературѣ еще можно найти кое-что. Но объ ихъ современномъ домашнемъ бытѣ, объ ихъ современной пропагандѣ, словомъ, о живыхъ молоканахъ нѣтъ почти ничего. Поэтому, мнѣ хочется здѣсь кстати поразсказать объ нихъ что знаю. Молоканы составляютъ, какъ я сказалъ сейчасъ, очень значительную часть населенія тамбовскихъ деревень. Во всякомъ случаѣ, не подлежитъ никому сомнѣнію, что ихъ въ дѣйствительности далеко больше, чѣмъ сколько показываютъ оффиціальныя свѣдѣнія. Ниже читатель увидитъ, почему я это утверждаю. Есть даже цѣлыя села молокановъ. Чаще же молоканы перемѣшаны съ православными, и это не только не стѣсняетъ ихъ, но напротивъ, положительно по вкусу: представляется возможность для пропаганды домашней, семейной, нетребующей ни особыхъ поѣздокъ въ православныя деревни, ни того риска, который болѣе или менѣе сопряженъ съ такой экспедиціей и проповѣдью. Цѣльныя же молоканскія деревни образовались (разумѣется, не всѣ)

путемъ постепеннаго обращенія православныхъ. Когда вы входите въ деревню, въ которой вамъ сказывали, что естъ молоканы, и, если вы хотите зайти именно къ нимъ, идите прямо въ самые лучшіе и самые большіе зажиточные дома—они навѣрно молоканскіе. Нисколько не рискуя впасть въ преувеличеніе, я могу утверждать, что молоканы втрое и даже вчетверо богаче живутъ противъ православныхъ. Прежде всего, при входѣ въ избу къ молокану, васъ удивитъ, говоря относительно, необыкновенная чистота и опрятность. Присмотрѣвшись, вы замѣчаете отсутствіе образовъ и лубочныхъ картинокъ. Вмѣсто нихъ, развѣшаны по стѣнамъ печатныя изрѣченія и стихи противъ пьянства, табаку, пѣсень, плясокъ и пр. Въ каждой избѣ, на палочкѣ, направо или налѣво отъ двери, надъ тѣмъ гвоздемъ, на которомъ обыкновенно виситъ полотенце, вы отыщите евангеліе, псалтирь, двѣ-три азбуки, чернильницу, бумагу, нѣсколько замусоленныхъ перьевъ, линейку, карандашъ, перочинный ножикъ и проч. Въ каждой же молоканской избѣ вы найдете самоваръ, нѣсколько чашекъ и жестяную коробочку (чаще всего отъ сардинокъ) съ сахаромъ; чай хранится въ сундукѣ, гдѣ и деньги. На всемъ вы найдете отпечатокъ несомнѣннаго довольства и сравнительно бо̀льшаго комфорта (одна чистота уже чего стоитъ!). Васъ встрѣтитъ точно такое же радушіе, какъ вообще у всякаго мужика; не предложатъ только сбѣгать въ кабакъ за водкой, да и не пойдетъ никто, если даже попросите. Но чайкомъ васъ угостятъ охотно, особенно если вы скажете, что съ вами есть свой чай и сахаръ. Молоканы не курятъ и не нюхаютъ, но табакъ не вызываетъ той ненависти, какъ водка. Входя въ избу къ молокану и располагаясь у него пить чай или закусывать, я, разумѣется, всякій разъ спрашиваю:—можно ли курить?

— Кури, отчего же—это ничего, это не водка.

— А сами вы отчего же не курите?

— А вотъ прочти. И молоканъ указываетъ на вывѣшенный на стѣнѣ листокъ съ проповѣдью противъ нюханья или куренья табачнаго.

Меню деревенскаго мужицкаго обѣда, какъ извѣстно, не очень разнообразно: хлѣбъ, молоко, щи съ тараканами, каша, яица и—верхъ блаженства—баранину, если подадутъ, то непремѣнно вареную, холодную и страшно жирную—почти одно сало. Изо всего этого я обыкновенно выбираю молоко, яица и ветчину. Но молоканы не ѣдятъ ветчины; поэтому, когда я ѣмъ яица и молоко, то свободно могу располагать ихъ обѣденнымъ столомъ, но какъ только вытаскиваю изъ мѣшка кусокъ ветчины, сейчасъ кто-нибудь изъ семьи торопливо проситъ не класть ея на столъ, пока не подложатъ бумажки. Но и ветчина, подобно табаку, не вызываетъ такого ожесточеннаго преслѣдованія, какъ водка. Ветчину не ѣдятъ единственно потому, что по свидѣтельству евангелія, Спаситель, изгнавъ бѣсовъ изъ одного больного, обратилъ ихъ въ свиней. Но водка—дѣло иное. Передъ молоканами во очію совершается матеріальное и нравственное паденіе отъ вина, причемъ гибнетъ именно то, къ чему они стремятся. Каждый молоканъ непремѣнно старается разбогатѣть, но при этомъ, кромѣ тѣхъ общихъ побужденій, которыя заставляютъ и другихъ стремиться къ этой же цѣли, у молокана передъ глазами есть еще другая цѣль, для многихъ изъ нихъ еще болѣе цѣнная — усиливаніе пропаганды. Ничто такъ не помогаетъ успѣху ихъ проповѣди, какъ подкрѣпленіе ея указаніемъ на видимое ихъ довольство и на готовность помочь своей протекціей и деньгами всякому, кто перейдетъ на ихъ сторону. А вино все это разрушаетъ—какъ же не относиться имъ къ нему съ такой злобой?

Тамбовскій православный мужикъ конечно не знаетъ,

чѣмъ отличается православіе отъ католицизма и лютеранства (онъ даже и названій этихъ не знаетъ), и въ чемъ заключается самое православіе. Да иначе при повальномъ безграматствѣ и быть не можетъ. Мужикъ иной знаетъ наизусть цѣлую обѣдню, но не объяснитъ ни одного члена символа вѣры. Совсѣмъ иное дѣло молоканъ. Онъ отлично знаетъ евангеліе, и при спорѣ зарѣжетъ васъ цитатами. Поэтому даже рѣдкій деревенскій священникъ рискуетъ съ ними пуститься въ споръ. Я былъ не разъ свидѣтелемъ ужаснѣйшихъ пораженій, имѣвшихъ послѣдствіемъ несомнѣнный переходъ очень многихъ изъ слушателей мужиковъ въ молоканство. Молоканъ, вооруженный такимъ отчетливымъ знаніемъ евангелія, всегда охотно выходитъ на споръ, и, какъ человѣкъ, горячо преданный своему дѣлу, говоритъ, разумѣется, твердо, бойко, перемѣшивая рѣчь цитатами, и при этомъ никогда не упуститъ удобнаго случая указать на несомнѣнный фактъ—свое молоканское матеріальное довольство, объясняя его видимымъ благоволеніемъ Бога за пребываніе въ чистой вѣрѣ. Вѣрятъ ли этому аргументу сами молокане, или нѣтъ — я не могу утверждать, но что эти ссылки и указанія на богатство дѣйствуютъ—это не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію.

Приходитъ пора платить подати; денегъ нѣтъ; не внесетъ мужикъ подать, его отдерутъ въ волостномъ, а затѣмъ у него продадутъ корову, овецъ, свиней—словомъ, срѣжутъ что называется на нѣтъ. Передъ нимъ искушеніе обратиться къ молоканамъ. Онъ знаетъ, что они въ Бога вѣруютъ, и вся разница ихъ вѣры отъ его, доступная его понятіямъ, заключается только въ томъ, что они водки не пьютъ, образовъ не держатъ въ домѣ, табаку не курятъ и свинины не ѣдятъ. Изъ всего этого его останавливаетъ только одно отсутствіе образовъ. Если удается поколебать его въ этомъ,—дѣло въ шляпѣ. По-

дати внесены, вина мужикъ больше не пьетъ, трубку забросилъ, и все пошло на ладъ: одинъ молоканъ продалъ ему за полцѣны корову, другой овцу,—этотъ порекомендовалъ его тому, другому, и черезъ какой-нибудь годъ или два изъ оборваннаго, забитаго мужика становится, относительно, очень даже зажиточный...

Кромѣ самой строгой трезвости, молокане обязаны своимъ довольствомъ еще и тому, что между ними царствуетъ полнѣйшее согласіе и всегдашняя готовность выручить другъ друга. Мнѣ говорили, что не было еще примѣра, чтобы разорился молоканскій дворъ: до этого положительно не допустятъ. Случилась съ однимъ бѣда— всѣ готовы на помощь, всѣ подѣлятся, кто чѣмъ достаточнѣе. Въ молоканскомъ селѣ, или вообще въ молоканскомъ обществѣ, вы ни за что не увидите такой, напримѣръ, картины. Осенью, если есть общественный лѣсъ въ какомъ селѣ, его дѣлятъ, то-есть, разумѣется, часть его, на участки, по числу душъ или дворовъ, на срубъ. То же самое бываетъ и съ хворостомъ. Но еще задолго до этого оффиціальнаго дѣлежа начинается ночами воровство этого лѣса и хвороста. Воруютъ всѣ, и не считаютъ предосудительнымъ это, между прочимъ, и потому, что это наше же, дескать. При лѣсѣ, разумѣется, есть объѣздчикъ, который выбранъ или нанятъ изъ своего же села и который, зная обычай, всегда готовъ скрыть грѣхъ за полштофъ. Всѣ это очень хорошо знаютъ; но попался какъ-нибудь случайно, все село поднимается на него. Собирается сходъ, рѣшаетъ отдать его въ руки посреднику, или становому, или старшинѣ; мужикъ стонетъ. Наконецъ, одинъ какой-нибудь въ сторонѣ замѣчаетъ, что ужъ Богъ съ нимъ, пусть *выставитъ ведро*, да другой разъ чтобы этого не было. Сейчасъ же одинъ по одному, всѣ соглашаются, выставляется ведро водки или два ведра, и цѣлый день идетъ пьянство. Пьетъ и воръ, и его судьи—

теперь самые закадычные его пріятели, и всѣ довольны... Всякій, конечно, согласится, что отсутствіе подобныхъ сценъ въ молоканскихъ обществахъ, кромѣ чести, имъ ничего не приноситъ.

Дѣлились молокане въ очень еще недавнія времена своимъ достаткомъ и съ мѣстной полиціей. Пріѣдетъ въ село исправникъ или становой, соберетъ ихъ, и начнетъ читать бумагу, что всѣхъ ихъ велѣно забрать съ женами и дѣтьми и представить въ Тамбовъ. Иногда и знали молокане, что это вздоръ, да нечего дѣлать, чтобы отвязаться, соберутъ рублей по пяти съ двора и поднесутъ. Въ иныхъ мѣстахъ этотъ сборъ совершался даже правильно. Молокане, не дожидаясь объѣзда, сами собирали контрибуціи и возили, куда слѣдутъ.

И все это случалось очень еще недавно; но еслибы вы послушали, что было лѣтъ сорокъ или пятьдесятъ тому назадъ! Особенно много разсказовъ той поры сохранилось объ исправникѣ С-вѣ. По своему, это былъ замѣчательно изобрѣтательный человѣкъ. Онъ съумѣлъ даже молокановъ раззорить. Взносы ихъ ему разъ десять превышали подушные сборы, такъ что въ платежѣ этой контрибуціи участвовали даже многіе молокане другихъ уѣздовъ...

Отъ безграматности, голода и грязи мнѣ предстоитъ теперъ прямой переходъ къ той страшной безпомощности, съ которою тамбовскій мужикъ идетъ на встрѣчу холерѣ, оспѣ, сифилису. Пожалуйста, не придавайте никакого значенія всѣмъ этимъ комитетамъ, коммисіямъ о народномъ здравіи и т. п. Все это существуетъ положительно только на бумагѣ, и ни на вершокъ не проникаетъ въ жизнь тамбовской деревни. Такимъ же безрезультатнымъ характеромъ отличаются и принятыя, по этой

части, мѣры здѣшнихъ земскихъ собраній: все та же канцелярская дѣятельность и тотъ же прогрессъ на страницахъ оффиціальныхъ бумагъ и протоколовъ. О томъ, какъ свободно гуляетъ здѣсь оспа и сифилисъ, можно составить себѣ понятіе по слѣдующему, напримѣръ, факту. Въ прошломъ году, весною, мнѣ довелось быть, какъ-то подъ вечеръ, въ той же несчастной Кочетовкѣ. У церкви передъ папертью стоялъ мужикъ и дергалъ колоколъ за веревку. Изъ деревни неслись какіе-то безсвязные, дребезжащіе звуки. Изъ той, изъ другой избы выходили бабы, повязанныя бѣленькими платочками, и, окруженныя ребятишками, направлялись къ церкви. Въ рукахъ, подъ шушпанами, что-то виднѣлось. Когда всѣ собрались къ паперти, изъ воротъ своего дома вышелъ священникъ, и, побрякивая церковными ключами, началъ переходить грязную, всю въ лужахъ, большую дорогу, отселяющую домъ отъ церкви. Направился и я туда же.

— Всѣ собрались? спросилъ онъ, отпирая церковную дверь.

— Кажись, всѣ, батюшка. Вонъ у Митьки Пузанка дѣвчонка тоже совсѣмъ ужь издыхаетъ, — теперь, гляди, не отошла ли ужь, проговорила одна изъ бабъ.

— Ну, это ужь до завтра.

— Вѣстимо до завтра. Теперь когда ужь!

На каменныхъ ступенькахъ паперти стояло пять гробиковъ. Ихъ окружило пять матерей и десятка три или четыре ребятишекъ.

— Оспенннчки, отвѣтила мнѣ баба, когда я удивился, что вдругъ столько дѣтей померло:—оспа валитъ страхъ, такъ изъ двора во дворъ и гонитъ.

— Такъ вы бы дѣтей къ сосѣдямъ на это время отсылали, у которыхъ еще нѣтъ заразы, а то что же это вы дѣлаете—сюда-то ихъ привели.

— Да окуривать будемъ.

— Что такое?

— Окуривать будемъ. Вотъ какъ будетъ попъ панихидку по нимъ служить, да какъ начнетъ ладономъ кругомъ курить, такъ въ этотъ самый духъ ребятишекъ-то и поставятъ. Помогаетъ.

— Можетъ быть. Ну, а почему же вы не прививаете оспу? Вѣдь есть оспенники?

— Есть-то—есть, да кто ее знаетъ, отчего. Оно все равно, что привита, что нѣтъ.

Оно и дѣйствительно все равно. Оспопрививатель свой районъ объѣзжаетъ года въ три или четыре одинъ разъ, да и прививаетъ-то такъ, что все равно, что она привита, что нѣтъ. Я тутъ же пересмотрѣлъ ручонки у всѣхъ ребятишекъ. Матери ихъ сказывали, у кого привита, у кого нѣтъ; на дѣлѣ же оказалась привитою только у двухъ.

Собравши такую обильную жатву въ Кочетовкѣ, оспа перешла отсюда, кажется, въ Алексѣевку, гдѣ, разумѣется, повторялось то же самое.

Еслибы земство, вмѣсто составленія протоколовъ о содержаніи разныхъ санитарныхъ комитетовъ, просто бы наняло доктора объѣхать уѣздъ и обревизовать оспу на дѣтяхъ, дѣло было бы, кажется, ладнѣе. По крайней-мѣрѣ, сотни двѣ уцѣлѣло бы дѣтей въ уѣздѣ вслѣдствіе своевременной прививки

Но все это, разумѣется, ничто въ сравненіи съ сифилисомъ. Оспа губитъ только одно поколѣніе; обратятъ вниманіе на нее, станутъ смотрѣть за правильнымъ прививаніемъ ея, и всѣ счеты съ нею покончены; но сифилисъ—дѣло другого рода. Тутъ, кромѣ непосредственно заразившихся людей, гибутъ въ будущемъ цѣлыя генераціи. И сифилисъ здѣсь страшно распространенъ; есть цѣлыя деревни зараженныя, и никому нѣтъ до этого дѣла. Изъ того, что я разсказалъ о домашней обстановкѣ там-

бовскаго мужика, читатель можетъ понять, какую богатую почву пріобрѣлъ здѣсь для себя сифилисъ. Грязь, бѣднота, тѣснота—чего же еще!

Какія же мѣры принимаются противъ заразы? Положительно никакихъ, то-есть, если хотите, пожалуй, и принимаются, но онѣ ограничиваются пріемами ртути, по рецепту мѣстной чернички. Наружная болѣзнь дѣйствительно быстро перестаетъ развиваться, и уходитъ, по мѣстному выраженію, *внутро*. Ужаснѣе всего въ этомъ случаѣ несчастныя дѣти: зеленыя, съ какими-то старческими личиками, съ головой, почти сплошь покрытой, какъ шапкой, тоненькимъ струпомъ, къ которому прилипли и присохли волосенки. Ихъ тоже лечатъ и, разумѣется, тѣмъ же. Чернички и бабки дѣлаютъ какую-то желтую мазь, въ составъ которой главнѣйше входитъ опять-таки ртуть и сѣра. Какъ-то я привозилъ въ Петербургъ одному доктору, моему университетскому товарищу, баночку такой мази. Разложивши ее, онъ никакъ не могъ понять, зачѣмъ примѣшивается туда еще шафранъ, который, по его увѣренію, несомнѣнно входитъ въ ея составъ. Потомъ, исполняя его же желаніе, я досталъ въ разныхъ уѣздахъ и въ разныхъ деревняхъ понемножку образчиковъ той же мази — всего я набралъ баночекъ тридцать. Но всѣ мои старанія узнать, что примѣшивается въ мазь еще кромѣ ртути, сѣры и шафрану, такъ и остались совершенно напрасными. Разъ какъ-то зимою я ходилъ стрѣлять зайцевъ, прозябъ и зашелъ къ знакомой черничкѣ напиться чаю.

— А! Зайчикъ! обрадовалась она.

— Да, застрѣлилъ, говорю.

Черничка стала его разсматривать.

— А что, я хочу васъ спросить: можно вамъ будетъ мнѣ заднія лапки и ушки его отрѣзать?

— Это зачѣмъ?

— Такъ нужно.

Я поставилъ непремѣннымъ условіемъ своего согласія на ампутацію заячьихъ ушей — объясненіе ея цѣли. Поломавшись, черничка призналась, что они нужны ей для мази!

— Для какой?

— Отъ французской...

— Ну, думалъ, обрадую я моего доктора, скажу ему о заячьихъ ушахъ, и купилъ у нея баночку мази, въ которой, по ея увѣренію, былъ и порошекъ изъ толченыхъ заячьихъ лапокъ. Но она соврала; въ баночкѣ этой мази, когда онъ ее изслѣдовалъ самымъ тщательнымъ образомъ, не оказалось и слѣда составныхъ частей костей или мяса. Послѣ всего того, что я дѣлалъ для открытія этого секрета, я рѣшительно отказываюсь понять, какъ они умѣютъ такъ строго сохранять его.

Для того, чтобы заразилась вся деревня, достаточно, если сифилисъ попадетъ хотя въ чей-нибудь одинъ дворъ; черезъ пять, шесть лѣтъ не останется положительно ни одного здороваго семейства. Кто сколько-нибудь знакомъ съ мужицкимъ бытомъ, тотъ очень хорошо знаетъ, въ какихъ постоянныхъ, частыхъ, ежедневныхъ почти сношеніяхъ находится каждая семья со всѣми остальными. Не достало хлѣба, не успѣли испечь, или не готовъ еще — сейчасъ къ сосѣду, а у сосѣда этотъ хлѣбъ пекла уже зараженная баба или дѣвка — ну, и кончено. Я ужь не говорю о такъ-называемыхъ непосредственныхъ зараженіяхъ. При помощи этого рода пропаганды сифилисъ расширяетъ свои владѣнія, разумѣется, еще быстрѣе. Надо замѣтить, что человѣкъ, небывавшій въ степныхъ губерніяхъ, рѣшительно откажется даже на половину повѣрить разсказамъ о туземной легкости нравовъ. Ни одинъ ловеласъ, если онъ только не уродъ какой-нибудь, никогда не встрѣчаетъ совершенно никакого отказа или сопротивленія; о раз-

ныхъ же прикащикахъ, конторщикахъ, письмоводителяхъ, становыхъ и вообще носящихъ нѣмецкое платье, безразлично представляющихся тамбовской крестьянкѣ *господами*, я и говорить не стану: вская любовная связь съ ними, кромѣ чести и славы, ничего не приноситъ. Поэтому и рѣдкая - рѣдкая пятнадцати или шестнадцатилѣтняя крестьянская дѣвушка уже не опытная героиня посидѣлокъ и ночныхъ похожденій у моста, въ конопляхъ, на огородѣ и т. п. мѣстахъ свиданій. Шкаликъ или, много, косушка водки, фунтъ кренделей, нѣсколько жамковъ, расписанныхъ сусальнымъ золотомъ, обыкновенно продающихся на базарѣ по восьми, десяти коп. сер. за фунтъ, совершенно достаточный гонораръ за недѣлю самыхъ интимныхъ и продолжительныхъ свиданій... И это нисколько не компрометируетъ дѣвушку ни въ ея собственныхъ, ни въ чьихъ-либо другихъ глазахъ. При выборѣ невѣсты сыну, отецъ смотритъ почти исключительно со стороны только одной ея экономической полезности, т.-е. сильна ли она и ловка ли въ работѣ. Фактъ совершенно понятный. Тому, у кого ѣсть нечего, чья жизнь зависитъ отъ страшно тяжелаго физическаго труда, тому, понятно, ужъ не до ревности — лишь бы съ голоду не умереть. Не бракуетъ невѣсту за ея прошлое и женихъ, потому что онъ очень хорошо знаетъ, что эти отношенія — общее правило и потомъ, что приложеніе этого же самаго правила предстоитъ увидать ему еще и впереди, послѣ ея замужества, съ тою только разницею, что тогда, въ качествѣ мужа, онъ надаетъ ей тумаковъ, чѣмъ, впрочемъ, онъ угощалъ еще до женитьбы и своихъ полюбовницъ. Бóльшей разницы не будетъ. Скромность, относительная, разумѣется, замужнихъ можетъ быть совершенно объяснена недосугомъ, большимъ количествомъ работы, изнуряющей женщину къ концу дня настолько, что ужь ей не до амурныхъ похожденій у моста или въ конопляхъ. По-

этому, замужество для тамбовской крестьянской дѣвушки, съ ея точки зрѣнія, вовсе не находка.

„Гуляй, гуляй, Маша,
Пока воля наша:
Замужъ отдадутъ
Такой воли не дадутъ“,—

услышите вы, проходя лѣтомъ, подъ вечеръ, по улицѣ. И это совершенно вѣрно, это такъ и есть на дѣлѣ. Пока Маша въ дѣвкахъ еще, ее бережетъ, жалѣетъ мать, не трудитъ работою, а поэтому и гульба у нея еще вѣртится на умѣ; а ужь какъ отдали замужъ, свекровь не пожалѣетъ—все кончено.

Прежде, наборы были рѣдки, служба солдатская долгая, помѣщики—я не говорю объ исключеніяхъ—отдавали преимущественно холостыхъ; солдатокъ поэтому было мало. Теперь же ихъ, по выраженію одного знакомаго мнѣ здѣшняго мужика, „до гибели“. А такъ-какъ извѣстная вещь, что природа, выгнанная въ дверь, влетаетъ въ окошко, то и вы можете, принимая во вниманіе все вышеписанное, составить себѣ довольно вѣрное понятіе о положеніи безродныхъ солдатокъ... Я никогда не забуду, напримѣръ, слѣдующаго случая.

Когда я бываю въ деревнѣ, то, во-первыхъ, въ качествѣ единственнаго почти граматника въ цѣломъ округѣ и потомъ вслѣдствіе того, что я никогда не отказываюсь писать письма и разныя прошенія и ничего за это не беру (дьячокъ беретъ за письмо курицу), рѣдкую недѣлю мнѣ не приходится писать какого-нибудь солдатскаго письма.

Вотъ приходитъ ко мнѣ разъ знакомый мужикъ, Михайло, по прозванію Копинка, и проситъ написать письмо къ сыну—сынъ солдатъ. Полагаю, моимъ читателямъ извѣстно, что такое солдатское письмо, и потому я не буду здѣсь объ этомъ распространяться; но онъ, вѣроятно, не

знаетъ, какъ оно пишется; къ тому, кто пишетъ, приходитъ почти вся родня и приходятъ за тѣмъ только, чтобы сказать: и отъ меня, дяди его, Василія Ѳедорова, нижайшее ему почтеніе. Такъ и на этотъ разъ, пришло почти цѣлое семейство писать письмо. Надо замѣтить, что я наторѣлъ по этой части до удивительной виртуозности; знаю всѣ любимыя выраженія, и письма, мною писанныя, считаются во всемъ околоткѣ самыми лучшими, потому что я никогда не умничаю, а просто пишу подъ диктовку, и раскрашиваю время отъ времени письмо разными выраженіями, въ родѣ, напримѣръ, классическаго „по гробъ твоей жизни". Написалъ я даже и прелюдію, послалъ и родительское благословеніе и надо, значитъ, теперь писать уже отъ жены.

— Ну, пиши, заговорила баба:—супруга твоя, Авдотья Семеновна, цалуетъ тебя несчетное число разъ въ сахарныя твои уста.

— А объ сынѣ-то что жь, забыла? подсказалъ ей свекоръ.

— Объ сынѣ послѣ.

— Ну, что жь, объ сынѣ-то? спросилъ я, отправивъ поцѣлуй въ сахарныя солдатскія уста.

— Еще пиши: родился у меня въ нынѣшнемъ году сыночекъ...

Я остановился.—Зачѣмъ же ему объ этомъ-то писать?

— А что жь? спросила наивно баба.

— Какъ что?—Сама знаешь—развѣ онъ тебѣ скажетъ спасибо.

— А онъ-то, что жь, думаешь, безъ нея смиренничаетъ тамъ, что ли? вступился свекоръ.—Ничего, Дунька, я это дѣло самъ понимаю. Такихъ рожай! малый славный — весь въ отца, въ Гришку выкинулся: такой же курчавый.

— Ну, что-жь, писать? переспросилъ я у матери.

— Да вѣдь я жь сказывала—пиши. Чтожь теперь съ нимъ подѣлаешь. Не тушить же его?

— Такъ я и написалъ...

Свидѣтельствую также и тотъ фактъ, что солдатъ, придя въ отпускъ и увидя такое приращенiе своей семьи, нисколько не бываетъ въ претензiи, потому что очень хорошо знаетъ, что и у него у самаго рыльце въ пушку, да и женины проказы вовсе не одиночное явленiе. Ну, и стало быть, претендовать не на кого и не изъ чего...

И такой прибылой сынъ, владѣлецъ двухъ отцовъ, оказываетъ — беру оффицiальное выраженiе,—своему законному родителю всю слѣдуемую по обычаю почтительность и покорность, активный же виновникъ его рожденiя не предъявляетъ на него никакихъ правъ. Развѣ иногда, пьяненькiй, смѣха ради, гдѣ нибудь въ кабакѣ, если малый вышелъ хорошiй, похвастается своимъ авторствомъ. Но и только...

Изъ нижеслѣдующаго разсказа читатель увидитъ, какiя вещи возможны здѣсь еще и по настоящее время. Восьмого iюля бываетъ ежегодно деревенская ярмарка въ селѣ Избердей, Липецкаго уѣзда. Само-собою разумѣется, что эта ярмарка не больше, не меньше какъ обыкновенный базаръ, только нѣсколько въ большемъ размѣрѣ. Прiѣзжаетъ десятка три мѣщанъ, торговцевъ краснымъ товаромъ, т.-е. ситцемъ, коленкоромъ, плохими шелковыми матерiями самыхъ отчаянныхъ цвѣтовъ и рисунковъ; прiѣзжаетъ нѣсколько семействъ цыганъ, торгуютъ лошадьми, воруютъ, а жены и дочери поютъ, пляшутъ и распутничаютъ съ управляющими, писарями, конторщиками, прикащиками, разными письмоводителями посредниковъ, становыхъ, слѣдователей и пр. и пр. Прiѣзжаетъ трактирщикъ, снимаетъ подъ заведенiе избу попросторнѣе, вывѣшиваетъ вывѣсочку съ изображенiемъ самовара и нѣсколько чашекъ—и вотъ вамъ Избердеевская ярмарка.

За исключеніемъ упомянутыхъ аристократовъ, къ которымъ слѣдуетъ прибавить еще пять-шесть мелкопомѣстныхъ помѣщиковъ, да десятокъ духовныхъ—весь остальной наличный составъ покупателей—мужики и особенно бабы и дѣвки. Для читателя, небывавшаго въ деревняхъ, надо сказать, что ярмарка своего рода праздникъ для всѣхъ окрестныхъ селъ, и поэтому бабы и дѣвки на ярмарку ѣдутъ всегда не иначе, какъ одѣвшись во все, что только есть у нихъ лучшаго. Посѣтительницы Избердеевской ярмарки наряжаются съ особеннымъ тщаніемъ еще и по той причинѣ, что знаютъ, что тамъ ихъ ждутъ упомянутые выше аристократы, съ которыми уже сведено знакомство, разумѣется, прежде, но съ которыми на этотъ разъ предстоитъ гульба не въ примѣръ пріятнѣйшая, т.-е. угощеніе орѣхами, жамками, кренделями, сусликами, а то, гляди, пожалуй, какой еще и платочекъ подаритъ, не то и вовсе кисейную рубашку купитъ.

Отправился, отъ нечего дѣлать, — благо близко—на эту ярмарку и я, въ одну лошадь, на бѣговыхъ дрожкахъ. Потолкаюсь, думалъ, въ народѣ и съѣзжу ночевать тутъ недалеко къ одному знакомому купцу на мельницу. Дѣло было часовъ въ пять послѣ обѣда. Только я въѣхалъ на базарную площадь, слышу кто-то окликнулъ меня. Оборачиваюсь. Ба! знакомое созданіе — здоровенный юноша 25 лѣтъ, сынъ помѣщицы, прослужившій около года въ канцеляріи предводителя, вышедшій въ отставку и теперь, въ качествѣ одной изъ мелкихъ туземныхъ властей, совершенно безъ всякаго дѣла наслаждающійся природою и тремя бывшими горничными его матери.

— Куда это вы?

— Да вотъ, говорю, хочу ярмарку посмотрѣть.

— Пора, пора... вѣдь завтра все кончится, послѣдній день. Но ужъ за то, чѣмъ я васъ, батюшка, угощу. Тс! и онъ поцаловалъ кончики пальцевъ.

— Чѣмъ же это?

— Нѣтъ, не скажу, поѣдемте ко мнѣ.

— Некогда, говорю, куда еще ѣхать!

— Ну вотъ, что за глупости! Я снялъ цѣлую ригу, навалилъ сѣна, постлалъ коврами, простынями—магометовъ рай! Вы что думаете? вѣдь я развѣ одинъ? У меня тамъ тридцать-шесть дѣвокъ вотъ ужъ вторыя сутки заперты. Ей-Богу!..

Подумалъ, подумалъ и согласился. Штука, должно быть, любопытная. У. вскочилъ ко мнѣ на дрожки, что-то крикнулъ стоявшей съ нимъ рядомъ дѣвкѣ или бабѣ, та кивнула ему и мы поѣхали.

— Перепелки мои всѣ цѣлы? спросилъ У. солдата-денщика или лакея своего, недвижно стоявшаго у запертыхъ воротъ риги.

— Всѣ цылы, вашебл-діе.

— Отпирай.

Изъ риги слышался визгъ, хохотъ, пѣсни. Замѣтно было, что узницы не особенно тяготились своими заключеніемъ.

— Перепелки мои! закричалъ У.—Ну! Что же, теперь купаться?..

— Далеко это?

— Нѣтъ, вонъ сейчасъ черезъ улицу.

У. сейчасъ же началъ раздѣваться, все снялъ съ себя, кромѣ сапоговъ, сорочки и дворянской фуражки съ краснымъ околышкомъ.

— Идемте!

Я тронулъ возжами и поѣхалъ за всей этой компаніей.

— Пѣсни пойте! командовалъ У.

Дѣвки, разумѣется, сейчасъ же запѣли.

Въ такомъ костюмѣ, окруженный своими перепелками, онъ перешелъ черезъ улицу, повернулъ направо и остановился на берегу, у моста.

— Ну! крикнулъ онъ.

Перепелки отошли отъ него шаговъ на десять и стали раздѣваться.

— Что-жь вы не слѣзаете съ дрожекъ? кричалъ онъ мнѣ, садясь на разостланный деньщикомъ на травѣ, у берега, желтый фуляровый платокъ.—Ну, готовы жамки?

Солдатъ подалъ два свертка жамокъ.

— Н-н-ну! Перепелки мои!

И высоко поднявъ надъ головою руки съ свертками жамковъ, онъ съ разбѣга бросился въ воду, какъ-то не почеловѣчески, а полошадиному, крича и гогоча. Когда перепелки, одна по одной, тоже попрыгали въ воду и когда, окруживъ его, начали вырывать жамки, я услыхалъ уже совершенно лошадиное ржаніе, громко и рѣзко покрывавшее и звонкіе голоса, и плескъ перепелокъ, далеко отдававшіеся по рѣчкѣ...

— Это у него каждый годъ заведено, говорилъ мнѣ мой знакомый купецъ, когда я сталъ передавать ему эту сцену.

— И вѣдь какой насчетъ этого дѣла пакостникъ: намедни свояченица моя вѣдь насилу убѣжала отъ него, съ полверсты гнался, да, спасибо, мужикъ по дорогѣ въ телегѣ ѣхалъ, такъ ужь она къ нему кинулась: „спаси, говоритъ, увези меня“, ну онъ и отсталъ.

— Да на что жь это ржетъ-то онъ полошадиному?

— А это ужь, значитъ, въ чувствіи своемъ онъ произошолъ, это у него первое дѣло: какъ увидалъ какую дѣвку, или бабу молодую, такъ сейчасъ и заржетъ. Это всегда...

Столько уже страницъ написалъ я о тамбовской деревнѣ, столько уже перечислилъ ея печалей, и не сказалъ еще ни одной радости... Мало ихъ, этихъ радостей. Да

и какая радость сюда заберется, что ей тутъ дѣлать? Мнѣ не хочется размазывать описаніе разныхъ свадебныхъ обрядовъ, разныхъ отжившихъ уже свое время празднованій на Троицу, на Ивана Купала, Семикъ и пр. Все это, можетъ быть, и очень поэтично, но современнаго смысла и значенія совершенно не имѣетъ. Да и играетъ во всемъ этомъ главную роль водка, ну, а объ ней я уже достаточно говорилъ, и радости въ ней мало. Мало радости и въ деревенскомъ помѣщичьемъ быту, о которомъ я еще ничего не говорилъ и о которомъ нельзя же ничего не сказать. Страшная, смертная царитъ здѣсь скука, такая скука, что и дѣваться не знаешь куда отъ нея. И дышетъ на меня здѣсь отовсюду эта скука, вовсе не потому, что мои радости и мои печали не ихъ радости и не ихъ печали—нѣтъ, имъ самимъ, между собою, самимъ съ собою скучно. Каковы бы ни были радости прошлаго времени, но все же онѣ радовали людей. Еслибы эти письма я писалъ въ то время, я бы могъ говорить объ этихъ радостяхъ, все равно, сочувствовалъ ли бы я имъ, или нѣтъ, но теперь, какъ же говорить о томъ, чего нѣтъ? Не воодушевить же увеселеніе для тамбовскихъ помѣщиковъ, когда они и сами не знаютъ, куда сбѣжать со скуки...

Баллотировка, эта великая радость временъ прошедшихъ, утратила теперь все свое значеніе и всю прелесть. Нѣтъ теперь и чудовищныхъ съѣздовъ, когда собирались, бывало, по цѣлому уѣзду къ кому-нибудь на имянины и когда вся эта толпа, по нѣскольку дней и ночей сряду, пила, ѣла, плясала. Прошла пора и чудовищныхъ охотъ. Но объ охотахъ я уже говорилъ. Не радуетъ никого и наступленіе когда-то знаменитой лебедянской ярмарки, куда, бывало, съѣзжалась вся сосѣдняя холостежь, цыгане, ремонтеры и гдѣ ставились на карту лошади, заводы, дѣвки, цѣлыя деревни. Давно ли я живу на свѣтѣ,

а и я еще помню у сосѣдей и домашнюю музыку, и домашній балетъ...

Утрата этихъ радостей ничѣмъ не замѣнена.

Столкнется у кого-нибудь случайно два-три семейства и начнутъ проектировать, какъ бы устроить хотя театръ что ли, или литературный вечеръ съ музыкой, но даже и эти проектированья, которымъ уже ничто не можетъ мѣшать, ни недосугъ, ни средства, какъ-то вялы, искусственны: всѣ очень хорошо знаютъ, что изъ этихъ проектовъ положительно ничего не выйдетъ, кромѣ одной пустой болтовни. А празднаго времени такъ много, такъ хочется убить его какъ-нибудь. Читать—привычки не сдѣлано, и давитъ всѣхъ скука. Примутся убивать ее—и станетъ еще скучнѣе. Затѣютъ, положимъ, барышни кататься зимою. „Ты, Катя, смотри же пріѣзжай, и ты, Маша, и ты, Люба". Съѣдутся. Велятъ имъ хмурые родители запречь тройку, и поѣдутъ онѣ, однѣ одинешеньки, безъ „кавалеровъ", потому что печальные родители больше уже не посылаютъ въ городъ, гдѣ стоитъ полкъ, за офицерами. Проѣдутъ нѣсколько верстъ, прозябнутъ, вернутся; ихъ встѣтятъ опять тѣ же хмурыя лица, и станетъ имъ еще скучнѣе, еще тошнѣе.

Удастся, наконецъ, какъ-нибудь устроить „литературный" вечеръ. Но и тутъ того гляди—бѣда. Выбрала какая-нибудь Машенька для чтенія, ну хоть, положимъ, „Огородника" что ли некрасовскаго, да и прочитала на грѣхъ. Господи, что тутъ поднимается! И безнравственная-то она, и чего-чего только не наслушается она и дома, и на сторонѣ о себѣ не узнаетъ!

Невыразимо жалки мнѣ эти Катеньки, Сонички, Лизаньки. Умственной жизни нѣтъ у нихъ, разумѣется, никакой, нѣтъ и физической радости: негдѣ имъ ни поплясать, ни въ горѣлки поиграть, ни интрижку какую свести. Сидятъ онѣ себѣ сиднемъ, что называется, ни сами

никуда, ни къ нимъ никто. Развѣ заѣдетъ становой приставъ за какой-нибудь недоимкой; ну и отведутъ сколько-нибудь душу, узнаютъ хоть сплетни уѣздныя. Я никогда и не подумаю сравнить ихъ горькую жизнь съ бѣдной, но вольной, здоровой жизнью крестьянки. Какъ это можно! Та вольная птица. Обыкновенно у насъ толкуютъ объ искусственности столичной жизни. Нѣтъ, я бы показалъ, до чего съумѣли извратить всѣ человѣческія понятія о чести, обязанностяхъ и правахъ женщины здѣсь, гдѣ, кажется, такія ужь непосредственныя и постоянныя отношенія къ природѣ, гдѣ все это рѣшительно ужь ни на что не нужно и гдѣ все совершается единственно въ силу одного обезьянства.

Немилосердно длиненъ тамбовскій осенній и зимній деренскій день! Если барину стукнуло пятьдесятъ, то вотъ какъ онъ его проводитъ. Подымется съ громаднаго двуспальнаго ложа, украшеннаго рѣзными изображеніями амуровъ, сердецъ, и надѣваетъ ватный халатъ и красные торжковскіе сафьянные сапоги. Въ передней, холодной, съ промерзшими окнами, надъ грязнѣйшимъ мѣднымъ тазомъ, изъ такого же грязнаго рукомойника, при помощи полусоннаго, оборваннаго и вонючаго Степки, совершается умовеніе. Рано еще. Всего еще четыре, много, пть часовъ утра, до свѣту долго; солнце встанетъ въ восемь. Въ залѣ, на ломберномъ желтомъ столикѣ, приготовятъ самоваръ. Старуха-экономка стоя наливаетъ чай, а баринъ начинаетъ ходить по комнатамъ, съ трубкой. Являются за разными приказаніями прикащики, конюха, поваръ, староста. Всѣ они уже получили приказанія съ вечера еще; теперь же они приходятъ спросить, не будетъ ли какихъ измѣненій. Хожденіе взадъ и впередъ по комнатамъ съ трубкою продолжается до 8 часовъ. Экономка все это время стоитъ, зѣваетъ, поправляетъ платокъ у себя на шеѣ или на головѣ, щиплетъ

кончикъ фартука. Въ девять часовъ опять чай. Этотъ чай разливаетъ уже сама барыня и самоваръ поданъ уже на большой „банкетный“ столъ, что стоитъ среди зала и который, несмотря на то, что имѣетъ столько же ножекъ, сколько у паука, все-таки ходуномъ ходитъ. Чаще всего баринъ съ барыней не въ духѣ, а потому говорятъ другу шпильки, придираются къ Катенькамъ, Машенькамъ за какую-нибудь растегнутую пуговку или булавку. Послѣ чая баринъ идетъ по хозяйству, барыня идетъ въ дѣвичью, а Катенька садится къ своему „гробу“, какъ зоветъ она разбитое въ дребезги фортепьяно, и начинаетъ разыгрывать русскіе романсы. Баринъ наткнулся на пьянаго конюха, который велъ поить жеребца и упустилъ его. По старому, его слѣдовало сейчасъ же, тутъ же... ну, а теперь, что съ него возьмешь? Огорченіе. Барыня, у которой когда-то вся гостинная была биткомъ набита дворовыми дѣвками, брюхатыми и небрюхатыми, стрижеными или нестрижеными, теперь, очень естественно, въ тоскѣ, чувствуя свое одиночество и видя въ дѣвичьей только трехъ-четырехъ старухъ, бывшихъ кружевницъ, теперь ни къ чему негодныхъ, и которыя остались у нея единственно ради этой негодности и древности своей. Одной, еще видящей коечто, было дано такое дрянное, самое простое кружево, то-есть узоръ: авось, думала барыня, сплететъ,—все Катенькѣ годится на что-нибудь. Но старуха чортъ знаетъ что напутала. Огорченіе. Слышала Катенька въ прошломъ году, зимою, на балѣ въ клубѣ, въ ихъ уѣздномъ городѣ, куда ее насилу отпустили съ теткой, прехорошенькій романсъ, пѣтый тамъ цыганами: „Не уѣзжай, голубчикъ мой“. Катенькѣ онъ очень понравился; по пріѣздѣ домой, она его какъ-то и запой. Услыхали, да такую ей задали головомойку, что Катенька три дня проплакала. „Мой домъ, сударыны, мой домъ не распутный какой, чтобъ

въ немъ эти мерзости распѣвать. Если ужь вамъ пріятно, такъ можете идти куда угодно, но здѣсь я этого не позволю!" и т. д., и т. д. Теперь Катенькѣ страхъ хочется спѣть „Не уѣзжай, голубчикъ мой", но она боится, и это, весьма натурально, причиняетъ ей огорченіе. Въ часъ пообѣдаютъ. Старшіе лягутъ отдыхать, а Катенька... должно быть, и она тоже отдыхаетъ, потому что, когда она придетъ къ вечернему чаю, у нея глазки красные, припухшіе. Вечеромъ баринъ раскладываетъ гранъ-пасьянсъ или играетъ самъ съ собой въ преферансъ; барыня гадаетъ; Катенька перебираетъ что-нибудь у себя въ комодѣ или опять стонетъ на фортепьяно. Въ девять ужинъ и повальный сонъ...

Но скука этой жизни все-таки ничто, въ сравненіи со скукой, какая царитъ въ домѣ стараго уѣзднаго баллотировочнаго авторитета. Желчь и гнетущая сварливость тамъ еще ужаснѣе, потому что всѣ эти огрызки исполнены безконечнаго самолюбія. Такъ или иначе, всѣ они выдавались изъ ряда, главенствовали, ворочали, а теперь... Меня особенно интересовалъ здѣсь одинъ старикъ, игравшій когда-то видную, первую роль, а теперь засѣвшій безвыходно въ своемъ углу. Ни одинъ лакей у него не въ состояніи прожить больше мѣсяца, это ходячая галда какая-то. У него до ста дѣлъ съ прислугою. Онъ съ утра до ночи пишетъ жалобы къ посредникамъ, становымъ и все это жалобы на убѣжавшую прислугу... Разумѣется, всѣ онѣ остаются безъ послѣдствій, но онъ все-таки пишетъ, длинный, худой, ожесточенный...

Тамбовскіе Семирамидины сады.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, по дорогѣ изъ Козлова въ Воронежъ, не доѣзжая двухъ-трехъ верстъ до станціи Муравьево, глазамъ пассажировъ представлялась довольно странная картина. Во всѣ стороны большой барской усадьбы былъ раскинутъ обширный старый садъ. Одна половина его, обращенная къ полю, стояла вся зеленая, цвѣтущая, — другая, что примыкала къ деревнѣ, стояла вся сухая. Ни одного живого деревца, ни одной зеленой вѣточки, ни одного листика. Картина была до такой степени оригинальна и такъ бросалась въ глаза, что всѣ невольно обращали на нее вниманіе и спрашивали другъ друга. Я живу въ этой мѣстности, мнѣ часто приходится ѣздить по этой дорогѣ и, въ качествѣ туземца, едва ли не сотню разъ приходилось разсказывать сосѣдямъ-пассажирамъ чудесную исторію засохшаго сада. Дѣйствительно, это нѣчто сказочное. Тѣмъ не менѣе однакожь это фактъ. Дѣло вотъ въ чемъ и вотъ какъ происходило.

Владѣлецъ этой усадьбы, представляющей теперь такой странный видъ, нѣкогда былъ довольно богатый баринъ, жилъ безвыѣздно въ Москвѣ, гдѣ служилъ въ какомъ-то такомъ учрежденіи, гдѣ всѣ служащіе, кромѣ писарей, числятся почетными членами и служатъ „изъ

чести". Понятно, онъ не былъ особенно заваленъ работой и дѣлами, имѣлъ большой досугъ, который и коротал въ англійскомъ клубѣ. Здѣсь, въ имѣніи, жилъ управляющій. Само собою разумѣется, какъ въ каждомъ заброшенномъ имѣніи, хозяйство шло чортъ знаетъ какъ. Управляющій этотъ пьянствовалъ, дебоширничалъ, но держался прочно, благодаря тому, что сестра его, барская любовница, до такой степени забрала въ руки старика-москвича — клубиста, что, какъ разсказывали мужики, время отъ времени ѣзжавшіе въ Москву съ провизіей къ барину, онъ былъ „при ней", т. е. въ ея присутствіи, „какъ малый ребенокъ".

— Выйдетъ онъ, кормилецъ нашъ, говорили мужики, ручки заложитъ въ карманчики, принесутъ ему въ переднюю кресло, сядетъ онъ въ него и начнетъ разспрашивать.

— Про хозяйство?

— Нѣтъ. Этого дѣла онъ совсѣмъ и не понималъ...

— Такъ про что же?

— Про разное, милый человѣкъ. Есть ли у насъ разбойники, много ли волковъ, лисицъ въ лѣсахъ. Не заходятъ ли къ намъ медвѣди...

— Охотникъ былъ?

— А Господь его вѣдаетъ. Все страшное любилъ. Разспроситъ и самъ начнетъ разсказывать.

— Про что же самъ-то вамъ разсказывалъ?

— Тоже про разное. Про папу римскую, про китайцевъ, про звѣрей разныхъ.

— А объ имѣніи, о хозяйствѣ ничего не спрашивалъ, никогда?

— Нѣтъ. Это, говоритъ, не мое дѣло. Объ этомъ вы докладывайте Маланьѣ Петровнѣ. Это какъ она хочетъ. Это ея дѣло. Я въ это не мѣшаюсь...

— Ну и что-жь?

— Извѣстно что. Развѣ она супротивъ брата пойдетъ? Ѳедька кривой началъ было ей жаловаться на ея брата — управляющаго-то, а она какъ топнетъ на него ногой. Это, говоритъ, еще что такое? Да онъ вамъ за мѣсто отца поставленъ отъ барина—бунтовать?.. А?

Вообще, изъ разсказовъ мужиковъ и по слухамъ, которые доходили изъ Москвы, баринъ представлялся человѣкомъ болѣе чѣмъ просто глупымъ. Такимъ онъ казался мужикамъ, такимъ онъ былъ и въ нашемъ представленіи.

Въ этомъ имѣніи великолѣпная охота. Протекаетъ какая-то маленькая рѣчка съ множествомъ ручьевъ, заливчиковъ, берега низкіе, затопленные, и по всѣмъ этимъ низамъ такая масса дупелей и бекасовъ, что весной, осенью и въ серединѣ іюля всѣ мы, сосѣди, обязательно ужъ тамъ перебываемъ каждый годъ. И утро и вечеръ идетъ стрѣльба, а дичь и не думаетъ убавляться.

Понятно, всѣхъ „насъ“, т. е. помѣщиковъ, приходившихъ и пріѣзжавшихъ на охоту, управляющій встрѣчалъ и провожалъ самымъ радушнымъ манеромъ. Всѣ эти угощенія онъ устраивалъ у себя во флигелѣ, такъ какъ огромный барскій домъ повидимому съ поконъ вѣку стоялъ заколоченнымъ. Любители „выпить и закусить“ очень даже „одобряли“ управляющаго, находя, что онъ „услужливый малый“ и, хотя и „халуй“, но его „сажать“ съ собою можно, потому что онъ „свою точку знаетъ“ и не забывается. Съ нѣкоторыми, конечно изъ тѣхъ, что „помельче“, у него было даже прямо пріятельское отношеніе. У него были двѣ или три очень хорошихъ борзыхъ, подаренныхъ однимъ изъ нашихъ же помѣщиковъ, дошедшимъ до полнаго оскудѣнія и теперь ликвидировавшимъ охоту. Съ этими борзыми онъ присоединялся къ „намъ“ во время нашихъ осеннихъ походовъ за зайцами, лисицами и волками. Тутъ онъ былъ ужъ нашимъ гостемъ. Конечно, „мы“ всѣ говорили ему „ты“:—„Григо-

рій Петровъ, садись“, „Гриша, да садись,—ну, что торчишь?“ и проч.

Мужики, видя такое постоянное общеніе его и якшаніе съ „нами“, проникались къ нему большимъ почтеніемъ и относились „ужъ совсѣмъ не какъ къ своему брату“, а скорѣй какъ къ „барину“: стояли безъ шапокъ, говорили ему: „твоя милость“ и если неговорили ему: „мы ваши, а вы наши“, то просто по недогадливости... Я не помню разсказовъ о какихъ либо его жестокостяхъ. Конечно, „въ зубы заѣзжалъ“, но въ ту пору это большимъ неудобствомъ не считалось, такъ же точно какъ и порокомъ, сколько нибудь предосудительнымъ. Было, словомъ, отношеніе вполнѣ сносное, какъ у большей части всѣхъ „насъ“. Я не помню также разсказовъ о его похожденіяхъ по части амурной, которые носили бы характеръ насилія. Амуры были, разумѣется, но о безобразіяхъ не было слышно.

Такъ продолжалось это вплоть до 19-го февраля, т. е. до новаго положенія. Объявленіе воли, впрочемъ, не вызвало ничего особеннаго. Какъ и у всѣхъ почти, не вышло никакихъ недоразумѣній сколько нибудь буйнаго характера. Мужики остались, какъ на издѣльной повинности, и барщина, хоть и съ ограниченнымъ количествомъ рабочихъ дней, продолжалась. Хозяйство все шло по прежнему пока, т. е. и конный заводъ, и овцы—все это продолжало существовать и не распродавалось. „Гриша“ по прежнему кутилъ, „игралъ барина“. Новое положеніе, повидимому, ничего не измѣнило и во взаимныхъ отношеніяхъ Гриши къ мужикамъ.

— Ну, что, какъ у васъ? бывало спросишь его.

— Ничего-съ. Благодаря Бога, все тихо, спокойно; ослушаній никакихъ. Вотъ что будетъ дальше, какъ баринъ пріѣдетъ...

— А развѣ ждете вы его?

— Обѣщалъ. Сами изволите знать, какіе теперь ужь доходы. Развѣ можно на нихъ въ Москвѣ жить.

— Совсѣмъ, значитъ, сюда ѣдетъ?

— Да, надо такъ полагать. Старикъ-то останется совсѣмъ, а сыновья лѣтомъ въ отпускъ будутъ къ нему пріѣзжать.

Надо замѣтить, что у старика Николая Михайловича было двое сыновей, которые служили штабсъ-ротмистрами въ какомъ-то гвардейскомъ полку въ Петербургѣ, получали отъ него содержаніе, долговъ не дѣлали и считались, по слухамъ, „дѣльными“ и „учеными“ офицерами. Одинъ—Николай—современемъ разсчитывалъ быть покорителемъ какого нибудь царства, хотя бы и самаго маленькаго, другой — Ѳедоръ, младшій и особенно „ученый“—быть въ этомъ предпріятіи начальникомъ штаба. Но я забѣгаю нѣсколько впередъ. Обо всемъ этомъ мы узнали лишь послѣ, когда они побывали у насъ и съ нами перезнакомились...

Прошелъ этотъ слухъ о пріѣздѣ къ намъ новаго сосѣда, т. е. не новаго конечно, а до сихъ поръ невиданнаго, и всѣхъ насъ заинтересовало: что это за человѣкъ ѣдетъ. Во всякомъ случаѣ, баринъ крупный, богатый, съ большими связями. Услыхали мы объ этомъ ранней весной, когда еще только показалась проталинка и кое-гдѣ зачернѣла земля. Но вотъ посинѣлъ ледъ на рѣкѣ, побѣжали ручьи, по вечерамъ высоко въ небѣ сталъ слышаться свистъ крыльевъ летящихъ утокъ; слабо издалека, оттуда же сверху доносится крикъ дикихъ гусей. Еще нѣсколько дней и рѣка тронулась. Въ это время дичи въ полѣ „взять“ нечего и она обыкновенно вся по берегамъ рѣки, на озерахъ, въ заливахъ. Выше я ужъ сказалъ, что по владѣніямъ Николая Михайловича протекала такая именно изобильная всякими удобствами для дичи рѣка, и теперь, въ эту раннюю пору, она дѣйстви-

тельно чуть не сплошь покрылась стадами прилетѣвшей дичи.

Въ числѣ прочихъ, пошелъ съ ружьемъ и собакой и я на эту рѣку. Походилъ по берегамъ, разумѣется вдоволь наохотился, усталъ и зашелъ отдохнуть и закусить къ „Гришѣ“ на барскій дворъ.

— На той недѣлѣ ждемъ.

— Такъ рано?

— Да-съ. У меня ужъ все готово къ пріѣзду.

Дѣйствительно, въ домѣ окна открыты, босоногія бабы съ засученными по локоть рукавами стоятъ на подоконникахъ и моютъ стекла въ рамахъ. Изъ каретнаго сарая выдвинули на дворъ старинную громадно-высокую карету, съ полинялыми позументами на козлахъ, съ позолотой, потускнѣвшей и облупившейся на дверцахъ, наверху. Я отъ нечего дѣлать осмотрѣлъ ее и снаружи, и снутри. Въ домѣ я никогда не бывалъ, пошелъ и туда и его осмотрѣлъ. Окна всѣ настежь; день былъ чудесный, ясный; свѣжая, молодая зелень такъ ярко и весело виднѣлась изъ этихъ оконъ, а въ домѣ, какъ въ гробу — сыро, мрачно и такой тяжелый запахъ старой-престарой плесени, что никакъ не можетъ одолѣть его даже и свѣжій весенній воздухъ, вольно и властно ворвавшійся въ растворенныя настежь окна.

— Сорокъ лѣтъ не отпирали. Живой ноги тамъ не было, разсказывалъ управляющій.

По стѣнамъ въ залѣ и гостинной висѣли портреты генераловъ, военныхъ или статскихъ — не разберешь, въ какой-то удивительной формѣ, напудренные, въ парикахъ, со звѣздами и необыкновенно пухлыми подбородками и розовыми щеками. Чтò бы они подумали, если бы могли думать, при встрѣчѣ съ своими внучатами?—невольно пришло мнѣ въ голову, когда, разсмо-

трѣвъ всѣхъ ихъ порознь, я еще разъ, уходя, оглянулся на нихъ на прощанье...

Я отдохнулъ, закусилъ у „Гриши“. Пора было уходить.

— А вѣдь вамъ, кромѣ хлопотъ теперь, вотъ по встрѣчѣ, будетъ ужъ не то житье?

— Извѣстно, ужъ того времяпрепровожденія не можетъ быть-съ.

— А что, старикъ-то капризный?

— Нѣтъ, какой капризный! А такъ, самодуръ. Втемяшется ему что въ голову, ну и сходитъ съума. Возни съ нимъ много будетъ. Ну, да сестра угомонитъ. Она съ нимъ церемониться не любитъ.

Дѣйствительно, черезъ недѣлю эта самая карета, запряженная шестерней съ форейторомъ, раскачиваясь и какъ-то колыхаясь на безчисленныхъ ремняхъ и рессорахъ, проѣхала мимо моего дома. Въ каретѣ сидѣлъ „Гриша“, увидалъ меня и раскланялся. Очевидно, онъ отправлялся въ нашъ городъ на встрѣчу господамъ. Такъ и вышло. На другой день, въ самый обѣдъ, эта же карета прослѣдовала обратно, причемъ „Гриша“ сидѣлъ уже на козлахъ, а внутри кареты виднѣлись, очевидно, старикъ Николай Михайловичъ, съ подругой дней своихъ, Гришиной сестрой. За ними на трехъ тройкахъ, запряженныхъ въ телѣги, провезли ихъ багажъ, сундуки, чемоданы, узлы и проч. Еще черезъ недѣлю кой-кто изъ „нашихъ“ успѣлъ побывать у него, съѣздили познакомиться и засвидѣтельствовать свое почтеніе.

— Ну, что, видѣли?

— Вельможа!..

— Знаете, эдакое обращеніе...

— Видно сейчасъ, что изъ высшаго общества.

— Камердинеръ французъ, поваръ французъ...

Дальше изъ разспросовъ можно было догаться, что вновь пріѣхавшій по лѣтамъ, по привычкамъ и по образу

жизни должно быть очень любопытная и древняя рѣдкость. Тѣмъ не менѣе ни о какихъ его начинаніяхъ и предпріяхъ ничего не было слышно.

Въ серединѣ мая пріѣхали въ отпускъ „молодые господа“. Черезъ нѣсколько дней, они побывали кой у кого изъ сосѣдей съ визитами и между прочимъ у меня. Обыкновенные гвардейскіе офицеры. Въ Петербургѣ у насъ оказалось много знакомыхъ. Поговорили о лошадяхъ, о француженкахъ... Они мнѣ показались очень милыми „молодыми людьми съ прекрасными манерами“ и вполнѣ подходящимъ для нихъ образомъ мыслей. Отъ имени старика-отца они звали къ себѣ. Разумѣется, я обѣщалъ пріѣхать и дѣйствительно собирался черезъ нѣсколько дней побывать у него, но тутъ совершенно неожиданно мнѣ представилась надобность скорѣй ѣхать въ Петербургъ и я уѣхалъ, не отдавъ имъ визита. Я вернулся въ деревню на нѣсколько дней ужъ поздно осенью, когда все ужъ было сѣро, голо, сыро; листья на деревьяхъ облетѣли и только красныя кисти рябины, да красныя полосы гречи и оживляли эту скучную сѣрую картину. Въ эту пору бываютъ послѣдніе дни охоты за болотной дичью: она собирается на отлетъ и опять стадами собирается на рѣки и озера. Разумѣется, этими послѣдними днями я не могъ не воспользоваться и отправился съ ружьемъ опять на берега и заливы той же рѣчки. Походилъ, пострѣлялъ; заходить отдыхать и закусывать къ „Гришѣ“ было теперь какъ-то неловко, а „тамъ“ я не былъ еще и съ визитомъ, стало быть тоже нельзя было зайдти. А дождикъ мелкій, частый насквозь промочилъ. На краю девевни стояла довольно просторная и чище другихъ изба. Туда я и зашелъ обсушиться, выпить водки, чего нибудь закусить.

— Ну, что, ребята, какъ поживаете при господахъ-то? Лучше теперь?

— А намъ, баринъ, все равно. Они, господа-то, до насъ не касаются... Ихъ и видимъ-то мы только въ новомъ саду.

— Въ какомъ это новомъ?

— Ахъ, милый человѣкъ, и не спрашивай. Такое у насъ дѣло затѣяно, что и разсказать тебѣ невозможно. Копаемъ для деревьевъ ямы, да такія, что чуть-чуть не съ погребъ ростомъ, глубиной съ колодецъ.

— Зачѣмъ же это?

— Такія большія дерева будетъ сажать.

Когда я шелъ назадъ домой, нарочно взялъ дорогу мимо этого новаго сада. Былъ ужъ вечеръ, темнѣло, работа кончилась, но колоссальныя ямы дѣйствительно были выкопаны по всему пространству двухъ-трехъ десятинъ, окопанныхъ канавой и, очевидно, предназначенныхъ для этого будущаго сада или парка. Затѣя, очевидно, была большая, но я еще и не къ такимъ штукамъ привыкъ и никакого особеннаго вниманія на всю эту исторію не обратилъ. Черезъ два-три дня я собрался и поѣхалъ съ визитомъ къ Николаю Михайловичу.

Старикъ былъ дѣйствительно на рѣдкость. Я не знаю, есть ли еще такіе гдѣ нибудь. Это была удивительная смѣсь знанія съ круглымъ невѣжествомъ, самыхъ гуманныхъ воззрѣній и понятій съ дикими взглядами. Ко всему этому надо еще прибавить массу московскихъ затѣй, привычекъ и чудачествъ. Сыновей ужъ не было, они уѣхали въ Петербургъ. Я зналъ, что у него идутъ переговоры съ мужиками объ уставной грамотѣ, зналъ, что дѣло затянулось, и зналъ причину: онъ хотѣлъ, чтобы мужики переселились на другое мѣсто, на тотъ конецъ дачи, а они не соглашались на это переселеніе.

— Ну, что, ваше превосходительство, какъ намѣреваетесь разобраться съ вашими крестьянами? спросилъ я.

— Переселю. Во всякомъ случаѣ, переселю. Силой

и „по закону“—онъ иронически выговорилъ это слово—нельзя, ну такъ хитростью...

— Хитростью!..—То есть какъ же это?

— Ну, тутъ вы ужъ меня извините: я—того, я вамъ не могу пока сказать. Но эта счастливая идея мнѣ совершенно случайно пришла въ голову и я ее приведу въ исполненіе. Я уже началъ приготовительныя работы...

Все это онъ говорилъ не то чтобы съ какой затаенной злобой, но съ какимъ-то хитрымъ и въ то же время торжествующимъ умысломъ. Само собою разумѣется, что мнѣ и въ голову не приходило тогда связывать этотъ разговоръ съ приготовленіями къ посадкѣ новаго сада. Когда я собрался уѣзжать, простился и ужъ уходилъ. въ одной изъ комнатъ, ближайшихъ къ передней, я встрѣтилъ „Гришу„.

— Какъ поживаете?

— Ничего-съ. Занимаемся садоводствомъ.

— Видѣлъ, видѣлъ. Для чего это только вы такія громадныя ямы копаете?

— Какъ же-съ, помилуйте: вѣдь почти столѣтнія липы, сосны будемъ сажать.

— Для чего же?

— Такое распоряженіе...

Выпалъ снѣгъ, пошли морозы, мятели и я по обыкновенію уѣхалъ въ Петербургъ. Какъ-то среди зимы я столкнулся съ однимъ изъ сыновей Николая Михайловича, съ будущимъ начальникомъ штаба при будущемъ покорителѣ какого нибудь царства.

— Имѣете извѣстія отъ батюшки?

— Благодарю васъ. Здоровъ. Все хлопочетъ съ этимъ садомъ.

— Какъ, зимой? Чтожъ тамъ дѣлать въ саду-то?

— Сажаютъ деревья...

— Но, помилуйте...

— Ахъ, не говорите. Эта идея...

— Сажать зимой деревья?

— Нѣтъ, вообще переселеніе...

Я слушалъ и ничего не понималъ.

— Это, я вамъ скажу, продолжалъ молодой „блестящій человѣкъ“,—единственный для него выходъ. Иначе ничего нельзя подѣлать, продолжалъ онъ... Но тутъ кончился антрактъ и мы разстались. Конецъ зимы я пролежалъ больной, никуда не выѣзжалъ, съ нимъ не встрѣчался и загадочная исторія съ садомъ такъ и осталась мнѣ пока неизвѣстной. Въ деревню я пріѣхалъ поздно лѣтомъ, около середины іюля, какъ разъ во время „высыпки“ дупелей и едва ли не въ тотъ же день, вечеромъ, пошолъ на охоту. Пошелъ, увидѣлъ странную картину сухого сада, разумѣется заинтересовался всѣмъ этимъ предпріятіемъ и началъ разспрашивать.

— А это, другъ сердечный, хитрость его была, разсказывали мужики.

— Какая же хитрость?—Глупость.

— Не говори. Удайся ему дѣло, онъ насъ разорилъ бы съ переселеніемъ. Самъ знаешь, стоитъ мужицкій дворъ — ну еще какъ нибудь жить въ немъ можно, а тронь его, — что отъ него останется? Однѣ гнилушки. Намъ переселяться—все равно что вновь строиться.

— Да садъ-то тутъ при чемъ же? Я все еще не понималъ въ чемъ дѣло.

— Какъ въ чемъ? Развѣ не знаешь? Мы и сами сперва не знали, а потомъ за то ужь раскусили. Задумалъ это онъ насъ переселять, призываетъ. Такъ и такъ, говоритъ, вы должны переселиться отсюда на тотъ конецъ дачи, тамъ я вамъ и землю отведу въ надѣлъ. Мы ему резонъ говорить, а онъ и слушать ничего не хочетъ: переселяйтесь да и все тутъ. Ну, мы, значитъ,

и уперлись. Потому, знаешь, силой насъ нельзя заставить, а по доброй волѣ кто же захочетъ разоряться.

— Ну, такъ я васъ все равно переселю.

„Разсказывай, думаемъ. Какъ это ты насъ переселишь, когда у тебя на это никакихъ правовъ нѣтъ. Такъ и порѣшили. И онъ замолчалъ. Прошло столько-то времени, слышимъ вмѣсто того, чтобы идти въ поле работать, насъ погнали канаву копать. Идемъ. Намъ-то не все ли равно что ни работать? окопали. Ну, теперь, говоритъ, надо ямы копать для деревьевъ. И ямы начали копать, и ихъ выкопали. Пошелъ снѣгъ, начались морозы. Ну, теперь надо изъ стараго сада деревья выкапывать и сажать ихъ въ эти самыя ямы. И эту начали работу. Земля ужь мерзла, топорами ее рубили. Страхъ, что было работы. Самъ посуди, шутка развѣ выкопать и посадить полторы тысячи деревъ!..“

— Да для чего же это?!

— А ты слушай. Вотъ посадили это мы, выпалъ глубокій снѣгъ, зима совсѣмъ, какъ должно ей быть, установилась. Передъ праздниками глядимъ ѣдетъ на барскій дворъ мировой посредникъ и намъ пришелъ приказъ собраться туда на другой день, утромъ. Собрались. Выходитъ посредникъ.

— Ну, что, ребята, не надумали еще переселяться?

— Нѣтъ, говоримъ. Гдѣ-жъ намъ переселяться? Это разореніе одно будетъ.

— Ну, это ужь ваше дѣло. А по закону, если вы сидите къ барской усадьбѣ ближе пятидесяти саженей, то должны обязательно переселяться.

— Гдѣ-жъ, говоримъ, ближе пятидесяти. Мы саженей за двѣсти сидимъ.

Тутъ баринъ-то и вступился. Какъ, говоритъ, за двѣсти? Саженей за десять отъ моего сада они сидятъ. Одинъ только проѣздъ.

Услыхали мы это, да такъ и ахнули. Вотъ тебѣ на! Сами на себя, милый другъ, руки-то наложили. И перепугались мы только...

— Это, говоримъ, мы лишь нынѣшней осенью садъ-то развели, а прежде его и званія тутъ не было. Баринъ услыхалъ эти наши слова и въ споръ сейчасъ:

— Что, говоритъ, я съумасшедшій, что ли, чтобы цѣлый лѣсъ сажать, да такія еще старыя древа? Подсадка осенью была, дѣйствительтельно, а садъ здѣсь споконъ вѣковъ сидитъ. Это еще, говоритъ, отъ родителей моихъ мнѣ такъ досталось.

Мы тоже въ споръ. Мы на своемъ стоимъ, а онъ на своемъ. Ужь мы спорили, спорили. Такъ бы ни до чего не договорились, если бы не догадался посредникъ. Видитъ онъ, что толку ему не добиться и говоритъ намъ: слушайте ребята. Вотъ какое рѣшеніе я вамъ постановляю: вы говорите, что всѣ эти старыя древа только осенью посажены?

— Точно такъ.

— Ну, такъ если это правда, они всѣ весной посохнуть должны. Такія древа сажать невозможно. Если посохнутъ они, вы правы и переселенія не будетъ; если примутся — баринъ правъ и онъ васъ переселитъ... Такъ мы на томъ и покончили. Отпустилъ онъ насъ, разошлись мы, а дѣло это у каждаго изъ головы никакъ не выходитъ. Ну, какъ на грѣхъ, возьмутъ они, эти древа, да примутся? Продумали это мы всю зиму. Пришла наконецъ и весна. Все кругомъ зазеленѣло, глядимъ и новый садъ зазеленѣлъ. Руки просто опустились. Ходимъ совсѣмъ какъ шальные. А онъ-то садъ поливаетъ каждый день. Соберемся мы на эту работу — мы же и поливать ходили, и начнемъ приставать къ садовнику: что Кузьма Василичъ, примутся древа?

— Дурачье! это какимъ же манеромъ?

— Какъ какимъ? Видишь ужь и листья показались.

— Это, говоритъ, отъ стараго еще соку. А молодого сока теперь такое древо въ себя принять никакъ не можетъ.

Это онъ намъ говоритъ. Придетъ баринъ, слышимъ, начнетъ онъ его объ томъ же самомъ разспрашивать — онъ ему другое совсѣмъ говоритъ:

— Точно такъ, ваше превосходительство. Сами изволите видѣть, ужь и листья на древахъ показались. А баринъ ему: должны, говоритъ, приняться. Я по наукѣ знаю, въ старину въ одномъ царствѣ еще не такая штука была. Тамъ цѣлые сады на столбахъ висѣли.

Слышимъ мы все это и ничего понять не можемъ. Очень ужь оробѣли. Уйдетъ баринъ, мы опять къ садовнику: да скажи ты намъ ради Бога: кому правду ты говоришь—намъ или барину.

А онъ смѣется. Поведетъ плечами, встряхнетъ волосами и хохочетъ: необразованные, говоритъ, вы мужичье. Развѣ не видите, что человѣкъ изъ ума ужь выжилъ?

— Такъ-то такъ, а все боязно.

— Ничего не боязно. Недѣли черезъ двѣ ни одного листочка не останется: всѣ посохнутъ.

И каждый божій день бывало мы все ходили смотрѣть на эти листья. Вдругъ, братецъ ты мой, глядимъ одно за другимъ древа и начали сохнуть. Онъ ихъ и утромъ и вечеромъ поливать, а они пуще сохнуть, ничего нейдетъ имъ на пользу. Видимъ, наша беретъ, мы сейчасъ къ попу: служи молебенъ.

— Какой, говоритъ, вамъ молебенъ, объ чемъ?

— Чтобы садъ скорѣй сохъ.

— Этого не могу.

— Почему не можешь?

— А, потому, что это противъ помѣщика...

— Ну, не хочешь, какъ хочешь. Мы къ другому —

тотъ отслужилъ. Потомъ выбрали стариковъ и послали ихъ къ посреднику.

— Ну, что? спрашиваетъ.

— Да вотъ такъ и такъ: садъ засохъ...

Черезъ нѣсколько дней пріѣхалъ онъ; подъѣхалъ въ тарантасѣ къ саду, посмотрѣлъ, пожалъ плечами и говоритъ кучеру: пошелъ назадъ.

— Не будетъ, спрашиваемъ, переселенія?

— Вотъ что, говоритъ, ребята: видалъ я дураковъ на своемъ вѣку не мало, а такого, какъ вашъ баринъ, еще вотъ только въ первый разъ вижу.

— Тѣмъ дѣло и кончилось?

— Тѣмъ и кончилось.

Исторія эта разнеслась, конечно, не только по всему нашему уѣзду, но и далеко за предѣлы нашей удивительной и богатой всякими чудесами губерніи. Николай Михайловичъ не вынесъ позора, сейчасъ же уѣхалъ въ Москву, а въ имѣніи опять по старому сталъ хозяйничать „Гриша". Когда строили козловско-воронежскую дорогу, инженеры проложили полотно саженяхъ въ двадцати отъ этого сада. Я не знаю, для чего онъ стоялъ все это время. Его вырубили или выкопали только недавно, когда десятки, а можетъ и сотни тысячъ людей проѣхало мимо его, спросили и узнали его исторію.

На службѣ.

Іюнь въ исходѣ; жаркій полдень; ни облачка на небѣ; туманъ надъ лѣсомъ; въ воздухѣ гарью пахнетъ; сонно нагнулся камышъ надъ рѣкой; на пыльной, сѣрой дородѣ грачи сидятъ съ раскрытыми ртами, распустивъ крылья по землѣ. Надъ высокой, сильно побурѣвшей рожью перебѣгаетъ дрожащій горячій воздухъ.

У окна съ опущенной бѣленькой сторкой сидитъ старикъ, мой слуга, Иванъ Меркулычъ, и едва ли не въ сотый разъ читаетъ синенькую рукописную тетрадку: *Сонъ Пресвятой Богородицы*.

— Что вашъ баринъ дома? слышу, кто-то спрашиваетъ его.

— Дома.

— Вотъ-съ письмецо отнесите.

— Письмо, говоритъ мнѣ Иванъ Меркулычъ, отдавая его.

„Жизнь всего моего семейства въ опасности. Честь жены моей оскорблена“ — читаю я въ безграмотномъ письмѣ, и то же самое, только иными словами, и въ форменной бумагѣ.

— Что эта такое? Иванъ Меркулычъ, гдѣ посланный? пошли его сюда.

Какъ-то осторожно стукая ногами, подошелъ къ дверямъ моего кабинета кучеръ не кучеръ, поваръ не поваръ—видно только что дворовый,—двороваго человѣка сразу узнаешь.

— Что у васъ тамъ такое случилось?

Дворовый переступилъ съ ноги на ногу.

— Насчетъ повара-съ... И онъ таинственно посмотрѣлъ на меня.

— Да что же такое, насчетъ повара-то?

Опять перемѣна ноги, потомъ перемѣна руки, т. е. сперва правая была заложена за спину, а теперь туда отправилась лѣвая, а правая какъ-то шевелится возлѣ кармана.

— Потому значитъ... дворовый запнулся.

— Ну?

— Вѣдь они изволятъ писать-съ... мы не знаемъ-съ...

— Ахъ ты, господи, говори, ну чего ты боишься?

— Да намъ почемъ же знать съ... Опять перемѣна ноги и руки, и ужь какой-то испугъ въ глазахъ.

— Ну ступай... скажи, что буду...

— Они приказали просить-съ какъ можно скорѣй. Они ужь за понятыми послали-съ... за попомъ-съ.

— Да что такое у васъ?.. что это причащать что ли кого?

— Нѣсъ-съ, къ присягѣ, должно быть, будутъ народъ *подгонять-съ*... Они приказали васъ просить, какъ можно скорѣе...

Я такъ и не узналъ, въ чемъ дѣло.

— Ступай, Иванъ Меркулычъ, вели лошадей запречь.

Пока запрягали, я еще разъ прочелъ и письмо и объявленіе, и опять ничего не понялъ.

Телюлюевка, гдѣ живетъ Егоръ Ивановичъ Телюлюевъ, авторъ записки, верстахъ въ 10 отъ моей Талинки. Когда я подъѣхалъ къ его деревянному, раскрашенному домику,

съ намалеванной суповой миской надъ крыльцомъ—вѣроятно символическое изображенiе хлѣбосольства—было уже три часа. Посреди двора, у колодца, стоятъ и лежатъ человѣкъ двадцать стариковъ.

— Понятые, должно быть, замѣтилъ Иванъ Меркулычъ, оборачиваясь въ мою сторону. У крыльца два отпряженныхъ тарантаса и телѣжка въ одну лошадь. На телѣжкѣ уснулъ дьячокъ въ пуховой татарской шляпѣ. Жиденькая, напомаженная косичка растрепалась и свѣсилась къ колесу. Смирно, зажмурившись, изрѣдка помахивая головой, стоитъ его бурая лысая кобыла. У колесъ одного изъ тарантасовъ, прикрываясь ихъ тѣнью, сидятъ два солдата, лѣниво покуривая трубки.

— Дома? спросилъ я, входя въ переднюю.

— Кушаютъ-съ, кланяясь, отвѣчала мнѣ какая-то дворовая женщина, грязной ветошкой вытиравшая тарелки.

Меня проводили въ залъ, гдѣ обѣдали господа.

Послѣ рекомендацiи и изъявленiя радости, что пришлось познакомиться, я усѣлся.

Направо, рядомъ съ хозяиномъ—какой-то господинъ съ одутловатымъ краснымъ лицомъ, съ воспаленными глазами, съ огромнѣйшими разноцвѣтными усами четверти въ полторы, съ цѣпью сверхъ сюртука — посредникъ, значитъ; на лѣво маленькая гнусная фигурка, слегка рябоватая, съ какой-то влагой въ рябинахъ, съ узенькими наигранными глазками, съ щетинкой подъ бородой, чтобъ галстухъ не терся — это становой; дальше гимназистъ, блѣдненькiй, дебелая грудистая хозяйка, двѣ дочки, матерыя невѣсты, и *батюшка*, т. е. попъ.

— Вѣдь вы-съ, Сергѣй Николаевичъ, началъ хозяинъ, т. е. Егоръ Ивановичъ, изволили, кажется, недавно къ намъ пожаловать. Въ Петербургѣ все?..

— Да-съ, вотъ сегодня дебютирую, сказалъ я:—это первое слѣдствiе...

— И пренепріятная должность, замѣтилъ становой и тоже утерся

Сидѣвшій напротивъ меня батюшка долго держалъ на мнѣ свои помутившіеся глаза.

Гимназистикъ все что-то перешептывался съ сестрами, хотѣлъ было бросить шарикъ изъ хлѣба и совсѣмъ было уже прицѣлился, но мать сильнымъ движеніемъ своей дюжей длани остановила эту перестрѣлку. Посредника клонило ко сну. Глаза слипались, и онъ то и дѣло вздрагивалъ. Только одинъ письмоводитель съ какой-то непозволительной собачьей улыбкой смотрѣлъ на всѣхъ сидящихъ. Батюшка откинулся на спинку стула и приложилъ правую руку къ широкому шитому поясу на брюхѣ.

Послѣ какого-то сладко-соленаго пирожнаго хозяйка начала мучиться, т. е. вставать ли ей — или еще рано. Встали наконецъ.

— Теперь, господа, отдохнуть не мѣшаетъ, пріятно улыбаясь, замѣтилъ Егоръ Ивановичъ. Посредникъ какъ-то тупо посмотрѣлъ на него, вздрогнулъ, повелъ плечами и отправился вслѣдъ за хозяиномъ. Батюшка что-то шопотомъ заговорилъ съ лакеемъ.

— А вы-то развѣ не отдохнете?.. крикнулъ мнѣ Егоръ Ивановичъ.

— Нѣтъ.

— По-петербургски-съ, весело замѣтилъ онъ, и скрылся куда-то.

Я прошелъ въ гостинную. Дверь на балконъ отворена; на балконѣ супруга Егора Ивановича за что-то дѣлаетъ выговоръ дочерямъ. Тѣ жеманно оправдываются.

— Нѣтъ, ужь ты мнѣ не говори лучше, кругомъ виновата, тарантила мать.

— Да я, маменька, къ ней привыкла, ломаясь говоритъ дочь.

— И другая не хуже причешетъ. А на что это въ

самомъ дѣлѣ похоже? Ну, одинъ разъ еще ничего, а то вотъ ужь третій годъ. Да она скоро въ вашей комнатѣ рожать начнетъ, а по вашему все ничего. Вѣдь вы не маленькія, чего вы при ней не насмотритесь...

Чортъ ихъ побери, еще, пожалуй, скажутъ, что подслушиваю, подумалъ я, и опять пошелъ въ залъ. Откуда-то возлѣ меня вывернулся Егоръ Ивановичъ и съ заискивающей улыбкой легонько потрепалъ меня по бокамъ.

— А то усните часокъ—головѣ свѣжѣй... И для варенія желудка... мягко, вкрадчиво говорилъ онъ, какъ будто хотѣлъ пролѣзть мнѣ въ ухо.

— Нѣтъ, очень благодаренъ, я никогда не сплю послѣ обѣда.

— Поживете, Сергѣй Николаевичъ, у насъ, привыкнете.

— Очень можетъ быть, сказалъ я... да вы кажется стѣсняетесь? Вы вѣдь спите послѣ обѣда? пожалуйста не церемоньтесь со мной, я вотъ въ садъ пойду.

— Марья Герасимовна! крикнулъ Егоръ Ивановичъ.

— Въ балконныхъ дверяхъ показалась Марья Герасимовна и вслѣдъ за нею обѣ дочери.

— Гостя вотъ, Сергѣя Николаевича, займите. Это по твоей части, Сашенька, добавилъ онъ, обращаясь къ одной изъ дочерей и указывая на меня.

Сашенька сдѣлала какое-то движеніе сперва головой, потомъ животомъ.

— Имъ съ нами скучно будетъ, замѣтила Марья Герасимовна, и умилительно посмотрѣла на меня.

— А вы ужь, Сергѣй Николаевичъ, извините меня, улыбаясь и сѣменя ногами, проговорилъ Егоръ Ивановичъ и исчезъ. Я остался съ дамами. Мы вышли на балконъ.

— Ахъ, сколько непріятностей *съ этимъ* народомъ, начала Марья Герасимовна, величественно выступая во-

злѣ меня. Вы не можете себѣ представить всего, что мы терпимъ. Егоръ Ивановичъ такъ добръ, и они пользуются его слабостью. Это совсѣмъ другой народъ сталъ послѣ манифеста... Согласитесь, у меня двѣ дочери—взрослыя дѣвицы, оскорбленнымъ голосомъ и уже шопотомъ говорила Марья Герасимовна.

— Да что такое случилось? спросилъ я. Вѣдь я ровно еще ничего не знаю?

— Ахъ! у насъ случилась пренепріятная вещь... нашъ поваръ вышелъ изъ повиновенія... онъ въ непозволительной связи съ одной горничной... Ахъ, это ужасная вещь! на распѣвъ говорила Марья Герасимовна и дѣлала видъ, что застыдилась.

— Да вѣдь это такая обыкновенная вещь, что же тутъ особеннаго.

— Противный, вы всѣ такіе... мужчины... но вѣдь... дѣвицы... и Марья Герасимовна опять умилительно посмотрѣла на меня.

Я улыбнулся и взглянулъ на нее съ боку. Что она, ужь не кокетничать ли со мною вздумала, подумалъ я,—этого еще недоставало...

Двѣ дочери—взрослыя дѣвицы, съ тяжелыми бурыми косами, шли шагахъ въ пяти впереди насъ. Прошло съ минуту молчанія.

— Alexandrine, заговорила Марья Герасимовна.

Александрина оглянулась, посмотрѣла на мать, потомъ, чрезъ плечо, на свой подолъ.

— Это тебѣ не дѣлаетъ чести, посмотри, какъ дорожки заросли. Ты бы приказала вычистить ихъ.

— Я говорила Кузькѣ, — онъ не чиститъ, скороговоркой отвѣчала Alexandrine.

Марьи Герасимовна вздохнула. — Да, это общее несчастіе, начала она.—Просто отъ рукъ отбились. Вы не повѣрите, что только дѣлается теперь. Ужасъ, продол-

жала она, обращаясь ко мнѣ: — все пьяно, грубятъ, ничего не работаютъ и барскую волю ни во что не ставятъ. Мы вышли на площадку, усыпанную пескомъ; мелкая, тощая, зеленая травка пробивалась сквозь этотъ песокъ. Губастый сонный малый, лѣтъ двадцати, апатично счищалъ ее скрябочкой.

— Ну вотъ, маменька, спросите сами у него, отчего онъ не чиститъ дорожки;—я ему нѣсколько разъ приказывала, проговорила Александрина.

— Кузька, отчего ты барышни не слушаешься? повелѣвающимъ тономъ спросила его Марья Герасимовна.

— Я ихъ завсегда слушаюсь, отвѣчалъ Кузька и снялъ шапку.

Марья Герасимовна тяжело вздохнула, посмотрѣла на Кузьку и покачала головой.

— Ну вотъ я очень рада,—вы теперь сами видите—ну легко ли подобныя вещи выслушивать отъ *нихъ*, проговорила она, обращаясь ко мнѣ.

Мы повернули назадъ и такимъ же церемоніальнымъ маршемъ воротились на балконъ. Я услышалъ, что пробило 6 часовъ.

— А гдѣ же баринъ? спросилъ я у какого-то лакея.

— Въ кабинетѣ-съ. Изволятъ вставать-съ.

— А вы такъ и не спали? спрашивалъ меня Егоръ Ивановичъ, когда я вошелъ къ нему въ кабинетъ. Одинъ лакей подавалъ ему умываться, а другой, обхвативъ его сзади черезъ кресло, придерживалъ на его локтяхъ рубашку, чтобы она не замочилась.

— Скажите, пожалуйста, Егоръ Ивановичъ, что же такое у васъ случилось?—вы какъ-то... неопредѣленно пишете, спросилъ я его.

— Какъ что? Отъ рукъ просто отбились... терпѣлъ, терпѣлъ, ну сами знаете, вышелъ изъ терпѣнія. Вотъ и послалъ за становымъ, за посредникомъ, за вами. Вы

ужъ, господа, пожалуйста хорошенько... просто отъ рукъ отбились.

Наконецъ, проснувшіяся власти, приглашенныя хозяиномъ, одна за другой собрались въ кабинетѣ Егора Ивановича и рѣшили, что присутствіе откроется гдѣ-то въ сараѣ. Становой отправился распоряжаться. Велѣли позвать понятыхъ, принести столъ, стульевъ, чернилъ, бумаги; но *преступника* не призывать. Я въ окно смотрѣлъ, какъ это все отправлялось въ сарай. Лѣнивой гурьбой пошли туда понятые; впереди шелъ становой, съ двумя разсыльными, два лакея несли раскрытый ломберный столъ. Что-то таинственное на всемъ, у всѣхъ на лицахъ такъ и читаешь: что батюшка, въ чемъ дѣло?..

— Вы бы, Егоръ Ивановичъ, приказали туда воды подать, да чего нибудь къ ней — хересу что ли — пить смерть хочется, проговорилъ Григорій Никоноровичъ (посредникъ).

— Въ жаркіе лѣтніе дни сильная жажда бываетъ, прочиталъ батюшка и поправилъ бороду.

Егоръ Ивановичъ побѣжалъ за хересомъ, а я пошелъ въ сарай. Въ передней меня остановилъ Иванъ Меркулычъ.

— Чортъ ихъ знаетъ; никто ничего толкомъ не говоритъ. Тутъ, говорятъ, штука, шопотомъ продолжалъ Иванъ Меркулычъ. — На повара-то барыня взъѣлась не даромъ.

Въ огромномъ сараѣ, посрединѣ, былъ поставленъ ломберный столъ, нѣсколько стульевъ кругомъ, два уже были заняты. У дверей сарая безъ шапокъ стояли старики-понятые. *Сутъбѣдный* идетъ, послышалось между ними. (Въ нашей сторонѣ мирового посредника зовутъ или *Мирскимъ*, или *посредственникомъ*, а судебнаго слѣдователя—*Сутъбѣднымъ Слѣдственникомъ*).

— Что, други, спросилъ я, съ утра небойсь маетесь здѣсь?

Толпа зашевелилась. — Съ полудня, отвѣтило нѣсколько голосовъ. Я подошелъ къ становому.

— Скажите, пожалуйста, въ чемъ тутъ дѣло?

— А вы развѣ не знаете?..

— Совершенно ничего.

— Люди у помѣщика отъ рукъ отбились...

— Такъ зачѣмъ же меня-то сюда призвали? Вѣдь это не мое дѣло?

— Нѣтъ-съ, тутъ и по вашей части тоже есть-съ... одинъ, а именно поваръ Василій Семеновъ, кромѣ неоднократныхъ грубостей своему помѣщику замѣченъ еще въ покушеніи на самую жизнь его... потомъ онъ же замѣченъ помѣщикомъ и *въ снохачествѣ*. При этомъ становой очень картинно объяснилъ, что преступленія эти чрезвычайно гнусныя, что имъ даже звѣри безсловесные, и тѣ не предаются.

Въ сарай вошелъ Егоръ Ивановичъ, посредникъ и попъ.

За посредникомъ малый несъ трубку, четверку жукова табаку и какой-то ящикъ—съ цѣпью, какъ это оказалось послѣ. За батюшкой шелъ дьячокъ въ своей татарской пуховой шляпѣ, съ эпитрахилью въ рукахъ. Еще немного погодя, лакей принесъ графинъ съ водой, два стакана и бутылку хереса; все это поставили на столъ.

— Можно, я думаю, и *приступить*, проговорилъ батюшка.

— Конечно, вздрагивая отвѣтилъ ему Григорій Никоноровичъ, и налилъ въ стаканъ хересу.

Въ сарай ввели скованнаго маленькаго блѣднаго человѣка, на видъ лѣтъ около 50, въ бѣломъ изорванномъ сюртучкѣ, въ старенькихъ сбитыхъ сапогахъ.

— Ухъ... извергъ! проговорилъ Егоръ Ивановичъ, взглядывая на повара.

Извергъ хотѣлъ подойдти къ батюшкѣ подъ благословеніе, тотъ откинулся отъ него къ спинкѣ стула.—Отойди, недостойный, съ величественной осанкой проговорилъ попъ. На жалкомъ, измученномъ лицѣ изверга выразилось какое-то отчаяніе. Посредникъ выпилъ стаканъ хересу и налилъ другой. Егоръ Ивановичъ что-то шопотомъ говорилъ становому. Тотъ одобрительно кивалъ ему головой.

— Егоръ Ивановичъ, началъ я, пора же наконецъ вамъ сказать, въ чемъ дѣло. Быть можетъ, мнѣ и дѣлать здѣсь нечего?

— Да вотъ сей часъ-съ, и онъ торжественно началъ разсказъ о преступленіяхъ повара. Поваръ молчалъ. Блѣдный, какъ-то опустившійся весь, онъ стоялъ, свѣсивъ голову на грудь. Вотъ-вотъ сейчасъ упадетъ, думалъ я, смотря на него. Въ сараѣ была мертвая тишина.

— Ну-съ, до неповиновенія мнѣ никакого дѣла нѣтъ, сказалъ я:—это вотъ посредниково дѣло.

— Я ему съ головы до пятокъ всю шкуру спущу. Я этотъ народъ умѣю учить, хе, хе, хе.

Я взглянулъ на него. Воловьи глаза его начали наливаться кровью, и еще одинъ стаканъ хересу былъ выпитъ.

— Это дѣйствительно такъ-съ; это посредникъ разберетъ, заговорилъ Егоръ Ивановичъ, а вы вотъ насчетъ покушенія его на мою жизнь и потомъ-съ объ оскорблечести жены моей, а его барыни, и... Егоръ Ивановичъ запнулся.

— И? вопросительно повторилъ я.

— Я выговорить боюсь это преступленіе, съ едва замаскированной грустью говорилъ Егоръ Ивановичъ... Онъ въ непозволительной связи съ своей *снохой*. Троихъ уже отъ него родила, тихо добавилъ онъ.

— Какія же у васъ доказательства?

— Самъ, батюшка, засталъ ихъ—какія же тутъ еще

доказательства нужны, съ злобной усмѣшкой говорилъ Егоръ Ивановичъ.

— Ну, а еще, кромѣ васъ-то, видѣлъ кто-нибудь?

— Да зачѣмъ же это вамъ? Егоръ Ивановичъ уставилъ на меня свои востренькіе глазки; улыбка уже сошла у него съ лица.

— И это не по моей части, сказалъ я. Вотъ вы что-то еще о покушеніи на вашу жизнь...

— Да-съ, онъ неоднократно покушался на мою жизнь.

— Ну, а тутъ какія же доказательства?

— Да вы сами разберете, запинаясь говорилъ Егоръ Ивановичъ; дѣло чистое... покушался.

— Да какъ же было-то?

— Солью обтирался и потомъ эту же соль въ кушанье клалъ. Егоръ Ивановичъ взглянулъ на меня.

— Какъ обтирался?

— Да такъ: возметъ соль въ горсть и все тѣло оботретъ, а потомъ въ кушанье эту соль.

Я рѣшительно не могъ понять, что за чепуху онъ поролъ.

— Скажи пожалуйста, что это такое — какъ это ты солью обтираешься? для чего это ты дѣлаешь? спросилъ я у повара.

— Виноватъ-съ. И его измученная фигура упала къ моимъ ногамъ. Я такъ и вскочилъ со стула.

— Хе, хе, хе! расхохотался становой:—испугались— это ужь привычка такая у этого народа.

— Явите божескую милость, стоналъ поваръ, ловя мои ноги.

Я насилу заставилъ его подняться.

— Ну говори, съ чего же ты взялъ солью-то обтираться? спрашивалъ я:—что ты хотѣлъ, отравить, что ли?..

— Помилуйте, батюшка, отчаянно вопилъ поваръ:— да развѣ можно отравить солью?

— Такъ зачѣмъ же это дѣлалъ?

— Да барыня изволятъ придираться...

— Ну?

— Меня и научили: ты, говоритъ, возьми соли, оботрись ею, да и положи въ кушанье — какъ рукой сниметъ; я, батюшка, ихъ рѣчей-то и послушалъ.

— И только?

— Ей Богу, только-съ, и поваръ поднялъ на меня свой умоляющій, отупѣвшій взглядъ.

Я взглянулъ на Егора Ивановича.

— Извините, сказалъ я, мнѣ тутъ нечего дѣлать.

— Какъ нечего?—помилуйте: покушеніе на жизнь— уголовное преступленіе и, наконецъ, самимъ помѣщикомъ замѣченъ въ непозволительныхъ связяхъ, вкрадчиво взглядывая на меня, говорилъ становой.

— Неужели вы это серьезно считаете покушеніемъ на жизнь? спросилъ я.

— А то какъ же-съ?

— Да вы развѣ не слыхали, что онъ говоритъ?

— Ха, ха, ха!.. помилуйте, да развѣ ему можно вѣрить, какой же преступникъ сознается самъ,—съ самой безсовѣстной наглостью говорилъ становой, утирая свое мокрое рябое лицо.

— Да тутъ и слушать-то нечего. Это и такъ очевидно, — что вы развѣ не знаете, что солью отравить нельзя?

— Все-таки *покушеніе,* стоялъ на своемъ становой.

Фу ты мерзавецъ какой, подумалъ я, всматриваясь ему въ лицо. Посредникъ молча сидѣлъ, вытаращивъ глаза на чернильницу. Батюшка шопотомъ бесѣдовалъ съ его письмоводителемъ. Какъ-то огоропѣвъ, съ замершими сердцами, стояли понятые, столпившись кучкой у раствореныхъ дверея сарая. Блѣдный, какъ словно къ смерти приговоренный, стоялъ поваръ шагахъ въ пяти

отъ стола; растрепанные волосы на лбу взмокли отъ холоднаго пота; глаза безсмысленно смотрѣли то на меня, то на понятыхъ.

— Уголовное преступленіе... началп опять становой.

— Ну, вотъ вы и занимайтесь открытіемъ подобныхъ преступленій, а я уѣду сейчасъ, и велѣлъ запрягать лошадей.

— Куда же это вы, робко заговорилъ Егоръ Ивановичъ?

— Домой.

— А слѣдствіе-то?

— Такихъ слѣдствій я не производжу; это шутовство и гадкое шутовство, насилу выговорилъ я.

— Григорій Никонoровичъ... Григорій Никонoровичъ, говорилъ Егоръ Ивановичъ, расталкивая посредника; тотъ молча поднялъ на него окончательно уже помутившіеся глаза, что-то промычалъ и опять опустилъ голову. Егоръ Ивановичъ съ какимъ-то отчаяніемъ посмотрѣлъ на меня, потомъ на становогo.

— Теперь вотъ пусть батюшка... насчетъ того, что вы его замѣтили въ непозволительныхъ связахъ-то, сказалъ становой.

Батюшка одобрительно склонилъ голову на грудь и потомъ опять поднялъ ее.

— Тебя какъ зовутъ? спросилъ онъ повара.

— Семенъ Васильевъ-съ, почти шопотомъ проговорилъ поваръ.

— Въ Бога вѣруешь?

— Вѣрую-съ.

— Нѣтъ, не вѣруешь, ибо ты... позоришь честное имя Христа, торжественнымъ голосомъ произнесъ онъ.— Апостолъ Павелъ говоритъ... батюшка сказалъ какой-то текстъ съ непонятнымъ для меня смысломъ.

— Воля ваша-съ, сказать все можно... я не виноватъ, глухо говорилъ поваръ.

— Молч...а...ть, прошипѣлъ становой, впиваясь въ него своими зелеными глазками.

Посредника между тѣмъ растолкали; онъ очнулся, какъ-то дико обвелъ всѣхъ глазами, вздрогнулъ и потянулся за хересомъ.

— Они отказались производить слѣдствіе, тихо говорилъ ему Егоръ Ивановичъ, указывая на меня. Посредникъ подержалъ немного глаза на мнѣ и уставился на повара.

— Ну такъ что же—мнѣ значитъ надо за него приняться...

— Оправдывается всё, улыбаясь шепталъ ему Егоръ Ивановичъ.

Посредникъ кивнулъ разсыльному.

— *Соленыя* у насъ есть съ собой? спросилъ онъ.

— Есть-съ.

— Подай, и опять уставился на повара.

Посредникъ подошелъ къ повару. Съ минуту онъ молча стоялъ предъ нимъ, слегка покачиваясь изъ стороны въ сторону. Все замерло; какъ-то глухо зашевелилась было толпа понятыхъ и тоже затихла. Въ сараѣ было уже почти темно. Солнце садилось. Заложивъ одну руку за спину, посредникъ другою, сжатою въ кулакъ, поднималъ за бороду опущенную на грудь голову повара. Сцена дѣлалась невыносимою. Я ничего не могъ говорить. Я чувствовалъ, что у меня голова начала кружиться и, задыхаясь, вышелъ изъ сарая.

Мой тарантасъ еще не былъ запряженъ.

Пока поили лошадей, да запрягали ихъ, я пошелъ въ садъ. Пусто, никого тамъ нѣтъ. Высокія плакучія березы тянулись длинной широкой дорожкой, совсѣмъ заросшей, запущенной. Я съ открытой головой шелъ подъ

ихъ тѣнью; нѣжныя, гибкія вѣточки какъ-то осторожно касались головы. Я раза два прошелъ взадъ и впередъ по этой дорожкѣ.

— Вотъ ужасъ-то, думалъ я. А это были еще только цвѣтики...

Садясь въ тарантасъ, я видѣлъ, что въ сараѣ зажгли уже свѣчку, слабо освѣщавшую всю группу: по прежнему у воротъ стояли старики-понятые, Богъ знаетъ для чего призванные сюда. И все на томъ же мѣстѣ сидѣлъ попъ. Только маленькая фигурка станового, да колоссальная тѣнь посредника двигались въ той сторонѣ, гдѣ стоялъ поваръ. Его я не видалъ... Когда я проѣзжалъ мимо сарая, вся эта компанія выходила уже оттуда.

— Постойте, погодите... одно слово, кричалъ Егоръ Ивановичъ.

Ямщикъ сдержалъ лошадей.

— Куда вы? хоть чаю-то напейтесь... мы ужь все кончили, весело говорилъ онъ. Вѣдь сознался.

— Въ чемъ? спросилъ я.

— Въ покушеніи на мою жизнь...

Я горько усмѣхнулся.

— А то останьтесь, — вѣдь чай готовъ, еще разъ проговорилъ Егоръ Ивановичъ.

— Нѣтъ, меня увольте: очень благодаренъ.

Съѣзжая со двора, я взглянулъ назадъ. Въ домѣ огни во всѣхъ окнахъ. На балконѣ чай готовили. Изъ сарая густой гурьбой понуря головы шли понятые...

II.

Такъ дня черезъ три послѣ этой исторіи я ѣхалъ на другое слѣдствіе въ огромное богатое село: все одни

государственные крестьяне тамъ живутъ. Помнится, съ чѣмъ-то двѣ тысячи душъ въ немъ и двѣ церкви и базаръ по воскресеньямъ.

У одной изъ церквей, какимъ-то бездѣтнымъ мѣщаниномъ, лѣтъ двадцать тому назадъ, построена богадѣльня—длинное, низенькое, бѣлое одноэтажное каменное строеніе съ узенькими, крошечными, рѣшотчатыми окнами и проржавѣвшей желѣзной крышей. Посреди строенія, въ углубленіи стѣны, помѣщенъ огромный, старинный образъ ужасной живописи: передъ образомъ и лѣто и зиму, и день и ночь лампадка горитъ; народъ свѣчки къ нему лѣпитъ; старый, сгорбленный, низенькій монахъ не монахъ, Богъ знаетъ, что такое, болѣзненно улыбаясь, кланяется прохожимъ и проѣзжимъ, позванивая колокольчикомъ у кошелька на палочкѣ.

Богадѣльня стоитъ шагахъ въ сорока отъ церкви, на большой дорогѣ, предъ базарной площадью. Если ѣхать мимо нея ночью, въ каждомъ окнѣ непремѣнно увидишь лампадку, слабо освѣщающую своимъ тусклымъ, красноватымъ огонькомъ внутренность маленькой грязной комнатки. Такихъ комнатокъ пятнадцать; въ нихъ живетъ вотъ этотъ монахъ, потомъ еще какой-то полусумасшедшій сторожъ церковный съ женою и двѣнадцать *черничекъ*—у каждой отдѣльная *келья*, т. е. вотъ такая грязненькая комнатка съ лампадкой. Знающіе люди говорятъ, что эта богадѣльня на монастырь похожа, только еще *прекраснѣе*... На что живутъ жильцы этой богадѣльни—никто не знаетъ. Никто не знаетъ также и того, по какому праву и откуда набрались эти жильцы. Едвали кто знаетъ, куда идутъ и деньги, что собираетъ монахъ, а денегъ онъ пропасть соберетъ, особенно по базарнымъ днямъ. Рано, гдѣ еще до заутрени, мѣщане только начнутъ съѣзжаться на базаръ, а онъ уже стоитъ у образа, кланяется, позваниваетъ,—ну и даютъ...

Если спросите *черничку*, на что она живетъ, чѣмъ занимается, отвѣтъ непремѣнно будетъ какой-нибудь вотъ изъ этихъ: *псалтыремъ*, скажетъ одна, т. е. это значитъ, что она псалтирь читаетъ по умершимъ. *Поручами* да *ризами*, скажетъ другая, т. е. шьетъ поручи да ризы въ церковь. *Книжкой*,—услышите отъ третьей, т. е. ходитъ съ книжкой, да собираетъ подать Богу съ православныхъ, а ужь на что идетъ эта подать — не знаю, да и узнать трудно.

Черничкой называется у насъ всякая дѣвушка, которой не посчастливилось выйдти за-мужъ, которая накрылась чернымъ шерстянымъ платкомъ, надѣла черное же ситцевое платье съ бѣленькими мушками, и на вопросъ, отчего замужъ нейдетъ—говоритъ, что предпочла *нетлѣнный вѣнецъ тлѣнному* и имѣетъ теперь жениха *прекраснѣйшаго* всѣхъ земныхъ жениховъ. Это значитъ она рѣшилась *душу спасать*, т. е. бросила семью, знаетъ лишь заутреню, да *раннюю*, да *позднюю*, да *вечерню*, да деревенскія сплетни... Черничекъ вообще не любитъ народъ. Не любятъ ихъ и въ семействахъ, изъ которыхъ они вышли; поэтому всѣ онѣ живутъ на квартирахъ, нанимая, за какой-нибудь полтинникъ въ мѣсяцъ, уголъ въ избѣ. Впрочемъ, иныя, особенно какія по старше, заводятся и своими избенками, чистенько прибираютъ ихъ; граматныя книгами духовными занимаются, а неграматныя ограничиваюся однимъ самоварчикомъ, лампадкой, постелькой помягче да поудобнѣй — бѣленькими скатерт-ками на столикѣ подъ образами. У иныхъ садики маленькие есть вокругъ избенокъ, и всѣ черной смородиной засажены.

— Отчего же вы другихъ ягодъ не садите? спрашивалъ я иногда.

— Да ужь такъ... и я то вся въ черномъ, да и ей то, такъ ужь знать отъ Бога показано, весь вѣкъ черной быть, смиренно объясняетъ черничка.

И довольныя своей судьбой, убѣжденныя, что спасаютъ души, таскаются по похоронамъ, по поминкамъ, да по окрестнымъ помѣщикамъ, особенно помѣщицкимъ вдовамъ или устарѣлымъ дѣвамъ, уже почувствовавшимъ припадки *дѣвичьяго озлобленія*—въ душѣ такимъ же точно *черничкамъ*, какъ онѣ сами. Есть между ними и такія, что и въ Іерусалимѣ побывали; ну ужь той конечно и предпочтеніе: она ходитъ между черничками, какъ крупная рыба между маленькими... Чаще всего чернички — мѣщанки. Безземельныя, бездомовныя семейства, какъ всѣ почти мѣщанскія, больше всего ихъ выпускаютъ. Изъ крестьянъ ихъ мало выходитъ; да иначе и быть не можетъ: крестьянскія семейства съ утра до вечера на работѣ, тутъ ужь *не до души*. Чернички—ягода чисто городская. А въ селахъ, да въ деревняхъ живутъ потому, что народъ простѣе, податливѣе, ну и сподручнѣе; въ городѣ до чего не дотронься, все надо купить, а въ деревнѣ совсѣмъ не то, особенно у вдовыхъ помѣщицъ... рай божій: только и знай, что душу спасай... Въ крутовской богадѣльнѣ бытъ ихъ нѣсколько отличенъ; не тѣмъ что хуже—тутъ свои удобства—а самыя удобства-то иныя. Тутъ что-то въ родѣ монастыря, есть какой-то уставъ, когда и кѣмъ сложенный — никто не знаетъ. Очередь у нихъ заведена кушанье стряпать. Такъ какъ съ книжкой ходить выгоднѣе всего, то и съ книжкой онѣ ходятъ, также чередуясь. Разумѣется, новенькимъ, да молоденькимъ книжки вовсе не даются. А есть и молоденькія, лѣтъ 16, 17-ти.

Три дня тому назадъ, т. е. въ тотъ самый день, когда разыгрывались сцены съ поваромъ у Телюлюева, здѣсь своя разыгралась драма еще получше той, только въ иномъ родѣ...

Былъ у насъ помѣщикъ, старикъ, страшно развратный, нѣсколькихъ любовницъ держалъ; у иныхъ и дѣти были отъ него. Умеръ онъ какъ-то вдругъ, завѣщанія по себѣ никакого не оставилъ; наѣхали наслѣдники, повыгнали любовницъ;—онѣ и остались ни съ чѣмъ...

Была у него въ числѣ ихъ одна уже не молодая дѣвушка, такъ, можетъ, лѣтъ двадцати трехъ-четырехъ; красавица, говорятъ, была. Сынъ у нея былъ трехъ лѣтъ. Она, какъ и всѣ, осталась ни съ чѣмъ, даже платья всѣ почти отняли у нея. Что дѣлать? Куда дѣваться? Вотъ и придумала она сына *въ люди отдать*, т. е. кому то съ рукъ сбыла: добрый человѣкъ нашелся, въ пріемыши взялъ... воспитать, уму разуму наставить; а сама въ Крутовскую богадѣльню пошла. Да не жилось ей что-то; грязно тамъ больно, ну, извѣстно, привыкла къ барской холѣ да нѣгѣ, а тамъ хоть и вольно, да грубо и скучно... Распродала она кое-что, что имѣла, и наняла отдѣльную квартиру. Конечно, не добромъ она разсталась съ другими *черничками*... Ѣздятъ къ намъ изъ Владиміра мужики съ съ образами. Иногда образа возахъ на трехъ возятъ. Пріѣхали купцы и въ Крутое. Проторговали дня два, три, и поѣхали себѣ дальше. А такъ, черезъ недѣлю что ли, по селу слухъ разнесся: образъ явился. Сбѣжался народъ, плачетъ, охаетъ и жертвуетъ: одной холстины бабы нанесли... ужасъ сколько: цѣлый ворохъ... Предъ образомъ Дарья Дмитріевна стоитъ, дивится, за приношеніе благодаритъ. А народъ-то такъ и кидаетъ, что у кого есть...

Дѣло было еще рано утромъ, до обѣдни; къ полдню народу еще больше привалило. Прибѣжали и чернички съ своимъ старцемъ изъ богадѣльни. Начали образъ разсматривать.

При этомъ завязался споръ. Дальше да больше и драка наконецъ. Старичишка чернецъ, разбѣсившись, уда-

рилъ Дарью Дмитріевну по головѣ. А та беременная была, упала на земь, начала родами мучиться, да такъ и умерла тутъ же... Сбѣжались деревенскія власти и порѣшили: къ мертвецамъ караульныхъ приставить. Двухъ гонцовъ послать, одного къ становому съ рапортомъ, другого ко мнѣ, т. е. къ *сутьбѣдному*. Гонецъ мужикъ отъ сотскаго пріѣхалъ въ Талинку уже часовъ въ 9 вечера, привезъ что-то въ родѣ рапорта, страшно безграмотно написаннаго. Я ничего не могъ изъ него понять. Ужъ мужикъ кое-что разсказалъ. Я сейчасъ же велѣлъ запрягать лошадей и поѣхалъ въ Крутое.

Какъ теперь гляжу на эту картину, что увидалъ, подъѣзжая сюда. Налѣво, саженяхъ въ тридцати въ сторону отъ большой дороги, надъ огромной равниной высокой поспѣвающей ржи, стоитъ кудрявая, раскидистая плакучая березка. Подъ березкой кругомъ собрался народъ, человѣкъ триста,—кто стоитъ, кто лежитъ. Какой-то глухой шумъ въ толпѣ... А тамъ дальше, за рѣкой, на крутомъ обрывистомъ берегу, — село. Высоко поднялись надъ нимъ двѣ бѣлыя церкви, залитыя лунпымъ свѣтомъ. Ночь была теплая, тихая, ни одинъ листокъ не дрогнетъ; словно сонная, глухо молчитъ безконечная ржаная равнина. Темно-синее небо часто иззвѣздило... Поровнявшись съ березкой, я вышелъ изъ тарантаса и пошелъ къ толпѣ. Вопросительно поглядывая на меня, мужики разступились и пропустили въ кругъ.

Шагахъ въ пяти отъ родника, на голой землѣ, подъ высокой рожью лежитъ убитая; сбоку у нея ребенокъ. Оба чѣмъ-то бѣлымъ покрыты. Нѣсколько кровяныхъ, уже засохшихъ пятенъ проступило сквозь полотно. Я подошелъ къ ней, взялъ кончикъ простыни, прикрывавшій ея голову, и взглянулъ въ лицо: правильное, хорошенькое, смуглое съ густыми черными волосами, заплетенными въ двѣ огромныя косы; воротъ черненькаго

платья разорванъ—высокая роскошная грудь вся открыта. Лежитъ точно живая, только не дышетъ...

Потянулъ теплый, легкій вѣтерокъ; мягкія, длинныя, тонкія какъ нитки, березовыя вѣточки слегка закачались; глухо зашептала рожь и волной наклонилась надъ убитой. Тѣнь отъ колосьевъ зашевелилась на ея лицѣ. Одинъ полузакрытый, остановившійся глазъ какъ-то страшно, тускло блеснулъ при мѣсяцѣ, точно взглянулъ на меня. Я невольно уронилъ конецъ простыни... Прибѣжалъ сотскій—маленькая востренькая фигурка, съ жиденькой бородкой, съ плутовскими глазками, съ палочкой въ рукахъ. Сейчасъ видно — человѣкъ бывалый—не разъ принималъ у себя судъ, знаетъ какъ и чѣмъ распорядиться.

— Ну что, чего собрались? Небойсь не видали? Кричалъ онъ на толпу, желая показать передо мной свою ревность къ службѣ.

Толпа, переминаясь съ ноги на ногу, начала расходиться.

— Что, ваше благородіе, не изволите знать, когда становой прибудетъ, спрашивалъ онъ меня.

— Не знаю, мой другъ, я почемъ-же знаю.

— Вотъ ужь второго послалъ, какъ будто про себя разсуждалъ онъ.

— Да онъ гдѣ?

— Становой-то?

— Ну да.

— Да все у Телюлюева.

— До сихъ поръ? съ удивленіемъ спросилъ я.

— До сихъ поръ-съ... *Слѣсвіе* завтра, батюшка, изволите начать... А тотеперь ужь поздно никакъ?..

— Разумѣется, завтра—когда же теперь...

— Извѣстное дѣло,—теперь когда же.

Къ намъ подошелъ Иванъ Меркулычъ.

— А ты, братъ, квартиру-то намъ небойсь не приготовилъ, спросилъ онъ у сотскаго.

— Насчетъ этого не извольте безпокоиться,—все ужь готово, размахивая руками, доложилъ онъ ему.

Мало по малу народъ весь разошелся; остались одни караульные, четверо мужиковъ съ огромными дубинами въ рукахъ.

— Что это вы, ребята, такія дубины съ собой принесли? спросилъ я у одного молодого, трехъ-аршиннаго парня.

— Все какъ бы веселѣй... съ нею-то, отвѣтилъ онъ, и тупо улыбнулся.

Сопровождаемый сотскимъ, я поѣхалъ на квартиру.

— Что, ваше благородіе, за лекаремъ прикажете въ городъ послать? спрашивалъ онъ меня.

— Это зачѣмъ?

— Покойницу-то развѣ не будете потрошить?

— Съ какой-же стати! Вѣдь всѣ знаютъ, что она убита?

— Какъ не знать—всѣ знаютъ.

— Ну, такъ зачѣмъ же? не надо.

— Оно конечно, зачѣмъ же, повторилъ сотскій.

— Свидѣтелей-то много было, при комъ ее убили? спросилъ я.

— Много-съ, все село, почитай.

— И ты тоже видѣлъ?

— Нѣтъ-съ, виноватъ, ваше благородіе, видать не видалъ, отвѣчалъ сотскій, снимая шапку.

— Я размѣлся. Такъ чѣмъ же ты виноватъ?

— Да конечно, какая моя вина. Чѣмъ же я виноватъ, повторилъ онъ. Квартиру онъ мнѣ отвелъ какъ разъ противъ богадѣльни. Проѣзжая мимо нея, я взглянулъ на образъ; маленькая лампадка тускло освѣщала

темную живопись. Въ дверяхъ показалась низенькая тѣнь. Робко зазвенѣлъ маленькій колокольчикъ.

— Кто это?.. развѣ *онъ* у тебя не арестованъ? спросилъ я у сотскаго.

— Никакъ нѣтъ-съ...

Да вѣдь онъ уйдетъ у тебя за ночь.

— Ну, куда ему уйдти...

— Какъ куда? Нѣтъ ты его ужь возьми подъ караулъ. Какъ же это ты не сдѣлалъ этого. Ты давно сотскимъ?

— Да вотъ ужь третій срокъ пошелъ.

— А порядковъ все-таки не знаешь.

— Какъ не знать—знать-то знаемъ.

— Такъ отчего же ты его не арестовалъ?

— Да все... бòязно, ваше благородіе, кабы простой человѣкъ...

— А этотъ какой-же, святой небойсь?..

— Ну, святой не святой, а все кто его знаетъ, какой онъ? и сотскій вопросительно посмотрѣлъ на меня...

Моя квартира была рядомъ съ поповской избой. Въ окнахъ у священника еще огонь былъ видѣнъ. Иванъ Меркулычъ пошелъ приготовлять, а я къ попу завернулъ. Авось, думаю, отъ него что нибудь узнаю о богадѣльнѣ: она съ своими темными обитателями сильно меня интересовала.

— Извините, батюшка, что такъ поздно тревожу васъ, началъ я, входя въ его довольно чистенькія комнатки.

— Ничего-съ, что такое... мы вотъ только поужинали, кротко отвѣчалъ попъ и показалъ рукою на неприбранный еще столъ.

— Что это, батюшка, за исторія у васъ тутъ случилась?..

— Да-съ... ужь такая, можно сказать...

Изъ за перегородки вышелъ кто-то высокій, стриже-

ный, должно быть, богословъ или что нибудь въ этомъ родѣ, въ нанковомъ сюртукѣ, поклонился и сѣлъ на стулъ съ плетенымъ сидѣніемъ.

— Я, вѣдь, батюшка, къ вамъ не просто какъ гость, мнѣ хотѣлось бы узнать отъ васъ кое-что, опять началъ я.

— Что же такое вы узнать желаете, и попъ лукаво посмотрѣлъ мнѣ въ глаза.

— Мнѣ хотѣлось бы узнать вашъ взглядъ на это дѣло. Вы вѣдь хорошо знаете всю эту исторію?..

— Да какой же взглядъ?.. Извѣстно... Правосудный отецъ нашъ небесный явилъ славу свою... Дерзкая погибла отъ руки старца Пахомія... И опять такой кроткій и лукавый взглядъ...

— Отъ воли божіей никуда же. Глухимъ басомъ проговорилъ стриженный богословъ, кашлянулъ, плюнулъ и растеръ ногой запачканное мѣсто...

— Да-съ, промычалъ я, и хотѣлъ было уже удалиться. Вѣдь не оставаться же дослушивать. Иванъ Меркулычъ предупредилъ меня, самъ пришелъ за мною...

— Прощайте, батюшка.

— Спокойной ночи-съ, умильно проговорилъ попъ, придерживая лѣвой рукой широкій поясъ на животѣ.

Въ сѣняхъ моей избы меня встрѣтилъ сотскій.

— Ну что, старца-то арестовалъ? спросилъ я.

— Засадилъ-съ, радостно улыбаясь и какъ-то пошевеливая пальцами, отвѣтилъ онъ.

— Ну вотъ такъ-то, братъ, ладнѣе.

— Какъ не такъ—извѣстно ладнѣе.

Я стоялъ въ сѣняхъ—напротивъ богадѣльни; тусклые огоньки едва свѣтились въ окнахъ.

— А что, какъ ты думаешь, спросилъ я сотскаго:— за что онъ ее убилъ?

— Кто его знаетъ, ваше благородіе... разное болтаютъ...

— Ну а ты-то какъ думаешь? а?..

— Да извѣстно-съ... потому, значитъ, что *усердственниковъ* какъ бы не отбила...

— То-есть, что ей будутъ больше жертвовать: у него доходъ отобьетъ?..

— Точно такъ-съ.

Гдѣ-то, еще далеко на большой дорогѣ, зазвенѣлъ колокольчикъ, сотскій встрепенулся.—Никакъ становой, прошепталъ онъ, прислушиваясь къ колольчику.

— Онъ; его колокольчикъ я ужь знаю, немного помолчавъ, проговорилъ сотскій, тяжело вздыхая и улыбаясь.

Я пошелъ въ избу. Сотскій не ошибся. Колокольчикъ былъ становаго. Онъ остановился у попа; они съ нимъ большіе пріятели, какъ я узналъ это послѣ. Засыпая, я долго слышалъ, какъ сперва все позванивалъ колокольчикъ, а потомъ явились бубенчики; это отецъ благочинный пріѣхалъ. Все это на ночь свалило къ попу; со всей этой компаніей я встрѣтился уже на другой день, утромъ, часовъ въ 11, у родника подъ березкой.

Я пришелъ туда раньше всѣхъ. Обѣдня только что кончилась; народъ пестрою толпою сходилъ съ паперти. Былъ праздникъ. Изъ церкви все потянулось къ роднику — икону смотрѣть, сказали мнѣ нѣсколько человѣкъ.

Подъ березкой была уже огромная толпа любопытныхъ. И все это разодѣтое, пестрое, смотрѣло съ какимъ-то тупымъ, равнодушнымъ довольствомъ на лицахъ. Подъ хмѣлькомъ иные.

Начались допросы. Я сперва, не записывая даже показаній, разузналъ кое-что о самой богадѣлнѣ, о *черничкахъ*, о томъ, что за господинъ этотъ *старецъ*, и т. д.

— Вѣстимо, иконой живетъ, говорили мужики, переминаясь съ ноги на ногу:—народъ усердствуетъ...

— И много соберетъ онъ?

— Да кто жь его знаетъ — развѣ онъ намъ сказываетъ...

— Ну, однако, вы вѣдь видите же. Ну сколько примѣрно-то?

— Кто его знаетъ. Въ праздникъ-то все, пожалуй, цѣлковыхъ пять соберетъ...

— Вона-пять. Намедми при мнѣ—Ивана Васильевича знаешь?

— Какого? дегтярника, что ль?

— Ну да.

— Знаю. Какъ не знать. Изъ Козлова-то?..

— Ну, ну, ну! При мнѣ, братецъ ты мой, приложился къ иконѣ, свѣчку значитъ поставилъ, а на блюдечко красненькую выложилъ. Отъ усердія моего, говоритъ.

— Ну!..

Мужики начали спорить. Я не унималъ. Странно устроенъ русскій мужикъ; начни спрашивать — никогда ничего прямо не выскажетъ; зато въ спорѣ, особенно когда подъ хмѣлькомъ—все дочиста выболтаетъ. Такъ и теперь. Также изъ спора я узналъ, что *чернички на сторону ходятъ*, т. е. грѣшнымъ плотскимъ дѣломъ занимаются. — Узналъ я, что какая-то Афимья, *баютъ*, родила будто, а ребенокъ гдѣ, никто не знаетъ...

— А отъ кого она родила?—спросилъ я.

— Кто, Афимья-то?

— Ну да.

— Да кто же ее знаетъ. Народу мало развѣ. На что другое, а на это-то охотниковъ всегда найдется.

— Ну, а слухъ-то на кого?

— Разное болтаютъ. Слухамъ развѣ можно вѣрить.

— Какъ можно. Сбрехать все можно, заговорило нѣсколько голосовъ почти разомъ.

Я съ полчаса пробился, а узналъ все-таки. Мнѣ назвали какого-то *Микитку*-коновала... у одного помѣщика, здѣсь же недалеко, при конюшнѣ живетъ. Дѣло затягивалось, запутывалось, интересу все больше прибавлялось.

— Становой идетъ съ попами, послышалось въ толпѣ. Народъ разступился, и передъ мной вывернулась уже знакомая фигурка станового: рябенькая, потная, съ маленькими живыми глазками, съ щетинкой подъ бородой.

— А я думалъ, вы въ церкви будете, весело началъ онъ.

— Нѣтъ-съ, я какъ проснулся, прямо сюда пошелъ.

— Вѣдь сегодня праздникъ большой, какъ бы съ укоромъ, замѣтилъ онъ.

— Да-съ, большой, проговорилъ я, перечитывая какое-то *показаніе*.

— Какъ же это вы, развѣ безъ *дознанія*... хотите производить?

— Да-съ, зачѣмъ же дознаніе? безъ дознанія, повторилъ я рѣшительно, и поднялъ на него глаза.

— Какъ же-съ это, задыхаясь и тревожно поглядывая на меня, продолжалъ становой.

— Какъ?.. А вотъ, какъ видите... и я опять посмотрѣлъ на него.

Становой окончательно растерялся, онъ мнѣ ничего на это не сказалъ, вспотѣлъ и началъ утирать лицо.

— Какъ же-съ это?.. все шепталъ онъ.

Толпа опять разступилась. Въ кругъ вошелъ крутовскій попъ и съ нимъ еще другой,—отецъ благочинный, въ скуфьѣ, т. е. въ лиловенькой остроконечной шапочкѣ и въ одномъ подрясникѣ. Я рѣдко видывалъ людей съ болѣе непріятнымъ лицомъ: большое, круглое, розовое,

съ бѣлыми бровями, съ жиденькой свѣтленькой бородкой—кажется и сотни волосъ въ ней не было, съ довольно большимъ багровымъ носомъ, съ свѣтло-сѣрыми, мутными, апатичными глазами... Да и вообще вся фигура... колоссальнаго роста, съ огромнѣйшимъ животомъ. На животъ положенъ широкій, четверти въ полторы, шитый *поясъ*, и какъ разъ на techсерединѣ его вышитъ большой яркій розанъ. Благочинный медлено, выставивъ животъ, двигался: точно будто онъ ходилъ за нимъ. А возлѣ него почтительная физіономія крутовскаго попа.

Благочинный явился не къ слѣдствію, а собственно по случаю иконы.

— Гдѣ же эта убитая-то? спросилъ онъ, подходя къ покойницѣ. Эта что ли? Ну-ка, откройте-ка...

Ему откинули покрышку, онъ довольно долго, молча, смотрѣлъ на нее.

— А вѣдь я знавалъ ее. Да вѣдь и ты, Василій Степановичъ, помнишь ее, небойсь? продолжалъ онъ, обращаясь къ становому.

— Еще бы! дѣвка *огонь* была, говорилъ становой и какъ-то скверно осклабился.

Я молча смотрѣлъ на эту грязную сцену.

— Отецъ Иванъ, проговорилъ наконецъ благочинный, обращаясь къ крутовскому попу, что же, когда ее хоронить будешь?

— Да вѣдь это вотъ какъ они, безъ *свѣдѣнія* вѣдь... говорилъ отецъ Иванъ, поглядывая на меня... можетъ анатомировать еще будутъ?..

— Нѣтъ-съ, зачѣмъ же; вѣдь всѣ знаютъ, что она убита.

— Да вѣдь онъ ее, говорятъ, только толкнулъ—а у нея были и прежде припадки... да потомъ она еще можетъ отъ родовъ... началъ становой.

— Какъ-съ, отъ родовъ—помилуйте, что вы! Да ро-

дила-то она отчего же, какъ не отъ того, что онъ ее ударилъ, горячо вступился я.

— Да это мы почемъ же знаемъ — это докторъ — онъ какъ.

— Я руки опустилъ... Ну что тутъ станешь дѣлать. Ясно, что стачка.

— Ну такъ какъ же,—началъ я,—надо значитъ за докторомъ скорѣй.

— Да, конечно-съ. А-то какъ же-съ, безъ доктора?

— Такъ посылайте же. Сотскій гдѣ?..

— Вотъ онъ-съ, вскрикнулъ сотскій.

Написали—послали.

Жара начинала напирать. День былъ тихій, знойный, совсѣмъ безъ вѣтру — ни одинъ колосокъ не шевельнется. Солнце какъ разъ надъ головою, такъ и печетъ.

— И что вамъ это за охота на жарѣ — пошли бы въ ригу, тамъ бы и занимались, а то вѣдь здѣсь сгоришь просто, замѣтилъ становой.

Я воспользовался этимъ совѣтомъ и велѣлъ перенести туда столикъ. Благочинный пошелъ къ попу. Становой рысью догналъ меня.

— Что вы Пахомія не видали еще?

— Нѣтъ, а вамъ зачѣмъ это?

— Такъ-съ, спрашиваю...

— Я его вотъ сейчасъ велю привести къ допросу. Вотъ какъ только соберу и запишу всѣ показанія.

Становой началъ откашливаться — точно кто душилъ его.

— Знаете что, началъ онъ тихонько.

Я взглянулъ на него. Становой замолчалъ.

— Что такое? проговорилъ я.

— Если вы, быть можетъ, сами насчетъ того... такъ... оно-съ пожалуй можно.

Я пожалъ плечами.—Извините пожалуйста... что в хотите сказать?

— Вамъ быть можетъ неугодно... такъ вамъ можно—отстраниться вовсе... отъ слѣдствія-то... безпокойство...

Становой тревожно посмотрѣлъ на меня. Я улыбнулся.

— Что вы такъ заботитесь обо мнѣ, проговорилъ я. Нѣтъ, ужь позвольте кончить, что я началъ...

— Это какъ вамъ угодно-съ. Становой утеръ свое рябое лицо. Мы прошли нѣсколько шаговъ молча.

— Да-съ... вотъ ужь можно сказать несчастіе Господь-то посылаетъ на кого... опять заговорилъ онъ.

— Что такое?.. спросилъ я.

— Несчастіе, говорю-съ. Вотъ хоть бы насчетъ Пахомія-то...

— Т. е. что онъ убилъ-то ее и теперь попался?..

— Да помилуйте—кого это онъ убилъ!—вѣдь это говорятъ только.

— Что вы, какъ говорятъ? Всѣ въ одинъ голосъ подтверждаютъ, что онъ ее убилъ.

— Кто это, понятые вамъ говорили?..

— Да кого же спрашивать? Понятые, конечно.

— Ну почемъ они знаютъ?

— Я остановился. Что это вы за него такъ стоите? спросилъ я.

— Да какъ же—помилуйте, *старецъ*... беззащитный, можно сказать.

— А дерется?..

— Да вѣдь это такъ... въ пылу горячности — толкнулъ.

— Нечего сказать, хорошъ толчокъ!..

— Да что же-съ... Ее-то вы не воскресите, да и его-то понапрасну погубите...

— Я въ недоумѣніи посмотрѣлъ на становаго. Что же онъ хочетъ, подумалъ я—и спросилъ.

— Не губите его понапрасну... Становой сдѣлалъ жалобную физіономію.

— Т. е. дать ему возможность еще лѣтъ двадцать сосать народъ? помилуйте, что вы говорите — да вѣдь это піявка...

— Э, Господи!.. Ну откуда же 20 лѣтъ?.. ему и жить-то всего можетъ какихъ-нибудъ полгода осталось. Да и то сказать, разберите-ка по-христіански...

— По-христіански! повторилъ я смѣясь...

— Да правосъ... А онъ ужь...

— Я поднялъ глаза на становаго. Онъ тревожно улыбнулся.

— Да все про Пахомія... я говорю, онъ ужь не пожалѣетъ—становой заикнулся. Вчера отецъ Иванъ говорилъ, что онъ трехъ тысячъ не пожалѣетъ, почти что шопотомъ выговорилъ онъ, и что-то въ родѣ испуга изобразилось на его лицѣ. Онъ точно своихъ же словъ пугалася.

— Три тысячи! невольно воскликнулъ я.

— Да-съ.

Глаза становаго радостно загорѣлись. Онъ свободно вздохнулъ, какъ будто гора у него съ плечъ скатилась.

— Да откуда же онъ ихъ возьметъ?

— Хе, хе, хе!... Да ужь это не наше дѣло... Намъ подай, выложи, да еще поклонись, да пониже... Баловать-то ихъ нечего. Откуда?!.. Найдетъ, небойсь. А то вѣдь по песчаной дорожкѣ... хе, хе, хе!..

— Три тысячи, говорилъ я покачивая головой...

— Т. е. вѣдь ужь это на всѣхъ значитъ... Тугъ и доктору придется, и отцу благочинному...

Я такъ былъ пораженъ этимъ извѣстіемъ: монахъ, нищій, даетъ взятку въ 3,000 рублей,—что даже и не обратилъ вниманія на послѣднія слова становаго.

— Что такое вы говорите... доктору... благочинному... разсѣянно спросилъ я его.

— Да-съ, я говорю, что вѣдь это не вамъ однимъ-съ, а значитъ на всѣхъ-съ, на всю братію-съ, объяснялъ становой, вытаращивъ глаза и утирая свой вспотѣлый лобъ.

Онъ такъ увѣренно, такъ наивно объяснялъ мнѣ, что я невольно разсмѣялся. Обидѣться или разсердится на него не было никакой возможности.

— Нѣтъ-съ, проговорилъ я тихо. Это онъ ошибается... Мнѣ его деньги не нужны... Убійство я не стану скрывать.

Становаго эти слова какъ громомъ поразили. Онъ замолчалъ съ раскрытымъ ртомъ.

— Да не скрывать-съ... скрыть какъ можно... Съ нашимъ народомъ развѣ что можно сдѣлать... теперь ужъ всѣ узнаютъ, взволнованнымъ, перерывающимся голосомъ говорилъ онъ.

— Ну такъ что же?

— А значитъ, надо слѣдствіе-то такъ повести, растолковывалъ онъ мнѣ.

Онъ становился гадокъ. Я молча посмотрѣлъ на него и пошелъ въ ригу.

— Такъ что же-съ, развѣ не хотите?.. глухимъ, задыхающимся голосомъ крикнулъ онъ мнѣ.

Я ничего не отвѣчалъ и началъ допросъ понятыхъ и свидѣтелей, разумѣется, по одиначкѣ вызывая каждаго. Я уже не видалъ, куда дѣвался становой.

Свидѣтели, конечно всѣ, въ одинъ голосъ, повторили, что она умерла отъ ушиба... О припадкахъ никто и не слыхалъ изъ нихъ. Ну, теперь, вечеркомъ, и за Похомія можно приняться.

Я уже ознакомился съ дѣломъ. Я распустилъ свидѣтелей, понятыхъ, пообѣдалъ. Иванъ Меркулычъ тутъ же въ ригѣ, на сѣнѣ, послалъ мнѣ коверъ — я легъ отдох-

нуть немного. Вечеромъ вѣдь опять за работу. Я долго не могъ заснуть — нервы были возбуждены. И только было я началъ забываться, скрипнули ворота, и въ ригу тихо, осторожно, на цыпочкахъ, вошла *черничка*. Я открылъ глаза. Черничка сразу не замѣтила, гдѣ я лежу. Она довольно долго смотрѣла по сторонамъ, отыскивая меня глазами,—наконецъ нашла и такъ же тихонько подошла ко мнѣ. Она не видала, что я лежу съ открытыми глазами. Въ ригѣ было довольно-таки темно, а ей-то, вошедшей со свѣту, ужъ и подавно казалось потьмой.

— Что вы? спросилъ я. Вы ко мнѣ?

Черничка вздрогнула.

— Да, прошептала она, снимая платокъ съ головы. Я увидалъ ея хорошенькую, молоденькую головку, съ такой славной густой, темно-русой косой.

— Ко мнѣ? повторилъ я приподнимаясь на коврѣ. Что такое?..

Черничка сѣла и молча начала смотрѣть на меня своими большими, черными, бархатными глазками. Она сидѣла такъ близко возлѣ меня, что я чувствовалъ у себя на лицѣ ея дыханіе.

— Иванъ Меркулычъ, насилу проговорилъ я.

Черничка встрепенулась и отшатнулась нѣсколько отъ меня и, первое дѣло, начала покрываться. Къ намъ подходилъ Иванъ Меркулычъ.

— Вотъ, братецъ, исторія-то, началъ я.

Черничка судорожно вытянула ко мнѣ шею. Глаза широко раскрылись, она слегка кивала мнѣ головой, какъ бы говоря: молчи, не разсказывай.

Иванъ Меркулычъ подозрительно на меня посмотрѣлъ.

— Гдѣ это вы подцѣпили, проговорилъ онъ, никакъ хорошенькая—ну-ка, покажись—и онъ хотѣлъ было заглянуть ей въ лицо; она закрылась руками.

Я былъ до того подъ впечатлѣніемъ этой неожиданной сцены, что рѣшительно не могъ ничего ему объяснить. Черничка по прежнему сидѣла возлѣ, только ужъ не плакала и не смѣялась, а какъ-то строго смотрѣла на меня изъ подъ бровей... Волосы расплелись и выбились изъ подъ черненькаго платка, она поправляла ихъ рукой. И рука такая правильная, нѣжная.

— Да вамъ что нужно? нѣсколько очнувшись, опять началъ я спрашивать.

Чирничка молчитъ.

— Да скажите же, наконецъ. Вѣдь это смѣшно.

Иванъ Меркулычъ подозрительно ухмылялся: ишь ты какой вороватый, глаза отводитъ, говорила его усмѣшка. Сцена теряла всю свою таинственность, всю прелесть—дѣлалась просто пошлой. Я всталъ: черничка подняла на меня глаза. Я опять повторилъ свой вопросъ. Она немного подумала, вѣроятно о томъ, что ей—заплакать или засмѣяться, и тоже поднялась съ ковра.

— Ну что же?..

— Мнѣ надо вамъ однимъ сказать объ этомъ, наконецъ, тихо, едва слышно, проговорила она, скромно опустивъ глаза.

— Да говорите—здѣсь и то никого нѣтъ.

Черничка глазами показала на Ивана Меркулыча.

— Ничего—говорите.

И она объяснила мнѣ, что ее прислали чернички изъ богадѣльни просить меня, не раскапывать ихъ дѣла. — Становой сказалъ, что вы можете это все сдѣлать, добавила она и посмотрѣла на меня.

Я увѣренъ, что если бы здѣсь не было Ивана Меркулыча, она опять бы кинулась меня цѣловать. Это по глазамъ было видно: я на все готова, дѣлай, что хочешь, ну, цѣлуй... на!.. только оставь насъ въ покоѣ.

Какъ умѣлъ, я постарался ей объяснить, что этого

я никакъ сдѣлать не могу, и становой неправду говорилъ, подсылая ее ко мнѣ.

— Да меня не становой послалъ, тихо начала она.

— А кто же?

— Афимья...

— А!.. Вотъ она штука-то. Кто это Афимья, спросилъ я у Саши.

— Черничка.

— Да это она у васъ старшая, что ли?

— Старшая, и Саша собиралась заплакать. Я предупредилъ, сказавъ, что это будетъ совершенно безполезно. Она очень разсудительно послушалась.

Вотъ такъ сцена, подумалъ я, выходя изъ риги!.. Саша гдѣ-то за гумномъ незамѣтно исчезла.

Я велѣлъ позвать Пахомія.

Былъ уже вечеръ, когда я началъ его допрашивать. Я сидѣлъ въ избѣ, въ переднемъ углу. Передо мной горѣла маленькая, вонючая, самодѣльная сальная свѣчка, тускло освѣщавшая темныя бревенчатыя стѣны. Я по крайней мѣрѣ съ часъ прождалъ его. Наконецъ, дверь легонько скрипнула и въ нее тихо, почти не слышно, какъ кошка, вошелъ Пахомій, оглянулся и медленно началъ креститься на образа.

Глядя на него, никакъ нельзя было подумать, что этотъ господинъ вчера еще убилъ человѣка изъ самыхъ грязныхъ побужденій: лицо блѣдное, кроткое, невозмутимо-спокойное. Я началъ допросъ съ самаго начала — съ вопроса: кто онъ?

— Грѣшный рабъ Божій...

— Нѣтъ-съ, вѣдь это уже другое, заговорилъ я: вы вотъ скажите, къ какому изъ земныхъ сословій принадлежите.

— Смиренный Пахомій... едва внятно проговорилъ онъ.

— Вы меня не понимаете.—Вы кто: дворянинъ, купецъ, вы вотъ что мнѣ скажите.

— Родители мои, царство имъ небесное — Пахомій три раза перекрестился,—жили въ Кіевѣ, съ самаго младенчества, почувствовавъ усердіе, я... продолжалъ Пахомій.

— Опять-таки вы не то говорите. Это вы хотите разсказать о своихъ подвигахъ—объ нихъ рѣчь еще впереди, а вы вотъ потрудитесь сказать: кто вы такой.

— Что-съ, какъ будто не разслыхавъ моего вопроса, проговорилъ Пахомій, приподнимая на меня глаза. Я повторилъ.

— У нихъ — свой домикъ былъ-съ — небольшой на Подолѣ...

— Послушайте, началъ я, вы не шутите, шутками здѣсь нельзя отдѣлаться, говорите серьезно. Вѣдь такъ или иначе, а я добьюсь-таки: кто вы такой. Вы живете по какому виду?

— Кто?.. я-съ?..

— Ну да... конечно. Вѣдь рѣчь объ васъ идетъ.

— Глухъ я сталъ-съ... ужь лѣта мои... Я опять спросилъ, по какому виду онъ живетъ.

— Я при иконѣ...

— Да что же это, развѣ это такая должность, гдѣ могутъ безпаспортные жить?..

— Какой-же вамъ видъ?.. Вѣдь я мірскихъ дѣлъ... началъ Пахомскій, и запнулся.

— Однако-же вы вѣдь въ этомъ мірѣ живете, какъ же вы хотите быть исключеніемъ...

— Да что же-съ, что въ этомъ мірѣ... вѣдь здѣсь только плоть моя... съ улыбкой проговорилъ онъ.

Ну что тутъ прикажете дѣлать?.. я такъ и не добился, кто онъ, по какому виду живетъ, и перешелъ къ другому вопросу: чѣмъ вы живете? И тутъ опять та же исторія.

„Много ли мнѣ надо? Въ цѣлый день божій одной просфоры не употреблю“... и т. д.

— Ну, а куда идутъ деньги, что вы собираете?

— Да много ли ихъ-съ?..

— Однако?

Пахомій задумался и лукаво улыбнулся.

— На поддержаніе неугасимаго огня у лампады предъ святой иконой и на поддержаніе обители черницъ.

Я пристально посмотрѣлъ ему въ глаза. Что теперь сказать ему, что становой предлагалъ мнѣ отъ него взятку въ 3,000 р. сер., подумалъ я, и вспомнилъ, что вѣдь этимъ можно сразу или покончить дѣло или ужъ отложить всякія попеченія объ его успѣшномъ окончаніи. Я удержался.

Въ избѣ была мертвая тишина. Сальная свѣчка сильно нагорѣла; по ея чадному фитилю дрожалъ красноватый огонекъ. По стѣнамъ трепетно двигались темныя тѣни. Облокотившись на одну руку, я долго, молча глядѣлъ на него; Пахомій нѣсколько разъ вопросительно поднималъ на меня глаза...

— Ну такъ за что же вы ее убили? вдругъ, рѣзко сказалъ я, не спуская съ него глазъ.

Онъ слегка, какъ будто вздрогнулъ, но сейчасъ же оправился, на губахъ заиграла двусмысленная улыбка и онъ мягкимъ голосомъ проговорилъ: я въ этомъ неповиненъ... отъ крови ея... И онъ скорчилъ самую невинную рожу, ни одной жилкой не измѣнивъ своему спокойствію.

— Такъ отчего же она умерла?

— Мы всѣ подъ Богомъ ходимъ... вотъ сейчасъ живъ, а черезъ минуту... началъ Пахомій. Я перебилъ его.

— Послушайте, вѣдь мы не шутимъ... Вѣдь здѣсь было болѣе ста человѣкъ, всѣ видѣли, какъ вы ее ударили...

— Въ этомъ грѣшенъ—ударилъ.

— Ну она отъ этого-то и умерла — значитъ вы и убили ее.

— Нѣтъ-съ, умильно улыбаясь и покачивая головой, говорилъ Пахомій,—ударить я ударилъ, а умерла она— на то воля божія. Безъ воли божіей ни единый волосъ съ главы не спадетъ. Это ее Господь покаралъ за дерзость...

— Ну, а дрались-то вы зачѣмъ?

— Видъ у нея былъ дерзкій...

Когда я его спросилъ: изъ какихъ суммъ онъ предлагалъ взятку въ 3,000 р., онъ такъ ловко изумился: „Кто?.. я-съ?.. когда?.. съ удивленіемъ проговорилъ онъ.

— Ну да, вы, т. е. не вы сами, а становой за васъ.

— Да!.. Становой!.. не знаю-съ... и онъ невольно улыбнулся.

— Вы за эту недѣлю сколько собрали денегъ? спросилъ я, помолчавъ немного.

Это озадачило было его сперва, но онъ сейчасъ оправился.—Не знаю-съ... не помню... что собралъ, все цѣло: мнѣ для себя незачѣмъ беречь: для меня одной просфоры достаточно...

— Однако сколько? рублей 10 будетъ?

— Нѣсъ-съ... откуда же?..

— Какъ откуда, когда вамъ одинъ дегтярникъ далъ 10 рублевую бумажку... Помните третьяго дня?..

Пахомій съ удивленіемъ посмотрѣлъ на меня... Ахъ, да... истинно говорите... такъ точно... позапамятовалъ: старъ ужь сталъ, добавилъ онъ.

— Что же она у васъ цѣла еще?..

— Да куда же я ее дѣну?.. цѣла-съ.

— Гдѣ же она у васъ?—тутъ съ собой?

— Нѣтъ-съ, въ кельѣ.

— А что—ну какъ они всѣ вмѣстѣ у него лежатъ? мелькнуло у меня въ головѣ. Я вышелъ въ сѣни и кликнулъ сотскаго.

— Понятыхъ 12 человѣкъ.

Сотскій минутъ черезъ пять выглянулъ въ дверь: готово-съ.

— Такъ вы ужь покажите пожалуйста намъ ее, сказнлъ я, и мы всѣ гурьбой пошли въ богадѣльню.

— Что, ваше благородіе, сознается? спрашиваетъ сотскій вслухъ.

— Нѣтъ.

— Вотъ я бы на него Ивана Гавриловича напустилъ, онъ бы его...

— Кто это Иванъ Гавриловичъ?

— Исправникъ-съ.

— А что, развѣ хорошій сыщикъ?

— О-о-о! бѣдовый... у него сразу. Тотъ баловать не любитъ. Спросилъ, значитъ честью, разъ, другой, а ужь на третій не сознается, ну и бѣда,—умирай лучше... Да вотъ онъ небойсь не забылъ еще его, добавилъ сотскій, указывая головой на Пахомія.

— А что?

— Да пыль, значитъ, видѣлъ отъ него. И сотскій разсказалъ, какъ лѣтъ десять тому назадъ Пахомій увелъ со двора корову, а чтобы не замѣтили слѣда—дѣло зимой было—такъ онъ ее въ лапти обулъ—ну и выходитъ, точно два человѣка шли.

— Напрасная клевета, тихо роптала Похомій.

— Да, говори, напрасная! передразнилъ его сотскій. А тогда, небойсь, какъ отлупили-то, не то пѣлъ.

— Какъ, развѣ онъ высѣкъ?

— Гм... бѣда!.. страсть!..

— Пахомій слова не проронилъ. Онъ былъ блѣденъ. Когда мы проходили мимо образа, у котораго онъ обыкновенно собираетъ съ православныхъ, онъ перекрестился. Мы вошли въ длинный темный корридоръ. Одна стѣна была его наружная, другая вся въ дверяхъ — двери въ

кельи ведутъ, т. е. въ отдѣльныя комнатки, какъ въ гостинницахъ. Въ концѣ корридора слабо дрожалъ ночникъ, поставленный на полочку. Въ корридорѣ сырой, какой-то душный, подвальный запахъ. Шаги звонко отдавались по каменному полу. Изъ келій на насъ выглянуло нѣсколько любопытныхъ лицъ и сейчасъ же захлопнули двери. Пахоміева келья была въ самомъ концѣ корридора, какъ разъ у ночника; она была заперта на замокъ. Пахомій началъ отпирать ее дрожащими руками и насилу справился, едва отперъ. Ужасный, гнилой воздухъ пахнулъ мнѣ въ лицо, когда я вступилъ туда. Чего тамъ не было?.. Старые сапоги, восковые огарки, объѣдки пироговъ, кулечки съ пухомъ, гусиныя крылья — чортъ знаетъ что!.. Пахомій хотѣлъ было юркнуть, но я остановилъ его.

— Гдѣ же деньги, что вы собираете? спросилъ я.

— Они-съ... у меня-съ... голосъ задрожалъ слегко. На немъ, какъ говорится, лица не было,—весь блѣдный, даже позеленѣлъ какъ-то; губы трепетали и судорожно сжимались; глаза почти остановились: что-то отчаянное и вмѣстѣ зловѣщее тускло свѣтилось въ нихъ.

— Я самъ ихъ достану... пустите... насилу проговорилъ онъ—и онъ вытащилъ изъ подъ сундука маленькій кошелечекъ, дрожа весь, какъ въ лихорадкѣ, развязалъ его, вытащилъ изъ него нѣсколько сторублевыхъ асигнацій и началъ совать мнѣ въ руку... Но вдругъ лицо его измѣнилось, руки опустились, Пахомій зашатался, и безъ чувствъ упалъ на свою низенькую жесткую кровать.

Его вынесли на чистый воздухъ. Сотскій остался караулить его, а я съ понятыми перерылъ всю его конурку—отыскалъ еще три мѣшочка—во всѣхъ четырехъ было не болѣе 1,000 р. Остальныхъ не нашли. Пахомій скоро очнулся. Съ нимъ бредъ сдѣлался. Я думалъ, что онъ съ ума еще сойдетъ... На другой день, когда я про-

должалъ ему допросъ—онъ былъ уже совершенно спокоенъ и по-прежнему увѣрялъ, что „отъ крови ея неповиненъ“ и т. д. Очныя ставки съ свидѣтелями, присяга и т. подоб. конечно ни къ чему не повели; все ни почемъ, „неповиненъ“ да и только...

Докторъ пріѣхалъ уже на другой день послѣ обыска, вечеромъ—стало быть осмотръ тѣла, поневолѣ, отложили еще до утра. Докторъ былъ длинный, сухой, голубоглазый, губастый нѣмецъ съ сильно выдавшейся впередъ нижней челюстью. Онъ то и дѣло сморкался, страшно громко кашлялъ и плевалъ въ разныя стороны. Шумъ былъ отъ него ужасный. Я самъ не знаю, почему-то онъ мнѣ показался сперва отличнымъ человѣкомъ: онъ, должно быть, хорошій семьянинъ, думалъ я, разсматривая его... потомъ ужь я узналъ, что это за гусь.

Подъ березку къ убитой мы пришли рано утромъ—солнце только что вставало надъ рожью. Осмотръ тѣла кончился обычнымъ порядкомъ.

— Ну такъ что же вы полагаете причиной ея смерти?—спрашивалъ я доктора, когда онъ кончилъ осмотръ.

— Это сказать... это сказать... если руку на сердце положить... невозможно: либо отъ удара нанесеннаго... либо отъ родовъ... Нѣмецъ взглянулъ на меня.

— Да вы видѣли, какая рана у нея на вискѣ?

— О! это ничего не значитъ!.. И онъ разсказалъ мнѣ какой-то анекдотъ, какъ гдѣ-то жилъ человѣкъ съ выскобленнымъ мозгомъ.

Я замолчалъ.

— Вы станового видѣли? спросилъ я.

— Нѣмецъ долго смотрѣлъ на меня. А что, проговорилъ онъ.

— Такъ... онъ вамъ ничего не говорилъ?..

— Видѣлъ... да... Онъ мнѣ говорилъ... что онъ, т. е.

чернецъ, не виноватъ, и нѣмецъ опять посмотрѣлъ на меня и прищурилъ глаза.

— Въ свидѣтельствѣ докторъ написалъ, что, по всей вѣроятности, во время свалки ее кто нибудь толкнулъ въ животъ, отчего она и родила и умерла, а рана на головѣ не смертельная...

— Я не могу противъ совѣсти сказать,—все оправдывался онъ передо мной,—я дерптскій студентъ... ну и такъ дальше...

Въ этотъ же день я отправился въ богадѣльню.

— Гдѣ Афимья? спросилъ я у первой попавшейся мнѣ на глаза чернички.

— Она при смерти лежитъ...

— Ничего, проведите меня къ ней...

Черничка ввела меня въ комнатку. Комнатка раздѣлена перегородкой на двѣ. Какая-то маленькая, блѣдная дѣвочка, лѣтъ 13, выглянула изъ-за перегородки и сейчасъ скрылась опять. И эта маленькая дѣвочка одѣта тоже черничкой, т. е. въ черненькомъ же съ мушками платьицѣ изъ туго накрахмаленнаго ситцу, въ черненькомъ же шерстяномъ платкѣ, заколотомъ булавкой подъ бородой.

— Она при смерти. Тоненькимъ, плаксивымъ голосомъ бойко проговорила дѣвочка, опять выглядывая.

Я послалъ за докторомъ. Онъ пришелъ, посмотрѣлъ:— О! У этой ничего... у нее жаръ небольшой—это скоро пройдетъ... Вотъ та умерла не отъ удара нанесеннаго, а отъ... отъ родовъ... А... я не могу противъ совѣсти, все твердилъ онъ!..

Афимья была толстая, здоровая, должно быть, страшно наглая мѣщанка, но вмѣстѣ съ тѣмъ дура. На видъ ей было уже подъ сорокъ. Большіе бѣловатые глаза какъ-то дико смотрѣли. Она было начала притворяться что бредитъ, но это такъ грубо вышло—даже черничка засмѣялась. Изъ двери выглянулъ сотскій.

— Что ты?

— Микитку, ваше благородіе, привезли... (я посылалъ за нимъ еще наканунѣ).

Афимья сейчасъ же перестала бредить. Глаза у нея были все время закрыты; теперь она начала понемножечку одинъ раскрывать: ей должно быть хотѣлось взглянуть, тутъ ли *Микитка*. Я послалъ за нимъ. Такъ минутъ черезъ десять въ комнату вошелъ Микитка, бѣлобрысый, веселый молодой малый, ухарь,—въ синей поддевкѣ, ловко перетянутой ременнымъ наборнымъ поясомъ. Лицо такое простое, невольно располагающее.

— Что, ты ее знаешь?

— Извѣстно дѣло, какъ не знать, весело говорилъ онъ—знаю-съ.

— И давно?

— Съ прошлаго года-съ.

— А гдѣ вашъ ребенокъ?

— Виноватъ, сударь, *грѣшное* было между нами— отъ этого не отпираюсь—ей Богу, не знаю-съ. Микитка самодовольно улыбнулся. Сразу видно, что человѣкъ говоритъ откровенно, правду.

— Но однако ты слышалъ, можетъ быть, куда онъ дѣвался, спрашивалъ я, смотря на Афимью. Она блѣднѣла. Бредъ, стоны, все это уже кончилось, она внимательно прислушивалась къ нашему разговору — только глаза еще не открывала.

— Да я, признаться, тутъ же вскорѣ и бросилъ ее— не въ *моемъ нравѣ* она-съ, разсуждалъ Микитка...

Я невольно улыбнулся.

Съ Афимьей мы покончили очень скоро. Она сразу спуталась, дальше-больше... и все выболтала. Разсказала, какъ она родила, какъ задушила (пеленками), какъ хоронила его ночью...

Микитка безсмысленно слушалъ этотъ разсказъ. Когда

мы пошли къ тому мѣсту, гдѣ она закопала ребенка— онъ зашушукалъ съ какой-то смазливенькой черничкой.

Когда все это кончилось, мнѣ пришло въ голову написать къ губернатору. Все лучше, думалъ я, пусть дѣло это будетъ у него на виду, авось кончится какъ слѣдуетъ. У меня было какое-предчувствіе, что эти чернички и старецъ снова соберутся сюда. Я предлагалъ губернатору, нельзя ли въ эту богадѣльню перевести сельскую школу, а то она помѣщалась въ какой-то старенькой, хотя и подкрашенной избенкѣ... Мнѣ запрягли лошадей. Я пошелъ съ сотскимъ въ богадѣльню. Мнѣ хотѣлось присмотрѣться къ помѣщенію будущей школы. Я думалъ, что тамъ никого нѣтъ, и вдругъ услыхалъ звонкіе голоса, весело распѣвавшіе „Не бѣлы-то снѣги".

— Ишь ты, подлыя, пробурчалъ сотскій.

Оставшіяся чернички собрались въ одну келью, поставили самоваръ и ублажались чайкомъ. Онѣ совершенно не ожидали моего прихода, растерялись, повскакали. Между ними была и моя знакомая Саша-черничка. Она такъ лукаво-скромно поглядывала теперь. Тутъ же съ ними и маленькая дѣвочка, которую я видѣлъ у Афиміи. Я подозвалъ ее.

— Ну вы зачѣмъ тутъ? спросилъ я.

— Она начала лепетать, что у нея ни отца, ни матери нѣтъ, что *обрекла* себя Богу и т. д.

Ну чѣмъ же это все кончилось? вѣроятно спросите вы, читатель.

— Тѣмъ же, чѣмъ кончается все у насъ. Пахомій просидѣлъ съ полгода въ острогѣ, ужь какимъ-то способомъ нашли его невиновнымъ. Впрочемъ оставили *въ сильномъ подозрѣніи*.

1862 годъ.
Полинино.

Нантскія пулярки.

> Городъ Нантъ славится также своими превосходными пулярками, способъ откармливанія которыхъ составляетъ секретъ его жителей.
> Учебникъ географіи для средн. уч. зав., сост. Н. Евстафіевымъ.

I.

Нѣсколько лѣтъ назадъ, я гостилъ въ Орловской губерніи, у моего пріятеля, Алексѣя Ивановича Мутовкина. Дѣло было лѣтомъ, въ серединѣ іюля, какъ разъ въ самую высыпку дупелей. Мы ходили каждый день на охоту. Утромъ, гдѣ еще до солнца, даже до зари, только начнетъ небо бѣлѣть на томъ мѣстѣ, гдѣ солнцу вставать,— къ окну приходилъ его кучеръ, Яковъ, и стучалъ, пока кто нибудь изъ насъ не просыпался. Мы поспѣшно вставали, наскоро умывались, торопливо выпивали по стакану чая, осматривали сумки, ружья, садились въ телѣгу и ѣхали версты за двѣ, гдѣ у него дѣйствительно рѣдкія дупелиныя мѣста — мочежина въ нѣсколько верстъ по берегу рѣки, весной заливная, съ кочками, съ осочкой, съ красной ржавчинкой — самое ихъ раздолье. Обыкновенно мы туда ѣздили, вотъ, какъ я говорю, на телѣгѣ. Довезетъ насъ Яковъ,—мы пойдемъ въ болото, а

онъ домой вернется. Часовъ въ десять, когда ужь станетъ жарко, онъ пріѣзжалъ за нами на то же мѣсто и увозилъ насъ... Однажды, по какому-то случаю, онъ не пріѣхалъ. День былъ ужасно жаркій, солнце такъ и пекло, въ воздухѣ тишина, никакого вѣтерка—листочекъ ни одинъ не дрогнетъ. Мы прождали его чуть ли не цѣлый часъ и ужь рѣшились было идти домой пѣшкомъ по этакой жарѣ, какъ позади насъ, далеко на берегу, глухо раздался выстрѣлъ—точно кто кнутомъ щелкнулъ.

— Это кто же тамъ?

Какая-то фигурка моталась, но что за человѣкъ — разобрать нельзя было. Немножко погодя — опять выстрѣлъ. Потомъ еще и еще...

— Кто это потѣшается? Тамъ и нѣтъ ничего. Мы тамъ были сейчасъ..

Фигурка между тѣмъ приближалась къ намъ, росла. Мы лежали на берегу и наблюдали ее. А солнце такъ и палитъ, просто жжетъ даже.

— Пойдемъ. Ну шутъ съ нимъ совсѣмъ—намъ какое дѣло. Пойдемъ, позвалъ я.

Два выстрѣла одинъ за другимъ...

Мы опять начали всматриваться.

— Да что онъ тамъ нашелъ? Нѣтъ тамъ ничего...

— Это вотъ кто. Теперь я знаю...

— Кто?

— Ивана Петровича Синицына сынъ—вотъ кто.

— А кто это Синицынъ?

— Есть у насъ тутъ такой... Ну, да... онъ... говорилъ мой пріятель.

Фигурка приближалась. Можно было даже видѣть, что онъ блондинъ, совсѣмъ еще молодой человѣкъ, худощавый, какой-то нескладный, разгильдяй...

— Что онъ—гимназистъ что ли? сказалъ я.

— Гимназистъ... Знаешь что? Спросимъ у него—

если Иванъ Петровичъ дома — поѣдемъ къ нему. Онъ тутъ не далеко, то же что и до насъ—версты двѣ, ну, можетъ, три. Это прелюбопытный господинъ.

Мнѣ было все ровно—къ Синицыну, такъ къ Синицыну.

Молодой человѣкъ приблизился къ намъ шаговъ на сорокъ, узналъ сосѣда и, улыбаясь, началъ раскланиваться.

— Что это вы стрѣляете? крикнулъ ему мой пріятель. Мы сейчасъ прошли по этому мѣсту--тамъ ничего нѣтъ.

— Да такъ... птичекъ... что попало, отвѣчалъ онъ.

— А-а!.. А мы думали: что это онъ тамъ нашелъ такое? Иванъ Петровичъ дома?

— Дома.

Онъ подошелъ къ намъ и еще раскланялся.

— Присаживайтесь... Что онъ дѣлаетъ?

— Ничего... Имѣніе продаетъ...

— Какъ имѣніе продаетъ?

— Продаетъ... Мы въ Петербургъ уѣзжаемъ.

— Что это онъ вздумалъ? это съ какой стати?

— Обидѣлся, что мостъ за него починили, а потомъ деньги взыскали...

Мы оба съ недоумѣніемъ посмотрѣли на него.

— Нѣтъ, вы не вѣрите?—серьезно.

— Кому же онъ продаетъ?

— Огаркову. Знаете, тутъ его мельница недалеко.

Прошло нѣсколько мгновеній молчанія.

— Мы не помѣшаемъ, если поѣдемъ къ вамъ? сказалъ мой пріятель. Вотъ онъ хочетъ познакомиться...

— Чѣмъ же? Нѣтъ... А гдѣ же ваши лошади? оглядываясь по сторонамъ, спросилъ гимназистъ.

Оглянулись и мы... Якова все еще не было.

— Въ такомъ случаѣ вотъ что. Тамъ дальше въ заливѣ чья-то лодка стоитъ, мы на ней переѣдемъ на ту сторону и по межамъ прямо пройдемъ къ дому. На мостъ идти—это далеко.

Мы такъ и сдѣлали. Дошли до лодки, отвязали ее, выплескали ковшичкомъ набравшуюся въ нее воду, сѣли и поѣхали. Собаки поплыли за нами... На водѣ, въ полдень, когда вѣтру нѣтъ—еще жарче. Вода стояла какъ зеркало, гладкая, блестящая, съ отраженными въ глубинѣ облаками, небомъ. Солнце и сверху, солнце и снизу. Я снялъ свою соломенную шляпу и началъ горстью черпать воду и мочить голову.

— У васъ хорошее купанье? спросилъ я.

— Нѣтъ, у насъ рѣки нѣтъ. Мы или сюда ѣздимъ купаться, или изъ колодезя обдаемся. Въ прудѣ у насъ вода зеленая, съ лягушками. Только и годится цвѣты поливать. Какъ пріѣдемъ, я вамъ устрою изъ колодезя.

Мы переѣхали рѣку, оттащили лодку подальше, чтобы не уплыла, поднялисъ на довольно крутой песчаный берегъ и пошли по узенькой межѣ, заросшей травою, между двухъ стѣнъ высокой, совсѣмъ ужь поспѣлой ржи. Жара стала совсѣмъ невыносимой. Движенія воздуха въ этомъ корридорѣ не было ужь никакого. Только удушливый пыльный запахъ соломы. Ноги подгибались.

— Это еще далеко намъ такъ идти?

— Версты двѣ. Жарко сегодня... сказалъ гимназистъ.

Мы шли съ одной межи на другую. Онъ поворачивался для чего-то направо, налѣво. Поднимался на ципочки, чтобы видѣть поверхъ ржи. Наконецъ, одинъ разъ приподнявшись, сказалъ: ну, вотъ теперь скоро. Вотъ сейчасъ садъ будетъ. Я тоже поднялся на ципочкахъ и увидалъ темную зелень сада, какъ моремъ, окруженную со всѣхъ сторонъ рожью. Казалось, къ этому саду и дороги ни откуда нѣтъ.

— Гдѣ же она... дорога-то? спросилъ я.

— Въ эту сторону дороги у насъ нѣтъ. Папенька и съ той стороны только одну дорогу и оставилъ. Изъ-за этого онъ вѣдь и имѣніе продаетъ...

Наконецъ, рожь кончилась; передъ нами былъ высокій навозный валъ по ту сторону обвалившейся, заросшей бурьяномъ канавы. Гимназистъ очень ловко вскочилъ въ крапиву, потомъ поднялся на валъ и, улыбаясь, сталъ насъ приглашать послѣдовать его примѣру. Перелѣзли и мы. Перелѣзли и пошли по саду, безъ дорожекъ, прямо по травѣ. Это былъ собственно не садъ, а какой-то огромный кустъ, гдѣ какъ попало, но густо росли столѣтнія липы, дубы, березы, клены, кое-гдѣ яблони, рябина и все сплошь заросло крапивой, лопухами, вишенникомъ. Мы пробирались сквозь эту чащу и наконецъ выбрались на какое-то подобіе дорожки, но тоже не чищенной и также заросшей травою. На концѣ ея виднѣлся балконъ дома, съ непомѣрно толстыми бѣлыми деревянными колоннами. Сверху выглядывала соломенная крыша. Когда мы подошли совсѣмъ ужь близко, я увидѣлъ весь фасадъ покосившагося, вросшаго въ землю стариннаго барскаго дома средней руки. Такіе дома бывали у помѣщиковъ „душъ во-сто“. Кусты сирени, жимолости, воздушнаго жасмина росли подъ окнами, возлѣ самаго балкона, такъ что вѣтки лежали даже на ступенькахъ. Балконная дверь была отворена, но ни на балконѣ, ни въ домѣ, казалось, не было ни души. Передъ балкономъ мы остановились.

— Пойдемте же, сказалъ гимназистъ, и началъ подниматься. Съ этой стороны солнце, — папаша на томъ балконѣ сидитъ, а сестры, кажется, купаются...

Изъ кустовъ слѣва послышались женскіе голоса и смѣхъ. Я невольно повернулъ туда голову. Никого не видать. Мой пріятель посмотрѣлъ на меня и улыбнулся:

— Хочешь, я тебя посватаю? тихо сказалъ онъ...

Гимназистъ стоялъ на верхней ступенькѣ и говорилъ:

— Идите же. Ничего...

Мы взошли на балконъ съ собаками, съ ружьями, въ высокихъ сапогахъ, всѣ въ грязи, въ пыли. Онъ пошелъ въ домъ; мы за нимъ... Низенькія, прохладныя комнаты; полъ, когда-то крашеный; мебель, очевидно, еще работы домашняго столяра—теперь ужь рѣдко гдѣ она попадается. Окна съ маленькими стеклами и рамы не створчатыя, а подъемныя. Но комнатъ много и всѣ большія, длинныя... Мы прошли двѣ или три изъ нихъ и черезъ окна увидали сидящихъ на обширной террасѣ, выходившей на дворъ.

— Еще тутъ... Огарковъ, сказалъ гимназистъ.

Мы ввалились на террасу съ ружьями, съ собаками гурьбой. Сидѣвшіе другъ противъ друга — небольшого роста сѣденькій господинъ въ парусиновомъ польто и другой, рябоватый, черный, въ костюмѣ пригороднаго мѣщанина, т. е. въ сюртукѣ, но въ ситцевой рубашкѣ, выпущенной изъ-подъ жилета,—изумленно оглянулись на насъ и встали.

— Не ожидали? сказалъ мой пріятель, здороваясь съ ними обоими. Потомъ представилъ меня.

— Нѣтъ, да какъ же это вы такъ пришли?.. все еще съ недоумѣніемъ посмотрѣвъ на насъ, спрашивалъ старикъ. Черезъ садъ развѣ?..

— Разумѣется черезъ садъ... Рожью, а потомъ черезъ садъ, сказалъ гимназистъ. Дороги вѣдь въ той сторонѣ нѣтъ. Перелѣзли черезъ валъ и прошли садомъ.

— Теперь я понимаю, понимаю... Садитесь, пожалуйста... Очень радъ... Вы ружья сюда, въ уголъ поставьте... Садитесь...

Мы сѣли, крикнули на собакъ, чтобъ онѣ не шлялись по террасѣ, а ложились бы, и начали говорить... какая жара.

— Охота-съ, сказалъ мѣщанинъ и, улыбаясь, вздохнулъ. У меня на бахчахъ — у Василія Иваныча мы же вѣдь сняли — молодецъ одинъ есть, такъ каждый день утку, а то и двѣ застрѣлитъ. Пріѣдешь — всегда утятиной накормитъ...

— Очень жарко. И у васъ въ Тамбовѣ тоже жары стоятъ? Вы какого уѣзда, спросилъ Иванъ Петровичъ, обращаясь ко мнѣ.

Я сказалъ.

— Это конскій-то заводъ дяденьки вашего?

— Дяденьки, отвѣчалъ я.

— Прежде на бѣгахъ отличались, сказалъ Огарковъ.

Я подтвердилъ и сказалъ, что теперь дядя заводъ уничтожилъ.

— Теперь ужь что̀. Развѣ теперь можно что имѣть? Надо все уничтожать... добавилъ Иванъ Петровичъ.

— Время самое не для помѣщиковъ... Это справедливо, сказалъ Огарковъ. Если теперь, при томъ, какъ народъ вездѣ распущенъ...

Иванъ Петровичъ нервно повернулся въ креслѣ:

— Народъ что̀. Съ народомъ еще можно ладить. Мы сами что̀ дѣлаемъ? Это еще лучше. Свой же братъ, дворянинъ, норовитъ что сдѣлать...

Онъ очевидно намекнулъ на исторію починки моста, сдѣланной за его счетъ. Мы промолчали, какъ бы ничего не знаемъ.

— Всякій погубить только старается, сказалъ Огарковъ.

Въ это время во всю ширь балконной двери показалось что-то розовое, накрахмаленное, шумящее—показалось и сейчасъ изчезло.

— Это сестра Надя, сказалъ гимназистъ. Онѣ должно быть ужь выкупались. Теперь и намъ можно. Я узнаю сейчасъ...

Онъ пошелъ въ домъ, а Иванъ Петровичъ спросилъ:

— Это вы хотите купаться?

— Да... Ужасная жара...

— Жарко. Только вы вотъ что. Вода у насъ колодезная, холодная, а вы теперь горячіе, такъ прежде вамъ надо раздѣться и остынуть. Вы все снимите съ себя, останьтесь въ однихъ сапогахъ и минутъ двадцать эдакъ погуляйте по саду — простынете, и тогда и обдаваться можно. А такъ, прямо—это нездорово.

Пришелъ Петя и сказалъ, что сестры откупались.

— Стало быть, можно?

— Можно, пойдемте.

— Пойду и я съ вами. Ефимъ Степанычъ, пойдемъ и мы, сказалъ Иванъ Петровичъ.

— А пожалуй. Отчего и не покупаться съ господами, сказалъ Огарковъ.

— Ну, Петя, готовь, командуй, воды чтобъ больше. Одному Семену не справиться — кучера вели позвать. Передъ обѣдомъ это очень хорошо и здорово, говорилъ Иванъ Петровичъ. А мы пока раздѣнемся...

Онъ пошелъ впереди насъ, мы за нимъ, и тѣмъ же путемъ вышли на балконъ и спустились въ садъ. Потомъ повернули направо. Тамъ, шагахъ въ двадцати отъ балкона, подъ навѣсомъ высокой раскидистой липы, окруженная кустами сирени была довольно просторная расчищенная площадка, усыпанная краснымъ пескомъ. Песокъ былъ мокрый и на немъ отпечатлѣлись слѣды босыхъ ногъ. Стояло нѣсколько стульевъ, на сучкѣ висѣлъ мѣдный тазъ; на кустахъ были развѣшены для просушки мокрыя простыни, полотенцы.

— Ну-съ... воду сейчасъ привезутъ... давайте раздѣваться, сказалъ Иванъ Петровичъ, и сѣлъ на одинъ изъ стульевъ. Мы послѣдовали его примѣру и тоже сѣли и

начали снимать съ себя платье. Мѣщанинъ почему-то не сѣлъ на стулъ, а началъ раздѣваться на травкѣ.

— Все, все снимите. Оставайтесь въ однихъ сапогахъ, говорилъ Иванъ Петровичъ.

Мы совсѣмъ раздѣлись и стояли другъ противъ друга. Воды еще не было. Отъ нечего дѣлать я разсматривалъ тѣлосложенія. Тѣло нѣжное, бѣлое, кожа тонкая, цвѣта почти прозрачнаго; видны синія жилки... Это у насъ. А у „него", у Огаркова, тѣло темное, шея и руки загорѣлыя, талія низкая, ноги короткія, сильныя, мускульныя. Кругомъ таліи — темный рубецъ отъ пояска рубашки... Онъ тоже насъ разсматривалъ и наконецъ, улыбаясь, сказалъ:

— Какое у господъ тѣло-то нѣжное... совсѣмъ какъ примѣрно у бабы...

Мы разсмѣялись, но ничего ему не отвѣтили.

— Вотъ тоже у духовныхъ иногда такое тѣло бываетъ...

— Тамъ отъ жиру, замѣтилъ Иванъ Петровичъ.

— Все равно — жизнь беззаботнная, нѣжая...

— Да, беззаботная! Похоже...

Въ такомъ видѣ мы погуляли по площадкѣ, прошлись дальше по саду. Мѣщанинъ нашелъ какой-то грибъ и сорвалъ его.

— Это самый вредный, сказалъ онъ. Отъ него тошнитъ...

Наконецъ на ручной телѣжкѣ прикатили огромную бочку съ водой.

— Ну, вотъ теперь можно и окачиваться. Теперь простыли. Ну-ка...

Иванъ Петровичъ нога объ ногу снялъ сапоги и сталъ посреди площадки. Кучеръ и Семенъ взяли по ведру и приготовились.

— Ну!

Они одинъ за другимъ высоко вскинули кверху ведра и вылили ему ихъ на голову. Потомъ повторили это еще нѣсколько разъ. Онъ вздрагивалъ и подпрыгивалъ... сѣденькій... тѣльце нѣжное, но ужь совсѣмъ старческое, худое... Мы стояли, смотрѣли и дожидались своей очереди. Когда онъ кончилъ, то же самое продѣлали и съ нами. Послѣ всѣхъ обливали мѣщанина. Они вылили на него по ведру и сказали, что воды въ бочкѣ больше нѣтъ.

— И того довольно, отвѣтилъ онъ.

Вытеръ своей рубашкой лицо и началъ одѣваться. Не любятъ ихъ дворовые, т. е. даже органически ненавидятъ. Они знаютъ, что это ихъ враги, и оттого такая ненависть. Въ самомъ дѣлѣ, покупаетъ одинъ помѣщикъ у другого имѣніе, ему нуженъ вмѣстѣ и штатъ прислуги. Не всѣхъ, а половину ужь онъ навѣрно оставитъ. Покупаетъ имѣніе Огарковъ—ему никого не нужно:—иди всѣ, куда хочешь. Они знаютъ это, оттого и ненавидятъ ихъ.

Послѣ купанья, когда мы пошли къ дому, мой пріятель взялъ подъ руку Ивана Петровича и сказалъ, что ему нужно объ чемъ-то поговорить съ нимъ. Они пошли по саду, а мы, т. е. я, гимназистъ и Огарковъ, начали подниматься на балконъ. Огарковъ все оглядывался, и я замѣтилъ, что его какъ будто безпокоитъ ихъ бесѣда. Онъ все посматривалъ...

Въ залѣ между тѣмъ ужь былъ накрытъ столъ. Мимо его взадъ и впередъ прогуливались подъ ручку двѣ высокія, полныя дѣвицы—одна въ голубомъ, другая въ розовомъ просторныхъ накрахмаленныхъ ситцевыхъ пеньюарахъ.

— Это мои сестры... Зина и Надя, сказалъ гимназистъ.

Я назвалъ себя по имени и рекомендовался, какъ пріятель ихъ сосѣда, пріѣхавшій погостить къ нему.

Онѣ сейчасъ же начали жаловаться на жару, на скуку, что сами нигдѣ не бываютъ и къ нимъ никто не ѣздитъ...

— При маменькѣ мы еще выѣзжали, а вотъ теперь ужъ второй годъ никуда и къ намъ никто. Папенька со всѣми перессорился... Теперь, впрочемъ, ужъ не долго...

— Собираетесь куда нибудь?

— А вамъ развѣ Петя не говорилъ? съ удивленіемъ спросили онѣ. Въ Петербургъ мы ѣдемъ. Папенька имѣніе продаетъ, все это: домъ, усадьбу, все, однимъ словомъ, и мы переѣзжаемъ... У Зины есть голосъ, и она хочетъ поступить въ консерваторію. Здѣсь, согласитесь, онъ у нея такъ пропадетъ, заглохнетъ... На будущій годъ кончаетъ курсъ Петя, и ему нужно поступать въ университетъ... Все ужъ за одно.

— А не лучше ли бы пока имѣніе на аренду сдать, чѣмъ продавать, замѣтилъ я. Мало ли что.

— Ахъ, ужъ нѣтъ! И не отговаривайте его пожалуйста...

— И вамъ не жаль разставаться съ деревней, съ садомъ? опять спросилъ я.

— Охъ, вы не знаете... Это тюрьма, отвѣтила „Зина". Мы не живемъ—мы прозябаемъ здѣсь.

— Ужъ мы задатокъ дали. Они получили-съ, поправляясь и заложивъ большой палецъ правой руки за нижнюю пуговицу жилета, сказалъ Огарковъ. Послѣ завтра въ городъ къ нотаріусу ѣдемъ.

— Значитъ, все ужъ кончено?

— Все-съ, отвѣтилъ онъ. Приподнялся на ципочкахъ, покачался такъ и, снова опускаясь, стукнулъ каблуками.

Я посмотрѣлъ на него. Рожа довольная, увѣренная, съ оттѣнкомъ какой-то ироніи. Барышни тоже улыба-

лись... На балконѣ показались мой пріятель съ Синицынымъ.

— Ну чтожь, готово? Давайте же обѣдать, говорилъ онъ. Огарковъ посмотрѣлъ на него: „отговаривали, дескать, тебя, да ужь поздно“... Мой пріятель поздоровался съ дѣвицами, началъ съ ними смѣяться, разспрашивалъ, что онѣ въ этакую пору дѣлаютъ, началѣ просить что нибудь сыграть, спѣть ему. Лакей принесъ миску съ супомъ, и мы начали садиться за столъ. „Надя“ помѣстилась за хозяйку.

— Садись, Ефимъ Степанычъ, что-жь ты? сказалъ хозяинъ.

— Сядемъ-съ, отвѣтилъ Огарковъ.

— А вотъ сосѣдъ-то меня отговаривалъ все. Говоритъ, зачѣмъ продаю, началъ Синицынъ.

Огарковъ улыбнулся.

— Сами нешто хотятъ купить?..

— Нѣтъ, а такъ, говоритъ, лучше бы, чѣмъ продавать, на аренду сдать... Да ужь все равно — задатокъ взялъ—кончено.

— Ахъ нѣтъ, папа, пожалуйста! Ужь не передумай ради Бога, въ одинъ голосъ заговорили и „Надя“, и „Зина“.

— Нѣтъ, не передумываю. Сказалъ: кончено и—кончено, отвѣтилъ онъ имъ.

Когда подали жаркое—нашихъ дупелей — я сказалъ:

— Вотъ и отъ этого въ Петербургѣ придется отказаться.

— Почему? удивилась „Надя“.

— Дороги ужасно. Тамъ они рубля три пара бываютъ.

— И безъ нихъ проживемъ. Я ихъ даже не люблю, сказала она...

Послѣ обѣда всѣ перешли на террасу. „Зину“ мой

пріятель увелъ къ роялю и усадилъ ее играть и пѣть. Она поломалась, но потомъ согласилась. Огарковъ, что-то поговоривъ еще съ Иванъ Петровичемъ, сказалъ, что ему надо въ городъ, простился со всѣми, и я видѣлъ въ окно, какъ онъ сѣлъ на длинныя бѣговыя дрожки и уѣхалъ.

— Да-съ. Такъ-то-съ... Прощайте, господа... покачивая головой, говорилъ Синицынъ, возвратившійся изъ передней, куда онъ ходилъ провожать Огаркова.

Мой пріятель вздохнулъ, пожалъ плечами и сдѣлалъ мину: невелѣно, дескать, говорить...

— Что же вы думаете въ Петербургѣ дѣлать? Такъ жить? спросилъ я. Мы всѣ стояли у рояля. „Зина" все перелистывала ноты, чего-то искала.

— Она вотъ въ консерваторію хочетъ, Петѣ надо въ университетъ... Я не могу здѣсь оставаться. Нѣтъ, лучше ужъ самому продать и уѣхать... Тутъ, батюшка, у насъ такіе порядки, что въ одинъ прекрасный день имѣніе продадутъ и скажутъ: убирайся вонъ. Земство! ха, ха... Мостъ у меня въ исправности былъ... Это одна только придирка... Пускай-ка вотъ они съ него, съ Огаркова, взыщутъ. Онъ имъ покажетъ.

„Зина" откинулась, подняла глаза къ небу, и безъ того высокая, полная грудь поднялась еще выше, всколыхнулась, и мы услыхали какой-то итальянскій вальсъ. „Надя" налегла на рояль и съ завистью смотрѣла на нее. Мы стояли и слушали. Съ террасы пришелъ мой грязный Фингалка (плодъ тайной любви некрасовскаго Оскарки и моей Леды — вылитый отецъ), встряхнулся, и я съ ужасомъ замѣтилъ, что онъ собирается сейчасъ завыть. Я поспѣшилъ къ нему...

Превосходный голосъ, говорилъ мой пріятель, когда она кончила.

— Надо еще обработать. Здѣсь это невозможно было сдѣлать, отвѣчала „Зина".

Потомъ она еще пѣла. Наконецъ подали арбузъ, мы съѣли его, немного повремѣнили и стали собираться уходить.

— Куда же вы? удивился Иванъ Петровичъ.

— А хотимъ пострѣлять еще. Дупеля теперь скоро пройдутъ.

— Еще рано, жара. Погодите немного. Я велю запречь вамъ дрожки, и вы доѣдете туда. „Надя", вели поскорѣй самоваръ поставить. Мы еще чаю попьемъ. Приходилось уступить.

— Вѣдь я, господа, тоже это не зря дѣлаю, началъ Иванъ Петровичъ, когда концертъ кончился и мы снова вышли на террасу. У меня есть одно дѣльце тамъ въ виду.

— Въ Петербургѣ?

— Да-съ.

— Не секретъ? спросилъ я.

— Нѣтъ, пока секретъ... Да узнаете... Черезъ годъ, черезъ два. Можетъ даже и раньше...

Я, разумѣется, не сталъ разспрашивать. Онъ немного помолчалъ и опять началъ:

— Я ужь объ этомъ давно думаю. Да здѣсь-то его нельзя устроить, а тамъ можно... Большія деньги можно наживать... И человѣкъ у меня для этого въ виду есть.

— Значитъ, какое нибудь торговое предпріятіе?

— Торгово-промышленное.

— Прогорите еще вы съ нимъ, сказалъ мой пріятель.

— Нѣтъ-съ, ужь не прогорю. Вѣдь вы не знаете, какое это дѣло?

— Не знаю.

— Ну, то-то и есть.

Между тѣмъ подали самоваръ, запрягли намъ дроги, мы выпили по стакану чаю и начали прощаться, благодарить за угощеніе, извиняясь за доставленное безпокойство...

— До свиданія, говорили мнѣ обѣ, и „Надя“, и „Зина“. Зимой, можетъ, еще гдѣ нибудь увидимся въ Петербургѣ (онѣ знали, что зимой я тамъ живу), гдѣ нибудь въ театрѣ, въ концертѣ...

Иванъ Петровичъ съ сыномъ вышли провожать насъ на крыльцо. Онѣ провожали насъ съ террасы, кланялись, привѣтливо улыбались:

— До свиданія.

Мы довольно ужь далеко отъѣхали отъ дому, а голубой и розовый капоты все еще виднѣлись между бѣлыми калоннами террасы, подъ навѣсомъ покосившейся темной соломенной крыши.

— Алексѣй Иванычъ, что-жь баринъ-то продалъ имѣніе? спросилъ моего пріятеля кучеръ.

— Продалъ.

— Совсѣмъ значитъ ужь порѣшили?

— Совсѣмъ.

Онъ плюнулъ въ сторону:

— Не сидится! Сидѣлъ бы, сидѣлъ бы себѣ... Нѣтъ, надо... А все это онѣ его.

— Кто онѣ?

— Барышни. Жениховъ нѣтъ, а ужь время-то пришло... Вотъ воду-то привозишь, когда имъ купаться...

— Заигрываютъ?

— Онѣ, ничего... всѣ въ мать. Покойница-то такая тоже была... А вотъ сынъ въ него весь и такой же, какъ бы дурачекъ совсѣмъ...

Я оглянулся. Виденъ только садъ и со всѣхъ сторонъ рожь—море ржи...

„И изъ этого куста, изъ этой ржи и въ Петербургъ... Чортъ знаетъ, что дѣлаетъ“, подумалъ я.

II.

Два года назадъ, какъ-то зимой, я обѣдалъ у одного изъ моихъ земляковъ. Насъ собралось человѣкъ десять. Нѣкоторые послѣ обѣда уѣхали въ театръ, нѣкоторые домой, а мы, трое или четверо, засидѣлись и, когда собрались уходить, было ужь часовъ двѣнадцать. Мы вышли всѣ вмѣстѣ. Ночь была чудная—тихая, звѣздная, съ легкимъ морозцемъ... Мы шли по Морской.

— Вотъ бы теперь тройку, да куда-нибудь этакъ верстъ за десять.

— Не дурно, конечно...

Гдѣ-то тамъ, ближе къ Невскому, на встрѣчу намъ попалась тройка; мы взяли ее и велѣли ѣхать къ Дороту. Между нами былъ упраздненный директоръ отъ земства одной изъ нашихъ степныхъ желѣзныхъ дорогъ. Онъ началъ вспоминать, какъ всего какихъ нибудь девять, десять лѣтъ назадъ, когда строилась, сдавалась и принималась дорога,—какія тогда бывали поѣздки у нихъ къ этому самому Дороту.

— Времена не тѣ. Все это прошло, замѣтилъ кто-то.

— Нѣтъ. Деньги-то ѣсть, а всѣ сжались, боятся. „Дѣлъ“ никакихъ нѣтъ... Застой... Да и то сказать, и женщинъ теперь такихъ ужь нѣтъ. Что это такое! Развѣ это женщины—онъ назвалъ нѣсколько именъ француженокъ прошлогодняго сезона—кошки!

— Кошки, согласились мы. Конечно...

— А тогда-то—Камиль, Эжени...

— Капитальныя были женщины...

— Да нѣтъ-съ, и не въ томъ даже отношеніи. Пріятно было провести время и такъ. Съ ними было объ чемъ поговорить. Вѣдь кого онѣ не знали: и Наполеона, и хедива, и шаха персидскаго. Начнутъ, бывало, разсказывать—

заслушаешься... Камиль, напримѣръ, разсказывала, какъ хедивъ приходилъ къ ней, всегда зашитый въ медвѣжью шкуру...

— Для чего же это?

— Такъ... Ужь такая африканская, страстная натура... Фантазія... И не это одно. Умѣли ѣсть, выбрать, заказать. А вѣдь теперь чтò—котлетки марешаль, бефъ строгоновъ—и жретъ себѣ. Просто непріятно даже сидѣть съ ней—видишь, голодная...

Кто-то сдѣлалъ возраженіе, сказалъ, что недавно ужиналъ съ двумя француженками у Бореля и онѣ вогнали ему счетъ слишкомъ въ сто рублей.

— Ну, ужь это что-то...

Онъ даже подозрительно покосился—какія же, дескать, это такія съумѣли... спросилъ, тотъ ему сказалъ.

— Ну вотъ, изволите видѣть—Діанка! Діанка была горничной у Камиль... Знаю я ее...

— Діанка все-таки...

— Да знаю, я вамъ говорю, ее... Ничего тамъ нѣтъ. Съ ней вечеръ провести—умрешь со скуки... А вѣдь тогда какія попадались-то! Расина, Корнеля наизусть валяли... Да вотъ онъ помнитъ... Помните? обратился онъ ко мнѣ—когда дорогу отъ строителей приняли и ужинъ-то былъ у этого же самаго Дорота...

Я подтвердилъ...

— Три дня тогда ужинали все, продолжалъ онъ. На третій онѣ и начали декламировать у насъ...

Въ такихъ и подобныхъ имъ разговорахъ и воспоминаніяхъ мы и не замѣтили, какъ пріѣхали. У Дорота во дворѣ, хотя и рано еще было, но стояло и погромыхивало бубенчиками, мнѣ показалось, что-то много троекъ.

— Ужинъ у васъ, большая компанія? спросилъ я встрѣчавшаго насъ на крыльцѣ татарина.

— Нѣтъ... такъ... парочки...

Въ саду дѣйствительно сидѣли все больше парочки. Спрашивали майонезъ, ст.-жульенъ, чай. Только за однимъ столомъ сидѣла компанія человѣкъ въ шесть или семь: двѣ француженки между ними. Мы помѣстились недалеко отъ нихъ и спросили себѣ тоже какого-то жульену... Вскорѣ компанія собралась уѣзжать, потребовала счетъ. Француженки притворно смѣялись, несли какой-то вздоръ.

— Ну развѣ это женщины? Развѣ это не кошки? говорилъ директоръ, не позабывшій еще давишняго разговора.

Сидѣли дѣйствительно какія-то невозможныя француженки—крашеныя, ротастыя, съ подведенными и все-таки безжизненными, потухшими глазами...

— Навѣрно или розбифъ, или бифштексъ ѣли—голодныя. Я думая, дня три ужь ничего не ѣли...

Пришелъ татаринъ со счетомъ. Молодой человѣкъ, который взялъ его, вдругъ поднялъ плечи и съ изумленіемъ посмотрѣлъ на лакея:

— Это не ошибка—двѣ пулярки сорокъ рублей? сказалъ онъ.

— Нэтъ. Это точно такъ.

— Да какія же это такія пулярки?

— Французскія... не здѣшнія...

— Пошелъ позови—кто у васъ тутъ распорядитель. Это грабежъ!..

Татаринъ ушелъ. Всѣ выражали недоумѣніе... Счетъ переходилъ изъ рукъ въ руки. Явился французъ распорядитель.

— Послушайте, вы пишите чортъ знаетъ что... Двѣ пулярки сорокъ рублей!..

— Такъ точно, m-er.

— Да какія же это такія?

— Изъ Парижа, M-er... Нантскія...

— Ахъ, Нантскія! О, оттого они и такія вкусныя. Нантскія! восклицали и повторяли француженки.

— Но какія бы онѣ ни были, помилуйте, двадцать рублей курица!

Француженки увѣряли, что онѣ и въ Парижѣ очень дороги. Такъ откармливать нигдѣ въ мірѣ не умѣютъ...

— Нельзя ли намъ показать? По крайней мѣрѣ увидимъ, что это такое, сказалъ молодой человѣкъ.

Французъ отправился за пулярками. Дамы продолжали увѣрять, что это нѣчто необыкновенное и что они теперь только поняли, отчего пулярки за ужиномъ показались имъ такими вкусными.

— Просто оттого, что были сварены съ трюфелями.

— О, нѣтъ. Все равно, обыкновенная пулярка никогда не будетъ такъ вкусна...

Одна изъ нихъ начала разсказывать, что она сама была въ Нантѣ и знаетъ, какъ ихъ кормятъ. Ихъ кормятъ рубленымъ мясомъ съ яйцами, молочной кашей, прибавляютъ немного перцу—чортъ знаетъ, что за рецептъ.

Наконецъ вернулся французъ и принесъ, прикрывая ее салфеткой, сырую курицу. Только онъ открылъ ее, француженки воскликнули, что это несомнѣнно нантская. Курицу всѣ посмотрѣли, еще разъ пожали плечами и взялись за бумажники, чтобы платить. Когда французъ понесъ курицу обратно на кухню, я позвалъ его:

— Покажите, пожалуйста...

Курица, какъ курица. Большая, сытая, бѣлая, но совершенно такая же, какъ и наши.

— Почемъ же онѣ вамъ самимъ обходятся?

— Около десяти рублей. Дорога, провозъ, пошлина, комиссія...

— А берете двадцать?

— А трюфели, поваръ?.. помѣщеніе, прислуга... Патентъ...

Оказалось, что никто изъ насъ не помнитъ, чтобы ѣлъ ихъ, и мы велѣли приготовить себѣ одну для пробы. Посмотримъ, что это такое.

— О, удивительный вкусъ, сказалъ французъ.

Когда намъ подали ее, мы нашли дѣйствительно очень вкусной (еще бы—съ трюфелями-то), но рѣшительно никакой разницы отъ тѣхъ, которыхъ мы ѣли, а нѣкоторые изъ насъ и до сихъ поръ ѣдятъ въ своихъ Ивановкахъ и Семеновкахъ...

— Просто надувательство.

— Разумѣется.

— Нѣтъ, разница-то есть, сказалъ директоръ, но все-таки ужасно дорого.

— Никакой разницы—такъ это вамъ только кажется. Если подать вамъ одинаково приготовленныхъ эту и здѣшнюю—вы и не разберете.

— Ну, какъ можно!

— Ей Богу не разберете.

— Что-жь вы меня увѣряете... Кажется, слава Богу...

III.

Все прошлое лѣто, какъ ни старался я уѣхать въ деревню, пришлось однако прожить здѣсь, въ Петербургѣ. Дачи я не нанималъ, жилъ въ городѣ, но почти каждую субботу ѣздилъ въ Лѣсной къ одному моему пріятелю, у котораго и оставался до понедѣльника. Онъ жилъ гдѣ-то тамъ на самомъ концѣ, въ самомъ глухомъ мѣстѣ. Я началъ ѣздить къ нему какъ только онъ переѣхалъ туда изъ города. Обыкновенно я пріѣзжалъ вечеромъ, часовъ въ девять, когда солнце садилось и начинались блѣдные, больные сѣверные сумерки—ни день, ни ночь, все видно, но видно въ какомъ-то странномъ, непріят-

номъ освѣщеніи. Съ перваго же дня почти всю дорогу отъ Петербурга до дачи рядомъ съ моимъ извозчикомъ ѣхала телѣжка въ одну лошадь. Въ телѣжкѣ сидѣла и правила какая-то дѣвица или барыня лѣтъ тридцати, достаточно подсохшая и совершенно некрасивая — небольшого роста, съ темнымъ, загорѣлымъ лицомъ, маленькимъ курносымъ носикомъ, сплошь покрытымъ веснушками. Но главное—шляпка убійственно-безвкусная, съ перьями, съ цвѣтами. Рядомъ съ ней въ телѣжкѣ всегда сидѣлъ чухонецъ—рабочій, батракъ. Мое вниманіе обратила на себя эта ея шляпка, а главное лошадь, запряженная въ телѣжку,—высокая рыжая кобыла, которая всю дорогу бѣжала какъ-то сгорбившись, широко разставляя заднія ноги и поминутно махая хвостомъ по возжамъ. Видѣть подобную ѣзду каждому вообще непріятно, но для человѣка, любящаго лошадей, понимающаго ѣзду—это ужь совсѣмъ невыносимо. Я нѣсколько разъ собирался сказать ей, какъ надо держать возжи, и только одно соображеніе—съ какой стати?—удерживало меня. Я обыкновенно доѣзжалъ до дачи моего знакомаго, отпускалъ извозчика, а она ѣхала дальше еще саженъ двадцать, тамъ сворачивала куда-то налѣво и исчезала. Такъ продолжалось весь май, іюнь. Я до того привыкъ къ этому сопутствованію, что, когда не видалъ по шоссе ни удивительной шляпки съ цвѣтами и перьями, ни рыжей кобылы, поминутно размахивающей хвостомъ—невольно искалъ ихъ глазами. Разъ, послѣ тщетныхъ стараній высмотрѣть ихъ, я, наконецъ, совсѣмъ было успокоился, какъ вдругъ мы увидали ихъ на шоссе.

— Вотъ она, барыня-то на кобылѣ, сказалъ мнѣ извозчикъ... Онъ постоянно ѣздилъ со мной и тоже ужь привыкъ ихъ встрѣчать. Они стояли. Барыня держала возжи, а ея работникъ что-то поправлялъ въ запряжкѣ. Кобыла, какъ опахаломъ, такъ и размахивала хвостомъ.

— Да развѣ такъ?.. Эй, кучеръ, продѣть надо! крикнулъ извозчикъ, когда мы поровнялись съ ними.

— А ты остановись, да покажи ему.

Онъ такъ и сдѣлалъ. Я сидѣлъ на дрожкахъ, она въ своей телѣжкѣ, въ разстояніи другъ отъ друга не болѣе аршина. Размахивая хвостомъ, кобыла стегала по дрожкамъ. Я не выдержалъ и сказалъ:

— Извините меня пожалуйста, вы не такъ держите возжи. Руки нельзя вмѣстѣ держать. Вы щекочете ее возжами. Она оттото и махаетъ хвостомъ.

— А какъ же надо?

— Вотъ такъ.

Я показалъ какъ.

— Тогда не будетъ махать?

— Надо отучать...

Она поблагодарила меня, вынула изъ кармана своего платья большой мужской серебряный портсигаръ, открыла его, взяла въ зубы папироску и попросила у меня огня отъ сигары. Пока она закуривала, я внимательно смотрѣлъ на нее: что бы это могло быть? Наконецъ, все было готово, мы раскланялись и тронулись.

Когда мы подъѣхали къ дачѣ, на балконѣ сидѣлъ мой знакомый, и я видѣлъ, какъ онъ раскланивался съ „ней“, ѣхавшей немного впереди насъ.

— Ахъ, пожалуйста, кто это такая? спросилъ я.

— Это—Раиса.

— Да кто она такая?

— Куры у нея. Она ихъ въ городъ ставитъ, тутъ дачникамъ продаетъ. И мы у нея беремъ. Она вотъ тутъ, недалеко... Т. е. заведеніе-то не ея, но она тамъ всѣмъ заправляетъ. Она ничего, хорошая, честная... Геліотропкина ея фамилія, а зовутъ всѣ просто Раисой. Прежде она, кажется, акушеркой была или только еще училась—навѣрно не могу сказать. Я ужь давно ее знаю—года три.

Разспрашивать объ ней дальше мнѣ не было ни малѣйшаго интереса, и мы заговорили о чемъ-то другомъ. Такъ прошло еще нѣсколько недѣль. При встрѣчѣ на шоссе мы, однако, съ ней начали раскланиваться. Однажды, обгоняя моего извозчика и указывая мнѣ головой на свою кобылу, немилосердно махавшую хвостомъ, она крикнула:

— Все равно вертитъ, какъ ни держи.

Въ серединѣ іюля мой знакомый уѣхалъ на мѣсяцъ въ Москву, и я на дачѣ пребывалъ одинъ. Болтать, распивать чаи, ужинать—не съ кѣмъ, и я поневолѣ началъ больше работать, т. е. писать. Одинъ разъ я засидѣлся такъ часовъ до трехъ или до четырехъ утра. Кончилъ, подошелъ къ окну—прелесть что за утро—пахнетъ лѣсомъ, сосной. Зелень свѣжая, темная. На травѣ роса... Я вышелъ на балконъ. Потомъ пошелъ дальше по парку. Всегда я ходилъ направо отъ балкона, а этотъ разъ почему-то повернулъ въ лѣво. Пройдя шаговъ двѣсти, я увидалъ сквозь зелень какой-то заборъ—очевидно чья-то дача. Слышались голоса, скрипъ тяжелыхъ телѣжныхъ колесъ, а главное—куриное кудахтанье и многочисленное пѣтушиное пѣніе—голоса отъ самыхъ нѣжныхъ дискантовъ до самыхъ сильныхъ басовъ.

„Это должно быть и есть Раисинъ заводъ", сообразилъ я и пошелъ посмотрѣть поближе. Заборъ былъ высокій, но рѣдкій—чтобъ только не проскочили куры—и можно было все видѣть, что происходитъ внутри. Посреди двора, среди безчисленнаго количества куръ, стояла „она" въ красной, короткой фланелевой юбкѣ, въ высокихъ мужскихъ сапогахъ и въ бѣлой полотняной или коленкоровой кофточкѣ. Въ рукахъ тетрадка съ привязаннымъ къ ней на шнурочкѣ карандашемъ. Она, время отъ времени, что-то въ ней отмѣчала, записывала. Мимо нея изъ какого-то особо отгороженнаго мѣста проходили

мужики-чухонцы и проносили заколотыхъ и совсѣмъ ужь ощипанныхъ куръ—шейки болтаются, головки завязаны въ бумажки. Куда-то мужики относили ихъ и потомъ опять возвращались, шли за новыми.

— Яковлеву сорокъ паръ! выкрикивала „она“, Петрову и Кошкину на Садовую по пятидесяти паръ.

Пока я постоялъ немного, этихъ куриныхъ труповъ пронесли по крайней мѣрѣ сотни три. Иногда она останавливала какого нибудь мужика, брала у него курицу и что-то смотрѣла ее. Я пошелъ вдоль забора, къ той сторонѣ, куда уходили съ курами мужики. Тамъ стояло четыре телѣги. Въ эти телѣги они ихъ и укладывали.

— Куда это вы ихъ везете?

— Въ городъ... въ лавки... въ курятныя...

— Тамъ и продаете?

— Тамъ и продаемъ.

— А почемъ?

— Это ужь дѣло хозяйское. Мы только развозимъ ихъ.

— Каждый день это?

— А то какъ же? Это товаръ нѣжный—онъ долго лежать не можетъ—сейчасъ запортится.

— И помногу ихъ отвозите?

— Разно. Тоже какъ вѣдь заказы... Да штукъ по триста, по четыреста развозимъ.

— И выгодное это дѣло?

— Извѣстно, выгодное. Если бы невыгодное, зачѣмъ же такое заведенiе содержать...

— Естратъ, послышался „ея“ голосъ изъ-за забора.

— Сейчасъ, отвѣчалъ мужикъ, и пошелъ къ ней.

— Я тоже пошелъ—къ себѣ, домой...

IV.

Случаю угодно было столкнуть меня съ нею въ тотъ же вечеръ еще ближе. Послѣ обѣда, часовъ въ семь, я пошелъ гулять по парку и опять почему-то пошелъ не на-право, а на-лѣво. Въ мѣстности не далеко отъ куринаго завода на встрѣчу мнѣ по дорожкѣ шли двѣ дѣвицы, высокія, полныя, грудастыя, глаза томные съ поволокой. На одной—брюнеткѣ—было розовое платье, на другой—съ волосами нѣсколько посвѣтлѣй — голубое. Когда мы сошлись совсѣмъ ужъ близко, на лицахъ у нихъ выразилось какое-то ожиданіе, смѣшанное съ недоумѣніемъ—что же это дескать вы не кланяетесь?.. Мнѣ и самому показалось, что я ихъ гдѣ-то видалъ. Но мало ли встрѣчаешь дѣвицъ—развѣ всѣхъ можно упомнить? Я, однако, оглянулся. Они тоже смотрѣли на меня. Я убѣдился, что это положительно мои знакомыя. Дальше дорогой я вспомнилъ, гдѣ ихъ видѣлъ... „Но что же они тутъ дѣлаютъ? Такъ, на дачѣ живутъ?..“ Когда, черезъ полчаса, я шелъ назадъ, онѣ опять попались мнѣ на встрѣчу. Я снялъ шляпу и раскланялся къ ихъ удовольствію.

— А вообразите, мы идемъ и никакъ не можемъ вспомнить, гдѣ васъ видѣли. Лицо такъ знакомо...

Я сказалъ, что и я не сразу припомнилъ ихъ, но потомъ сообразилъ, вспомнилъ и догадался...

— Ну, какъ поживаете? Веселѣй здѣсь, чѣмъ въ Орлѣ, въ деревнѣ?

— Ну, конечно, Петербургъ... впрочемъ, вѣдь мы никуда все равно не ѣздимъ. Здѣсь это та же деревня...

— А зимой?

— Мы вѣдь и зиму здѣсь.

— Въ Лѣсномъ?

— Да. И папаша тутъ...

— Значитъ, у васъ тутъ своя дача — домъ... Какъ здоровье Ивана Петровича?

Онѣ мнѣ сказали, что онъ хотя совершенно, повидимому, здоровъ, но такъ перемѣнился за это время, что его и узнать невозможно.

— Постарѣлъ?

— Нѣтъ. Характеромъ перемѣнился.

— Ну, ужь это всегда къ старости...

— Нѣтъ. Это не оттого. Тутъ люди все...

Чтобы перемѣнить непріятный разговоръ, я сказалъ, что, насколько помню, онѣ говорили тогда, что намѣрены поступить въ консерваторію, учиться пѣть?

— Это Зина хотѣла, сказала розовая. Она и была одну зиму въ консерваторіи... И даже замѣчательные успѣхи были у нея...

— Зачѣмъ же бросили?

Онѣ обѣ смотрѣли внизъ, себѣ на ноги, и ничего мнѣ не отвѣчали. Зина какъ будто даже нѣсколько покраснѣла.

— Такъ у насъ, у русскихъ, всегда во всемъ—возьмутся сначала горячо, а потомъ надоѣстъ и бросятъ, сказалъ я.

Розовая опять отвѣчала за сестру, сказала, что она должна была оставить консерваторію... явилась такая причина...

Ничего не подозрѣвая, я сталъ утверждать, что навѣрно никакой причины не было, а вотъ именно это наше общее свойство...

— Навѣрно. У меня тамъ много пріятелей—я узнаю, сказалъ я.

При этихъ словахъ Зина совсѣмъ вспыхнула и съ глазами, полными слезъ, посмотрѣла на меня.

— Зачѣмъ это вы будете дѣлать... Правды все равно не узнаете.

— Виноватъ, смущенный сказалъ я...

Она смаргивала слезы съ рѣсницъ, вынула платокъ, старалась смотрѣть въ сторону. Мы шли молча... „Что бы это такое было“, соображалъ я. „Навѣрно спустилъ онъ тутъ деньги, выманили ихъ у него“... „Навѣрно какое нибудь матеріальное затрудненіе“. Очень ужъ я привыкъ къ такимъ помѣщичьимъ концамъ...

— Вы меня извините, опять желая поправиться, началъ я: — если вамъ надо что нибудь тамъ устроить—я могу. У меня много знакомыхъ. Это все пустяки.

— Ахъ, нѣтъ. Не то совсѣмъ. Это просто несчастіе.. тихо сказала розовая. Это ужъ все прошло...

Сестра ея, о которой шла рѣчь, не выдержала и, всхлипывая, повернулась и пошла назадъ... Я очутился въ самомъ глупомъ положеніи. Началъ, конечно, извиняться передъ оставшейся со мною „Надей“, говорилъ, что если бы я зналъ, если бы подозрѣвалъ, что это для нихъ такой больной вопросъ и проч. и проч.

— Ничего... Вы только съ Зиной никогда объ этомъ не говорите... Съ этого случая и всѣ наши несчастія пошли... Все — и деньги пять тысячъ онъ потерялъ, которые давалъ взаймы одному генералу — обѣщалъ дать ему мѣсто здѣсь... Явилась Раиса и т. д.

— Какая Раиса? это курятница-то?

— Эта самая... Она акушерка прежде была... Къ ней тогда обратились и съ тѣхъ поръ...

Я понялъ, наконецъ, что за бѣда у нихъ стряслась, но что же это: „съ тѣхъ поръ“?.. Бѣдная дѣвушка сама меня выручила, сказала:

— Вѣдь этотъ заводъ собственно не ея по настоящему—папашинъ. Онъ его и завелъ и все... И на нашей же дачѣ онъ помѣщается. Это онъ только недавно перевелъ его на ея имя...

— Что-жь, она такое вліяніе имѣетъ на него?

— Совершенно... Что угодно... Посмотрите, онъ скоро и домъ на нее переведетъ... И женится на ней... А съ нами-то она—что угодно дѣлаетъ!..

— Теперь понимаю. Вотъ оно въ чемъ дѣло... А она мнѣ показалась совсѣмъ въ другомъ родѣ...

— Да она не злая. Она только Богъ знаетъ что дѣлаетъ. Что ей въ голову придетъ, то и дѣлаетъ. А если не слушаться ея — папенька сердится, — цѣлая исторія. Ну вообразите, придетъ ей вдругъ фантазія въ праздникъ ѣхать куда нибудь на гулянье. Велитъ запречь свою телѣжку, посадитъ чухонца, сама сядетъ въ этой своей знаменитой шляпкѣ и требуетъ, чтобы мы съ сестрой тоже садились въ телѣжку, къ нимъ на колѣни... Разъ она насъ въ такомъ видѣ по Невскому провезла, такъ городовые чуть не остановили...

Она замѣтила, что я улыбнулся и сказала:

— Вѣдь это со стороны смѣшно, а побудьте-ка въ нашемъ положеніи.

— Понимаю-съ!

— А что она съ папенькой-то дѣлаетъ... Вдругъ ни съ того, ни съ сего начнетъ лечить его...

— Это бы все еще туда-сюда... А вотъ это скверно, что она заставляетъ его все на ея имя переводить, сказалъ я...

— Вы думаете, можетъ, что она хочетъ воспользоваться этимъ? Нѣтъ. Она говоритъ, что все намъ передастъ; хочетъ только, чтобъ все было цѣло, боится, что мы можемъ растратить... Ахъ, да всего не передашь! Это надо разсказывать цѣлый день. И дня мало... А это теперь чего стоитъ?.. Сватанье насъ... женихи... Для нея нѣтъ ничего лучше зеленщика-курятника. Это въ глазахъ ея идеалъ. Она ихъ всѣхъ знаетъ и зазываетъ... смотрѣть на насъ. Каждое воскресенье къ пирогу — ихъ ужъ непремѣнно двое или трое... Она насъ расхваливаетъ. Го-

воритъ, что за меня ручается, какъ за свою дочь... Дѣлаетъ при этомъ намеки на Зинину исторію и затѣмъ оправдываетъ ее... Она осрамила ее на весь Петербургъ... Всѣ зеленщики знаютъ теперь эту исторію...

— Что-жъ Иванъ Петровичъ-то?

— Я вамъ говорю, что она совсѣмъ имъ завладѣла.

Мы прошли шаговъ двадцать молча... Бѣдная дѣвушка была ужасно взволнована. Оно и понятно: кто же это въ спокойномъ состояніи начнетъ ни съ того, ни съ сего разсказывать почти незнакомому человѣку все то, что она мнѣ наговорила...

— Вотъ что, сказала она:—если вы свободны, заходите въ девять часовъ къ намъ. Она вернется изъ города, и мы будемъ чай пить... И папеньку увидите. Онъ навѣрно будетъ радъ васъ видѣть...

Время между тѣмъ приблизилось къ девяти и мы потихоньку, съ ноги на ногу, продолжая разговоръ, пошли къ дачѣ.

— А гдѣ же Зинаида Ивановна? спросилъ я, когда мы подошли уже къ калиткѣ.

— Дома навѣрно. Она не выйдетъ. Вы понимаете ея положеніе... Вы, пожалуйста, не начинайте объ ней и разговора.

Я отворилъ калитку, и мы вошли въ маленькій палисадничекъ, въ которомъ безтолково росли какіе-то цвѣты, была посажена яблоня и тутъ же стояли громадные подсолнечники, свѣсивъ свои головы. Такіе палисадники я часто видалъ въ Рязанской губерніи передъ волостными правленіями, сельскими школами... Она пошла впереди меня на балконъ, потомъ дальше въ домъ. Я шелъ за нею. Въ комнатахъ было ужъ довольно темновато. Въ одной изъ нихъ, у открытаго окна, сидѣлъ Иванъ Петровичъ — я сразу узналъ его. Онъ держалъ передъ собой на подоконникѣ тарелку съ овсомъ и что-то

разгребалъ въ ней пальцами. Нѣсколько тарелокъ стояло тутъ же еще, на раскинутомъ ломберномъ столѣ... Онъ обернулся ко мнѣ и, закрывая халатомъ растегнутую рубашку на груди, смотрѣлъ и видимо не узнавалъ.

— Папенька, сказала дочь, вы помните тогда, три года назадъ... Они были у насъ съ Алексѣемъ Ивановичемъ... съ охоты зашли...

— А-а!.. Помню-помню. Это еще тамъ, въ Петровкѣ...

Я сказалъ, что ужь цѣлое лѣто живу здѣсь рядомъ, не подозрѣвалъ такого близкаго знакомства и вотъ сегодня только случайно узналъ...

— Мы живемъ здѣсь скромно, тихо, сказалъ онъ.— И иначе намъ теперь нельзя жить... Это все надо оставить... всѣ эти затѣи...

Онъ повертѣлъ пальцемъ въ воздухѣ.

— Занимаемся своимъ дѣломъ... Объ насъ ничего не слышно... Конечно, эта жизнь не всѣмъ можетъ нравиться... но такъ спокойнѣй... Пока маленькій кусокъ хлѣба есть — его и береги... Ужь мы насмотрѣлись... слава Богу... какъ другіе живутъ... чѣмъ это все кончается...

Онъ былъ видимо ажитированъ, и, чтобъ отвлечь его отъ мрачныхъ мыслей, я спросилъ, что это онъ дѣлаетъ съ овсомъ.

— Перебираю. Куколь выбираю. Хочу нашему лабазнику, который намъ овесъ ставитъ для куръ, носъ утереть — какой онъ мошенникъ... Сколько у него въ овсѣ куколю... Дѣлать нечего. Куры теперь ужь на нашестъ сѣли—я и перебираю.

— У васъ, говорятъ, знаменитое заведеніе здѣсь, сказалъ я.

— Да-съ... Это, впрочемъ, все Раиса Яковлевна... Мы этимъ не занимаемся...

Онъ сдѣлалъ особое удареніе на словѣ мы, вздохнулъ и покосился на дочь.

— Прежде, папенька, какъ пріѣхали, мы занимались, отвѣтила она,—а теперь, когда Раиса Яковлевна...

Онъ ничего не сказалъ, только махнулъ рукой: что, дескать, съ тобой толковать...

Въ окно я увидалъ, какъ къ крыльцу подъѣхала знакомая телѣжка съ рыжей кобылой.

— Вотъ и Раиса Яковлевна, сказалъ онъ.

Черезъ минуту въ комнату вошла Геліотропкина, на мгновеніе остановилась, увидавъ меня, но тотчасъ же узнала, подошла и протянула руки:

— Какъ это васъ Богъ занесъ?

Я разсказалъ. Она привезла и держала въ рукахъ огромную стеклянную банку, въ родѣ бутыли, съ широкимъ горлышкомъ и пришлифованной стеклянной пробкой. Тамъ было полно налито что-то свѣтлое, маслянистое. Она поставила бутыль на столъ, начала раздѣваться, снимать свою удивительную пляпку, мантилью, какіе-то платочки.

— Наденька, ты бы принесла ложку, воды, кусокъ сахару... Ты вѣдь знаешь, что сегодня суббота и папенькѣ надо сейчасъ принимать. Ужь девять часовъ. Когда-жь онъ успѣетъ?...

И затѣмъ, обратясь ко мнѣ, продолжала:

— А вашъ совѣтъ не помогаетъ. Вертитъ хвостомъ совершенно такъ же, какъ прежде...

— Вошло ужь въ привычку. Сразу не отучите...

Надя принесла большую столовую ложку, стаканъ воды, кусокъ сахару и подала ей. Она велѣла Надѣ держать ложку, а сама взяла обѣми руками бутыль и осторожно начала лить. Потомъ подала Ивану Петровичу воду, сахаръ и сама вылила ему въ открытый ротъ то, что было у нея въ ложкѣ. Онъ проглотилъ, запилъ и

началъ сосать сахаръ... Я посмотрѣлъ на дочь. Она вздохнула и опустила глаза.

— Это вы рыбій жиръ пьете? спросилъ я его.

— Нѣтъ — масло касторовое... Чтобы желудокъ не засорился, я даю ему каждую субботу... отвѣчала Раиса... Ахъ, что это за масло у Штоль и Шмидта!..

Скоро въ этой же комнатѣ накрыли столъ и принесли самоваръ. Раиса сѣла на хозяйкино мѣсто и начала засыпать чай—руки маленькія, грязныя, съ короткими, красными, обкусанными пальцами,—я заговорилъ о курахъ, что слышалъ столько удивительнаго объ ихъ заведеніи...

— Считается первымъ, сказалъ Иванъ Петровичъ.

Она ничего не сказала. Только вздохнула.

— Дѣло мастера боится, замѣтилъ я.

— Одна я—вотъ бѣда, сказала она.—Одной не разорваться... Я смотри и какъ ихъ кормятъ, и какъ ихъ колютъ, и какъ ихъ щиплютъ, и отправляй, и ѣзди въ городъ по зеленнымъ разсчитываться...

Прошло съ полминуты молчанія.

— А отчего это у насъ все-таки не могутъ такъ откармливать, какъ вотъ въ Нантѣ... Нантскія пулярки...

Она не дала мнѣ кончить и перебила:

— Вы думаете, что нантскія-то откуда?.. Мои—вотъ откуда!.. А что кромѣ меня никто здѣсь не умѣетъ такъ кормить—это вѣрно. Вы видали нантскихъ-то?

— Ѣлъ даже.

— Нѣтъ, а такъ... сырую... Знаете, какъ ее узнать по виду?.. Наденька, теперь ужь начали колоть къ завтрему, сходи, мой другъ, принеси: одну простую курицу, знаешь, суповую, а другую—вотъ такую, что они называютъ нантскими—мясную... Мясомъ вѣдь этихъ мы кормимъ, добавила она...

Надя принесла откуда-то на бумагѣ двухъ ощипанныхъ

сырыхъ куръ. Раиса положила на край стола папиросу, которую курила, взяла одну курицу въ руки и запустила въ нее свои красные огрызенные пальцы. — Вотъ видите, тамъ ничего нѣтъ, сказава она вынимая пальцы.—А вотъ въ этой есть. И она дѣйствительно вытащила изъ нея какіе-то жолтые куски жиру.—Это и есть такъ называемая нантская... Наденька, мой другъ, заверни ее хорошенько въ бумажку, завяжи—они ее съ собой на память возьмутъ... Только на ночь прикажите на ледникъ все-таки вынести...

Я попробовалъ было отказаться, но это было совершенно напрасно.

— Возьмите, сказала Наденька.

— Такой не купите... Нѣтъ-съ, вы приходите днемъ, да все посмотрите. Это хозяйство. Этого и мужчина ни одинъ не заведетъ, вставая съ своего мѣста, сказалъ Иванъ Петровичъ.

Я тоже всталъ и началъ прощаться.

Онѣ просили заходить. Сожалѣли, что такъ долго прожили вмѣстѣ и не подозрѣвая сосѣдства...

— Я вамъ все покажу—это стоитъ, говорила Раиса.

— Ну, а ужь вы меня извините... я не могу... я пойду, сказалъ Иванъ Петровичъ...

— Ради Бога, заходите, шепотомъ и скороговоркой сказала Наденька.—Съ ума можно тутъ сойдти...

Красные-Талы.

(Отрывокъ).

(Льву Елисѣевичу Каванько).

I.

Далеко отъ Петербурга, далеко и отъ Москвы, тамъ гдѣ-то въ глуши одной изъ нашихъ степныхъ губерній, надъ берегомъ широкой, спокойной, ровной рѣки, опершись на подгнившія деревянныя колонны, стоитъ старинный барскій домъ. Хмуро, нелюдимо глядитъ онъ. Садъ вокругъ него, зеленый, густой, съ заросшими дорожками, съ высокими дупловатыми липками, съ рябиной вдоль каменной ограды. А тамъ за садомъ все поле, поле, и конца ему не видать. Зимой по этому полю морозъ трещитъ, гуляетъ вѣтеръ съ метелью, лѣтомъ шепчутся колосья съ нимъ, а весною да осенью ранней льется на него потъ съ суровыхъ загорѣлыхъ лицъ и льется онъ среди пѣсенъ или стону—Богъ ихъ разберетъ... Порой, гоняясь за зайцами, проскачетъ по немъ чей-то баринъ заѣзжій, съ псовой охотой, проѣдетъ становой на обывательскихъ... и опять тихо, какъ въ могилѣ...

Прежній владѣлецъ Красныхъ-Таловъ—такъ зовется это мѣсто — Николай Семеновичъ Горѣловъ, былъ молодецъ собою, высокаго роста, брюнетъ, съ черными длинными казацкими усами. Въ знаменитую эпоху двѣнадцатаго года онъ еще почти мальчикомъ — 16 лѣтъ, поступилъ на службу, разумѣется, военную. Отца его въ это время уже не было въ живыхъ, и мать, снаряжая сына въ полкъ, зашила ему въ ситцевый красный нагрудникъ десятка два ходившихъ тогда сторублевыхъ ассигнацій, да подарила для услуги Ваську—старика-лакея, лѣтъ пятидесяти. Васькѣ было приказано слѣдить за бариномъ, а барину — не баловать лакея. За этимъ мудрымъ распоряженіемъ попъ отслужилъ молебенъ и окропилъ святой водой Николая Семеновича и его сундуки, отвѣдалъ поданную закуску, похвалилъ и разрѣшилъ на вино и елей и, еще благословивъ отъѣзжающаго, пожелалъ ему счастливаго пути. Потомъ, по старинному русскому обычаю, всѣ сѣли и, посидѣвъ съ полминуты, начали креститься. Умныя житейскія рѣчи говорила ему мать на прощаньи. Хныкала, рыдала и цѣловала дворня его барскія ручки. Наконецъ, кончилось все это. Николай Семеновичъ сѣлъ въ огромныя сани, Василій прыгнулъ на облучокъ—и тройка покатила...

Образованія Николай Семеновичъ никакого не имѣлъ, чѣмъ онъ и хвастался потомъ передъ сыномъ. Я-де его на мѣдныя деньги получилъ, часто говаривалъ онъ. Сперва приходскій попъ ходилъ его учить четью да цифири, а потомъ, должно быть такъ же, какъ и въ наше время, для передачи высшаго образованія былъ нанятъ какой-то французъ, не то голландецъ. Такъ воспитывался онъ до того времени, пока соотечественники его мирнаго наставника не вступили въ Россію. Лишь только разнеслась вѣсть, что французы идутъ на Москву, бѣднаго гувернера вытолкали, а немного спустя, Николай Семеновичъ былъ уже на службѣ.

Много самыхъ положительныхъ качествъ вынесъ онъ изъ нея... да какъ и не вынесть ихъ изъ такой школы?.. Свыкся онъ съ нуждою, пробиравшею подъ часъ и его, привыкъ слѣпо уважать начальство, привыкъ не разсуждать и не выслушивать разсужденій. Благодаря тому, что былъ стариннаго барскаго роду, съ хорошимъ состояніемъ, зналъ фрунтовикъ, онъ довольно таки скоро добрался до капитанскаго чина. Дальше судьба не пустила его.

Разъ какъ-то, поздно вечеромъ, онъ, сильно уже подгулявъ, возвратился съ пирушки; Васька подалъ ему письмо: оно было отъ приказчика, — имъ увѣдомлялся молодой хозяинъ Красныхъ - Таловъ, что его матушка внезапно изволила Богу душу отдать-съ, и что какъ прикажете, молъ, теперь распоряжаться?.. Николай Семеновичъ вышелъ въ отставку; на разставаньи задалъ пирушку товарищамъ, и въ глухую осеннюю ночь, подъ проливнымъ дождемъ, прикатилъ въ Красные Талы.

Сперва, разумѣется, поскучалъ, потомъ познакомился съ сосѣдями, завелъ пѣсенниковъ, цыганъ, псовую охоту,—и дни полетѣли за днями. Цѣлый день, бывало, тѣшится онъ, любуясь, какъ съ гамомъ и свистомъ носятся псари по запаханнымъ полямъ. Истопчатъ, испортятъ они хлѣбъ — не бѣда — онъ вчетверо заплатитъ—не перечь только волѣ его. Устанетъ—пріѣдетъ домой, пообѣдаетъ, ляжетъ отдохнуть, а тамъ къ вечеру съѣдутся сосѣди, соберутъ пѣсенниковъ, цыганъ, дѣвокъ крестьянскихъ, заставятъ ихъ пѣть, плясать— хоть плачь, а пляши... Да слезъ онъ и не любилъ за этой потѣхой. Что ты, дура, разхныкалась, бывало грозно скажетъ онъ какой дѣвкѣ, а та ужь со страха ни жива, ни мертва. Перепьются, посадятъ цыганокъ къ себѣ на колѣни, дѣвокъ перепоятъ, хохотъ, визгъ... ну, а тамъ извѣстно дѣло и спать пора... Весело, вольно

пожилъ онъ въ свою потѣху, — всѣ сосѣди завидовали ему. Такъ минуло лѣтъ десять, а то пожалуй и больше. Прискучила, однако, ему эта жизнь. Да и то сказать: въ сорокъ почти лѣтъ человѣкъ уже не тотъ, что въ двадцать. Задумалъ онъ жениться.

II.

Недалеко отъ Красныхъ-Таловъ, такъ верстахъ въ двухъ, жили въ своей деревенькѣ, Тальникахъ, мелкопомѣстные дворяне Махровы. Все семейство ихъ состояло изъ трехъ человѣкъ: Ивана Серапіоныча, супруги его, Анастасьи Ильинишны, и дочери, Кати.

Добрые, тихіе были они люди.

Иванъ Серапіонычъ когда-то служилъ въ военной службѣ и сражался съ пруссаками, видѣлъ разъ Фридриха Великаго и очень хорошо помнитъ Румянцева. Говорилъ онъ о немъ не иначе, какъ произнося весь титулъ покойнаго фельдмаршала. Какія-то домашнія обстоятельства заставили его выйдти въ отставку, и онъ вышелъ съ чиномъ секундъ-маіора, медалями, крестами и ломотой въ ногахъ. По пріѣздѣ въ деревню, родительница Ивана Серапіоныча, Екатерина Ивановна, доказала ему необходимость вступить въ законный бракъ. И вотъ однажды вечеромъ Иванъ Серапіонычъ сходилъ въ баню, аккуратно выпарился тамъ новымъ березовымъ вѣникомъ и на другой день въ полной парадной формѣ поѣхалъ, сопровождаемый своей родительницей, плѣнять сердце Настеньки Дреудовой. Плѣненіе это совершилось очень скоро, и съ той поры Иванъ Серапіонычъ мирно зажилъ въ своихъ Тальникахъ. Черезъ годъ у него скончалась родительница, а мѣсяцъ спустя послѣ этого горестнаго происшествія Анастасія Ильинишна благополучно разрѣ-

шилась отъ бремени дочкой, которая и была названа въ честь своей бабушки Катенькой.

Больше Иванъ Серапіонычъ не имѣлъ дѣтей, да и не молодъ былъ. Все бывало сидитъ у себя въ кабинетикѣ, развернетъ на удачу четьи-минеи, да и смотритъ туда сквозь свои огромныя очки съ зелеными стеклами.

Странно былъ устроенъ этотъ кабинетикъ. Въ одномъ углу стояло огромное кресло, на которое Иванъ Серапіонычъ приглашалъ садиться всегда самаго почетнаго гостя. Кресло это дѣлалъ столяръ Герасимъ, слывшій во всемъ околоткѣ за необыкновеннаго искусника. Сдѣлалъ онъ въ этомъ креслѣ какую-то выдвижную подножку, подставку для свѣчи и еще нѣсколько хитростей—все въ этомъ же родѣ. Рядомъ съ этимъ кресломъ стоялъ письменный столъ, работы того же Герасима. На немъ лежали горками четвертки Жукова, начинавшаго въ то время входить въ популярность, трубки, чубуки въ бисерныхъ чехлахъ; приходо-расходныя книги, прошнурованныя и скрѣпленныя печатями. Для чего все это было сдѣлано — менѣе всѣхъ зналъ, кажется, самъ хозяинъ этихъ книгъ. На этомъ же столѣ по правую сторону лежали четьи-минеи, псалтирь, святцы, „Душенька“ Богдановича и рукописная тетрадка—сонъ Пресвятой Богородицы. По стѣнамъ были развѣшены портреты Суворова, Румянцева, императора Павла верхомъ на рыжемъ конѣ и съ саблей въ правой рукѣ. Дальше висѣлъ огромный портретъ родителя Ивана Серапіоныча, Серапіона Ивановича, писанный діакономъ села Заворотникова. Серапіонъ Ивановичъ былъ изображенъ въ гвардейскомъ мундирѣ, съ какимъ-то краснымъ орденомъ на шеѣ, сильно напоминавшемъ собою подбородокъ у индѣйскихъ пѣтуховъ. Надъ изголовьемъ диванчика, на которомъ послѣ обѣда отдыхалъ Иванъ Серапіонычъ, висѣлъ карабинъ,

два турецкихъ пистолета—подарокъ какого-то паши, котораго во время плѣна караулилъ Иванъ Серапіонычъ, и еще какія-то смертоносныя оружія. Комната Анастасіи Ильинишны была убрана, разумѣется, совершенно иначе. На первомъ планѣ стояла огромная двухспальная кровать краснаго дерева съ рѣзными изображеніями амуровъ, пылающихъ сердецъ, изломанныхъ и цѣлыхъ стрѣлъ и т. п. На взбитомъ пуховикѣ, поверхъ розоваго атласнаго одѣяла, стеганнаго узорами, похожими тоже на пылающія сердца и амуровъ, лежали подушки. На тѣхъ изъ нихъ, на которыхъ почивала Анастасія Ильинишна, лежала еще цѣлая груда маленькихъ подушекъ. Днемъ для симметріи они раскладывались и на подушки Ивана Серапіоныча, но почивала на нихъ одна Анастасія Ильинишна. Иванъ Серапіонычъ даже сердился, если, придя почивать, находилъ ихъ на своихъ подушкахъ.

— Это ты, матушка, любишь эту дрянь, ну и спи на нихъ, а ко мнѣ-то ихъ зачѣмъ подкладывать?—и Иванъ Серапіонычъ съ сердцемъ сталкивалъ ихъ.

Настасья Ильинишна глубоко оскорблялась этимъ. Впрочемъ, полежавъ немного, Иванъ Серапіонычъ соображалъ всю грѣховность своего поступка и уже ласково начиналъ заговаривать.

— Ты, кажется, Настенька, сердишься на меня!.. Дурочка! вѣдь это я такъ только... пошутилъ немного.

— Вы, Иванъ Серапіонычъ, всегда такъ шутите, отвѣчала Настасья Ильинишна, также уже расположенная къ примиренію...

Затѣмъ они цѣловались, и ихъ мирныя отношенія возстанавливались до слѣдующаго подобнаго же случая...

Кровать эту, на которой разыгрывались такія аркадскія сцены, окружали ширмы, но такъ искусно поставленныя, что въ торжественные дни изъ гостиной можно

было очень хорошо разсмотрѣть и розовыя наволочки на подушкахъ, и атласное одѣяло, и даже его искусное стеганье. Одинъ уголъ комнаты былъ занятъ шкафомъ, снизу до верху установленнымъ образами въ серебряныхъ и золотыхъ ризахъ.

Въ другомъ углу помѣщался шкафъ, но занятый не образами, а все суетными житейскими предметами и преимущественно наливками разныхъ сортовъ. Ключи отъ этого шкафа Настасья Ильинишна тщательно скрывала отъ Ивана Серапіоныча. Причина была такая: Иванъ Серапіонычъ часто озябалъ и ознобъ этотъ старался всегда унять травникомъ или наливкой — рябиновкой: онъ ее особенно любилъ. Настасья Ильинишна, не понимая страданій своего супруга, относила ихъ всегда къ не совсѣмъ похвальной наклонности, и потому-то храненіе ключей, особенно въ первые годы своего замужества, Настасья Ильинишна ставила себѣ въ число супружескихъ обязанностей. Поэтому Иванъ Серапіонычъ долженъ былъ пользоваться оплошностью Настасьи Ильинишны, случайно забывавшей ключи гдѣ нибудь на диванѣ или креслѣ.

Кромѣ этихъ шкаповъ, въ опочивальнѣ Настасьи Ильинишны стояли еще сундуки съ разнымъ домашнимъ хламомъ: тальками, пряжей, суконными чулками.

Одинъ изъ нихъ былъ побольше и покрасивѣе другихъ и заключалъ въ себѣ подвѣнечное платье Настасьи Ильинишны, турецкую шаль, старое страусовое перо, два мундира Ивана Серапіоныча съ перегнутыми позади воротниками и т. п.

Изъ спальни одна дверь вела въ гостинную, а другая въ дѣвичью, огромную комнату, биткомъ набитую горничными. По порядку, заведенному спокон вѣку, всѣ дворовыя и крестьянскія дѣвушки съ девяти-лѣтняго возраста поступали въ горницу, гдѣ и пробывали вплоть

до своего замужества. За нравственностію ихъ смотрѣла ключница Арина, жена ключника Семена, особа, чрезвычайно близкая Настасьѣ Ильинишнѣ и оттого занимавшая главную роль въ ея многочисленномъ штабѣ.

Такимъ высокимъ довѣріемъ Арина была почтена за свои дѣйствительныя заслуги. Настасья Ильинишна была хозяйка въ полномъ смыслѣ этого слова. Ея водица, наливка, травнички славились въ цѣломъ околоткѣ; славился также и уксусъ ея, а это, какъ извѣстно, дѣло не легкое. Изъ своего долговременнаго опыта Настасья Ильинишна вывела такое заключеніе: уксусъ любитъ чистоту; если кто дотронется до уксусныхъ бутылей съ нечистыми руками или вообще нечистый, то хоть выливай его—навѣрное испортится. Арина была чистая—это не подлежало сомнѣнію—она всегда и разливала уксусъ. Разъ какъ-то, видно ужъ Провидѣніе такъ рѣшило, случилось, что Арина была больна и, какъ на грѣхъ словно, пришлось это именно въ ту пору, когда надо было разливать уксусъ. Откладывать эту операцію никакъ нельзя было; Настасья Ильинишна и позвала горничную Марфушку, которая за ней самой ходила, будучи вполнѣ увѣрена, что освященная такимъ высокимъ званіемъ, Марфуша непремѣнно чистая. Но—Богъ знаетъ, что случилось. Черезъ два дня, какъ разлили уксусъ, Настасья Ильинишна пошла провѣдать. Глядь, въ бутылкѣ какая-то дрянь плаваетъ и на видъ-то такая не хорошая. Настасья Ильинишна такъ и обомлѣла, позвала Марфушку и показываетъ ей.

— Смотри, говоритъ, окаянная, что это ты со мною надѣлала, ну, виданная ли это вещь?

Марфушка въ ноги.

Сударыня не погубите, я не виновата, говоритъ: я чистая, непорочная, извольте хоть сами посмотрѣть.

— Ахъ ты, мерзавка! такія рѣчи смѣешь мнѣ говорить!

Разумѣется, всѣ оправданія и доказательства, самыя несомнѣнныя, въ чистотѣ и непорочности Марфушки были отвергнуты Настасьей Ильинишной. Она даже не слушала ихъ.

— Ну, Марфушка, не ожидала я этого отъ тебя, продолжала она. — Ну, поди теперь, развѣ влѣзешь въ васъ! Ужь на что бы кажется,—и собой простовата и то вотъ что!

И Настасья Ильинишна, лишивъ ея прежняго довѣрія, приказала уксусъ вылить, бутыли разбить, дрянь, которая завелась въ уксусѣ, пустить на воду, а у Марфушки косу отрѣзать.

— Какова Марфушка-то, говорила потомъ Настасья Ильинишна Аринѣ, когда та выздоровѣла.

— И ни... матушка, Настасья Ильинишна, и въ голову-то никому не приходило, а на дѣлѣ-то вотъ что вышло. А еще за вашей милостью ходила... ну, долго-ль до грѣха-то. Да и догадаться-то никто бы не догадался, что она все это... Вѣдь на работу—золото дѣвка. Вотъ Дашка — про ту ничего хорошаго не скажешь: ни нравомъ, ни поведеніемъ, ни работой—ничѣмъ не взяла... Извольте, матушка, слышать: ужъ третьяго...

— Что ты, Арина, всплеснувъ руками, вскрикивала Настасья Ильинишна.—Ахъ она, съ позволенія сказать... Васютка! кричала она она маленькой дѣвочкѣ, и лѣто и зиму ходившей въ суконныхъ чулкахъ и изорванномъ ситцевомъ капотишкѣ, изъ котораго клочками лѣзла вата. Назначено Васюткѣ было носить за барыней скамеечку подъ ноги и мѣдный тазикъ для плеванія.

Васютка знала, зачѣмъ ее зовутъ, и подбѣжала къ барынѣ съ тазикомъ. Настасья Ильинишна аккуратно

плюнула туда и потомъ, вытирая губы платкомъ, спрашивала:

— Ну что же, Арина, мальчика или дѣвочку?

— Мальчика, матушка, и изъ себя-то такой сытый да бѣлый, хоть бы законному такому быть.

— Ахъ она, безстыдница эдакая... Васютка!

Дѣвочка опять подбѣгала съ тазикомъ и Настасья Ильинишна опять плевала туда набѣжавшую слюну.

— А что, матушка, хотѣла я васъ спросить, помолчавъ немного, начинала Арина: — на счетъ этихъ незаконныхъ-то... Что, сударыня, и они въ царствіе небесное принимаются?

Настасья Ильинишна хоть и была поражена такой неожиданностью въ вопросѣ, но все же, помолчавъ немного, рѣшила его такъ:

— Принимаются, Арина, и они, а все ужь не то, что законные.

— Ну, объ этомъ-то, матушка, что и толковать: гдѣ ужь имъ супротивъ законныхъ-то!..

Вотъ такими-то разговорами да доказанной чистотой и тѣмъ, что ходила за Катенькой, Арина и пріобрѣла свое могущество.

III.

Каждое воскресенье Махровы всѣмъ семействомъ ѣздили въ церковь версты за три, гдѣ Иванъ Серапіонычъ былъ церковнымъ старостой. Чинно, важно, бывало, взойдетъ и станетъ Настасья Ильинишна съ дочерью на особомъ мѣстѣ, не далеко отъ лѣваго клироса. Иванъ Серапіонычъ въ полной парадной формѣ, со всѣми медалями и крестами, тоже не мѣшался въ толпу. Въ одну изъ такихъ поѣздокъ въ церковь, они встрѣтили тамъ Горѣлова. Въ отличной медвѣжьей шубѣ, онъ важно

стоялъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ обыкновенно становилась Настасья Ильинишна. Замѣтивъ, что ея мѣсто занято, Настасья Ильинишна сперва было оторопѣла какъ-то, но потомъ, вспомнивъ свое дворянское происхожденіе, ободрилась этимъ, прошла и стала съ дочерью рядомъ съ Николаемъ Семенычемъ. Иванъ Серапіонычъ тоже пошелъ за своей супругой, но, Богъ знаетъ, какъ это случилось, проходя мимо Николая Семеновича, взглянувъ на него, улыбнулся и поклонился. Николай Семеновичъ тоже поклонился и даже протянулъ руку.

— Мы съ вами, кажется, сосѣди, замѣтилъ онъ, — а не бываемъ другъ у друга. Милости прошу ко мнѣ.

Всю обѣдню Николай Семеновичъ ни сводилъ глазъ съ Катеньки; ея свѣжее, хорошенькое личико, доброе кроткое выраженіе на немъ, густая темная коса, зарумяненныя щеки — все это живымъ контрастомъ рисовалось передъ нимъ въ сравненіи съ испитыми цыганками и всей его обычной компаніей. Вотъ развѣ на ней жениться? подумалъ онъ, выходя изъ церкви, и постоялъ немного на паперти; затѣмъ онъ крѣпче запахнулся въ шубу, поправилъ шапку и, садясь въ свои росписныя сани, крикнулъ кучеру:

— Пошелъ въ Тальники.

Махровы въ это время тоже усаживались въ свои сани и что-то толковали о Горѣловѣ, какъ вдругъ Настасья Ильинишна почти закричала:

— Иванъ Серапіонычъ, Иванъ Серапіонычъ! посмотрите-ка, вѣдь Горѣловъ-то никакъ къ намъ поѣхалъ? А у насъ-то теперь небось просто кутерьма, а Арина и не догадается убрать!

Лихо подкатилъ Николай Семеновичъ къ скромному домику Махровыхъ, вышелъ изъ саней и приказалъ кучеру шагомъ проѣзжать своихъ взмыленныхъ лошадей.

Въ домѣ поднялась страшная суматоха. Гости пріѣхали! гости пріѣхали! кричалъ безчисленный штабъ Настасьи Ильинишны, и изо всѣхъ замочныхъ дырочекъ, какъ на диво, на Николая Семеновича были устремлены любопытные глаза. Арина изъ почтенія къ нему подошла было къ ручкѣ, но, не получивъ ея, поцѣловала его въ плечико.

Въ комнатѣ, выходившей изъ передней и носившей названіе зала, былъ накрытъ столъ. Арина ожидала господъ отъ обѣдни, приготовила уже все къ закускѣ. Масло, сыръ, колбасы, грибки стояли вокругъ того мѣста, на которое вскорѣ долженъ былъ явиться пирогъ.

Немного погодя, пріѣхали и хозяева. Николай Семеновичъ пошелъ ихъ встрѣчать.

— Вы меня, надѣюсь, извините, сказалъ онъ, — что я опередилъ васъ немного и теперь встрѣчаю.

— И-и, Николай Семеновичъ! что вы, Богъ съ вами, помилуйте, честь намъ такую сдѣлали, да намъ еще претензію выказывать! Мы, батюшка, люди простые, сосѣди, и Настасья Ильинишна начала передъ нимъ разсыпаться.

Катенька второпяхъ запуталась и никакъ не могла разстегнуть свой салопъ. Николай Семеновичъ помогъ ей справиться. Зарумяненная на морозѣ, она еще больше покраснѣла отъ этой учтивости. Николай Семеновичъ просидѣлъ у нихъ съ часъ, отвѣдалъ пирога, сосисокъ, удивлялся наливкамъ, былъ почтителенъ съ старшими, шутилъ съ Катенькой. Уѣзжая, онъ поцѣловалъ ея ручку.

— Я буду къ вамъ почаще заѣзжать, ваши дивныя наливки пить, сказалъ онъ Настасьѣ Ильинишнѣ. — Я такихъ отъ роду не пивалъ.

Проводивъ гостя, весь остатокъ этого дня Иванъ Серапіонычъ съ Настасьей Ильинишной протолковали о Гореловѣ. На слѣдующій день Иванъ Серапіонычъ, по обыкновенію, облеченный во всѣ свои регаліи, поѣхалъ

къ нему. Дома онъ не засталъ Горѣлова и поэтому очень скоро вернулся назадъ. И этотъ день разговоръ шелъ все о Горѣловѣ же. Настасья Ильинишна была въ восторгѣ отъ него. Иванъ Серапіонычъ находилъ его человѣкомъ тоже очень хорошимъ.

Однажды у него съ Настасьей Ильинишной о Горѣловѣ зашелъ такой разговоръ.

— На это, матушка, нечего смотрѣть, что онъ прежде кутилъ: это пустяки, этого за кѣмъ изъ насъ не водилось. Я съ молоду-то то же развѣ такой былъ? Бѣдовый былъ... Въ Пруссіи мы стояли... Что мы дѣлали-то!.. Зайдешь въ трактиръ, а тамъ нѣмочка польку играетъ, танцуютъ эдакъ, ну и сама знаешь, ну и сама знаешь, Настенька, ну, понимаешь?..

— Я, Иванъ Серапіонычъ, ничего не понимаю, а удивляюсь, зачѣмъ это вы такія гадости говорите, да еще при дочери вашей. Мало ли какія вы мерзости дѣлали...

— Да вѣдь это, Настенька, правда, вѣдь безъ этого ни одинъ человѣкъ, т. е. мужчина, не обойдется...

— Катенька, уйди, уже разсердившись, сказала Настасья Ильинишна и, по уходѣ дочери, задала головомойку Ивану Серапіонычу.

Кротко вытерпѣлъ онъ этотъ гнѣвъ, ни слова не промолвилъ и только все откашливался въ руку. Наконецъ, когда Настасья Ильинишна преложила гнѣвъ на милость, онъ понюхалъ табаку, слезливо заморгалъ глазами, высморкался и, какъ будто ни въ чемъ не бывало, спросилъ:

— А гдѣ же Катенька?..

IV.

Черезъ нѣсколько дней Николай Семеновичъ опять былъ у нихъ, потомъ побывалъ еще раза два и объявилъ Настасьѣ Ильинишнѣ, что хочетъ жениться на Катенькѣ.

— За честь, Николай Семеновичъ, очень благодарны, сказала она, — а слова безъ Катеньки не дамъ, нѣтъ, батюшка, не дамъ: она у насъ дитя единственное.

Настасья Ильинишна была въ восторгѣ. Катенька тоже не противилась. Николай Семеновичъ нравился ей. Арина смѣялась и цѣловала Катеньку, приговаривая, вотъ какую лебедушку я выходила, какого женишка-то мы схватили! Безчисленныя горничныя, чистыя и нечистыя, поздравляли Катеньку. Какъ-то осанистѣе ходилъ Иванъ Серапіонычъ. Начались приготовленія къ свадьбѣ, пошли хлопоты о приданомъ. Настасья Ильинишна вся погрузилась въ эти занятія; Арина помогала ей. Горничныя почувствовали себя свободнѣе. Чаще сталъ забѣгать къ нимъ ткачъ Дениска, молодой парень. Разъ, кажется, Арина застала его на мѣстѣ преступленія: онъ цѣловался съ какой-то горничной. Прежде бы бѣда была за это, а теперь она только побрюзжала себѣ подъ носъ: „охъ, ты мнѣ, бѣдовая голова, нѣкогда-то мнѣ только теперь съ вами возиться, окаянныя, а то бы я дурь-то эту всю повытрясла!..“ и опять побѣжала куда-то.

Впрочемъ, приготовленія эти, къ крайнему огорченію Настасьи Ильинишны, тянулись очень не долго. Пріѣхалъ Николай Семеновичъ и объявилъ, что свадьбу онъ назначаетъ въ слѣдующее воскресенье.

— Отецъ ты мой родной, да какъ же это такъ? Вѣдь ничего еще не готово. Вчера только портниху привезли изъ города?

Настасья Ильинишна на правахъ будущей тещи говорила уже ты Николаю Семеновичу.

— Да ей этихъ тряпокъ-то не нужно, у нея и безъ вашихъ будетъ ихъ пропасть, отвѣчалъ онъ.

Настасья Ильинишна оскорбилась такимъ отзывомъ о своихъ матерчатыхъ платьяхъ; однако, дѣлать нечего, согласилась праздновать свадьбу въ это воскресенье.

Лихо, весело, разумѣется, отпраздновалъ ее Николай Семеновичъ. Три дня чуть не цѣлый уѣздъ пировалъ у него въ гостяхъ. Отъ дома до церкви, вдоль по большой дорогѣ, съ трескомъ горѣли смоленыя бочки. Все было хорошо, весело, какъ слѣдуетъ. Одно только не нравилось Настасьѣ Ильинишнѣ — не называлъ Николай Семеновичъ ни ее—матушкой, ни Ивана Серапіоныча—батюшкой, да не цѣловалъ у нея ручки.

V.

Сначало до страсти любилъ Николай Семеновичъ свою молодую жену. Души въ ней нечаялъ. Холилъ, нѣжилъ ее. Какихъ платьевъ онъ нашилъ ей! Всѣ сосѣди дивились... Но не долго тянулось ея счастіе, разомъ улетѣло. Все холоднѣе день ото дня становился къ ней Николай Семеновичъ. Надоѣла она ему, что ли, — Богъ его знаетъ!..

Сперва она все скрывала отъ матери, потомъ, да вѣдь и то сказать, всего не утаишь, разсказала все, какъ есть.

Принялись они съ нею плакать. Ужь они плакали, плакали, да только и взяли. Что же станешь дѣлать?..

Разъ какъ-то пріѣхала Настасья Ильинишна отъ дочери; встрѣтилъ ее Иванъ Серапіонычъ и спрашиваетъ: что Катенька?

— Да что Катенька?.. погубили вы ее, вотъ и все тутъ.

— Какъ я погубилъ?

— Да такъ: просватали—вотъ какъ погубили!

— Бога въ тебѣ нѣтъ, матушка, со слезами проговорилъ Иванъ Серапіонычъ. Сама все устроила, а я дочь погубилъ. Слезы хлынули. Больше онъ ничего не сказалъ.

Прошла весна, прошло и лѣто, скучно стало въ Тальникахъ; скучала и Катенька въ Красныхъ Талахъ. Николай Семеновичъ развѣ только не позабылъ, какъ зовутъ ее. Уѣдетъ на охоту, Богъ знаетъ, гдѣ пропадаетъ три-четыре дня. Вернется въ полночь, пьяный, съ цѣлой толпой подгулявшихъ товарищей, поднимутъ шумъ, гамъ. Она, бѣдная, испугается, соскочитъ, какъ сумасшедшая съ постели, выбѣжитъ въ дѣвичью, да такъ всю ночь и не ложится. Только плачетъ да молится. Сначала она было просила его, чтобы онъ не уѣзжалъ отъ нея, да не пилъ бы. А онъ только посмотритъ на нее, обниметъ, улыбнется; „хорошенькая ты бабенка,—скажетъ онъ,—а не въ свое дѣло не мѣшайся“, поцѣлуетъ ее да и уйдетъ. А иной разъ такъ и вовсе разсердится, хватитъ кулакомъ по столу, такъ что доски затрещатъ. „Я—скажетъ—не привыкъ, чтобы меня учили!..“

Какъ-то уже осенью, послѣ Покрова, Николай Семеновичъ уѣхалъ на охоту. По обыкновенію, онъ не сказалъ никому, когда онъ вернется. Катенька была больна въ это время и послала лошадей за своими въ Тальники. Настасья Ильинишна съ Иваномъ Серапіонычемъ сейчасъ же пріѣхали. Долго сидѣли они, все толковали кой о чемъ; наконецъ улеглись спать. Вдругъ, часа въ три ночи, колокольчикъ звенитъ—Николай Семеновичъ пріѣхалъ, да еще не одинъ, а съ нимъ человѣкъ пять сосѣдей — всѣ пьяные. Не зная, что въ кабинетѣ у него

есть Иванъ Серапіонычъ, онъ всю компанію повелъ туда.

— Это кто такой, закричалъ онъ лакею, указывая на Ивана Серапіоныча.

— Иванъ Серапіоновичъ, отвѣтилъ лакей.

— Ба! Имѣю честь, господа, представить вамъ тестя моего, и съ этими словами началъ подбрасывать его въ воздухѣ.

Со сна Иванъ Серапіонычъ насилу могъ понять, въ чемъ дѣло.

Тяжело заныло сердце у бѣднаго старика: онъ не гадалъ, что ему придется такъ доживать свой вѣкъ. Засѣлъ у себя въ кабинетѣ и не выходилъ оттуда. Сидитъ, бывало, облокотившись на обѣ руки, смотритъ въ окно, что въ садъ выходитъ, а у самого слезы по щекамъ текутъ. Придетъ къ нему Настасья Ильинишна, такая же грустная, сядетъ на большое кресло съ хитростями, да такъ и сидятъ молча, иной разъ часа три просидятъ, ни слова не проронятъ.

Быстро старѣлся Иванъ Серапіонычъ. Посѣдѣлъ еще пуще прежняго. Отпустилъ себѣ бороду, да такъ и ходитъ, только иногда подстригалъ ее: все, говоритъ, приличнѣе.

Прежде у него все ноги ломило, а теперь пухнуть стали. Привозили лекаря изъ города; онъ мази какой-то далъ, да декохтъ велѣлъ пить—ничего не помогло, только лечили понапрасну. Прохворалъ онъ всю зиму, а весною только-что тронулся ледъ, и его не стало.

Не долго пережила его и Настасья Ильинишна. Словно свѣча истаяла. Богъ знаетъ, что за болѣзнь была у нея. Жаловалась, что все сердце ноетъ.

Катенька была беременна въ это время. Отчего-то ласковѣе сдѣлался къ ней Николай Семеновичъ, а ужъ

она-то какъ была рада этому. Наконецъ родился у нихъ сынъ; назвали Юріемъ его.

Совсѣмъ иная сдѣлалась теперь Катенька. Она ужь не плакала больше, когда бушевалъ ея мужъ. Она какъ-то словно окаменѣла къ нему. Ей стало все равно—ну, что онъ хочетъ, то пусть себѣ и дѣлаетъ, лишь бы ее съ сыномъ не трогалъ. Все, бывало, только и сидитъ съ нимъ, да няньчитъ его. Сама и кормила его. Хорошенькій былъ мальчикъ, черноглазый:—весь въ отца. Что-то будетъ изъ тебя, думала она часто, пристально взглядываясь ему сонному въ лицо. Словно хотѣла разгадать по лицу его судьбу.

VI.

А онъ все росъ себѣ да росъ. Вотъ уже и девятый годокъ ему. Какой онъ сильный да крѣпкій! Ужь вовсе не похожъ на тѣхъ чахлыхъ воспитанниковъ французскихъ или нѣмецкихъ гувернеровъ, что ходятъ съ зелеными лицами, а улыбка на устахъ.

Отца нѣтъ дома, мать лежитъ полубольная, а онъ въ полушубочкѣ катается на конькахъ, играетъ въ снѣжки съ деревенскими мальчиками. Веселъ, здоровъ. Прійдетъ домой, лицо такое свѣжее, смѣется, разсказываетъ матери, какъ ловко перескочилъ онъ черезъ прорубь, какъ за нимъ хотѣлъ тоже сдѣлать какой-то крестьянскій мальчикъ—не съумѣлъ и упалъ въ воду, и они ужь его насилу вытащили. И звонко, весело звучитъ его голосокъ. А мать встанетъ съ кровати, пройдется по комнатѣ, ослабѣетъ, сядетъ на диванъ, посадитъ его съ собою рядомъ, прикроетъ полой своей бѣличьей шубки, сидитъ молча, смотритъ на него, какъ будто слушаетъ, а не то у нея въ головѣ: вчера у нея пуще прежняго грудь болѣла, сегодня отхлынуло немного, а завтра опять

заболитъ, начнется кашель, обезсилѣетъ... На ея кроткихъ глазахъ заблестѣли слезы, и она спѣшитъ ихъ утереть, чтобы только онъ не замѣтилъ, а станетъ приставать: о чемъ ты, мама, плачешь? и она его жарко цалуетъ.

Вдругъ колокольчикъ. Отецъ пріѣхалъ. Не въ духѣ, приколотилъ лакея, зачѣмъ кушанье не готово. Идетъ къ ней.

— Что ты, опять больна?

— Да.

— Притворщица...

— А ты что тутъ дѣлаешь? все небось вѣшаешься да слушаешь, какъ отца бранятъ? Пошелъ, возьми книжку и читай. Вотъ я тебя, голубчикъ, скоро, скоро упрячу въ ежевыя рукавицы.

Юша взялъ книжку, развернулъ ее, сѣлъ къ окну и задумался. За что онъ на меня бранится все? Вѣдь я учился уже сегодня? Ахъ, еслибы онъ уѣхалъ опять куда нибудь...

— Иди обѣдать, кричитъ отецъ, что тебя надо всегда приглашать!.. избаловали... и онъ опять повторяетъ обѣщаніе отдать его въ ежевыя рукавицы.

Молча, потупя голову, сидитъ онъ за обѣдомъ. Противъ него отецъ. Обѣдаютъ они вдвоемъ. Мать отказалась отъ обѣда и лежитъ у себя въ спальнѣ. Подаютъ кушанья. Юша отказывается.

— Подай ему, кричитъ отецъ,—ѣшь.

— Папа, я не хочу этого.

— Молчи; если говорятъ: ѣшь—такъ долженъ ѣсть. Я тебя выучу слушаться.

Нечего дѣлать, Юша беретъ съ блюда, начинаетъ ѣсть, а слезы душатъ его.

Господи, господи, пошли мнѣ терпѣніе! вотъ муки-то!..

думаетъ Катерина Ивановна, прислушиваясь къ тому, что дѣлается въ столовой.

Усталая, обезсиленная безъ работы, она заснула у себя въ спальнѣ. Ушелъ и Николай Семеновичъ отдыхать въ кабинетъ. Юша одинъ. Скучно ему. Что дѣлать? И вотъ онъ на цыпочкахъ, осторожно подкрадется къ замочной дырочкѣ въ кабинетной двери, приставитъ глазъ и смотритъ, что отецъ дѣлаетъ. Темно, тихо все, должно быть спитъ. Сперва въ буфетѣ изрѣдка тарелками постукивали, а потомъ и тамъ все стихло, должно быть и тамъ заснули. Въ дѣтской уснула старуха — няня Варвара, согнувшись на сундукѣ. Въ гостиной темно. Со стѣнъ смотрятъ все портреты какіе-то: мама говорила, что это все дѣдушки его. Сядетъ онъ на диванъ, смотритъ, смотритъ на нихъ, да и самъ заснетъ.

Вотъ, прошипѣвъ съ минуту, старые дѣдовскіе часы пробили пять разъ. Иванъ свѣчи принесъ въ гостиную.

— И вы, Юрій Николаевичъ, изволили, кажется, почивать сегодня, скажетъ онъ, замѣтивъ его заспанные глазки.

— Да, Иванъ, заснулъ, а самъ покраснѣетъ, точно что дурное сдѣлалъ... Посидитъ онъ еще немного, спрыгнетъ съ диванчика, подойдетъ къ зеркалу, расправитъ свои спутанные волосы, сдѣлаетъ какую нибудь гримаску и побѣжитъ въ припрыжку къ матери въ спальню.

— Юша, ты спалъ сегодня? спроситъ она его, цѣлуя въ лобъ.

— Спалъ, мама, отвѣчаетъ онъ, укрываясь ея кацавейкой.

— А отецъ проснулся?

— Не знаю,—кажется, проснулся.

— За что онъ сегодня за обѣдомъ кричалъ на тебя?

— Я не хотѣлъ соусъ ѣсть, а онъ заставлялъ меня.

— Слушайся его всегда: вѣдь онъ тебѣ отецъ.

— Да, мама, я не хотѣлъ ѣсть.

— Ну, что же дѣлать: велятъ ѣсть, надо слушаться.

Скучно, особенно зимой, по вечерамъ въ деревнѣ. Подадутъ чай въ восемь часовъ, а до ужина еще далеко. Отецъ въ кабинетѣ сидитъ съ кѣмъ нибудь изъ сосѣдей, а онъ съ матерью на кровати въ спальнѣ. Она читаетъ „О подражаніи Христу“, переводъ Сперанскаго, а онъ картинки разсматриваетъ или фигурки вырѣзываетъ ножницами изъ бумаги. Напротивъ нихъ на сундукѣ сидитъ его нянька Варвара со своимъ вѣчнымъ суконнымъ чулкомъ и медленно перебираетъ мѣдными толстыми спицами, изрѣдка зѣвая и крестя ротъ.

Устанетъ Катерина Ивановна читать, положитъ книгу на столъ, а сама приляжетъ на подушку. Варвара замѣтитъ, что барыня не читаетъ, опуститъ чулокъ на колѣни и спроситъ: а что, сударыня, когда у насъ мясоѣдъ будетъ? И они примутся вычислять, когда будетъ мясоѣдъ.

Придетъ горничная и скажетъ, что баринъ присылали сказать, что ужинать готово.

— Скажи, что я небуду, а ты, Юша, будешь?

— Нѣтъ, мама, и я не хочу.

— Ну такъ скажи, что я не буду, а дитя спитъ, а то поди, Юша, скушай чего нибудь?

— Нѣтъ, мама, не хочу.

— Ну не кушай,—какъ знаешь.

А завтра опять та же исторія... Развѣ, быть можетъ, отецъ куда нибудь уѣдетъ, ну тогда веселѣе, вольнѣе. Совсѣмъ иная жизнь начиналась, когда его не было дома.

VII.

Въ этомъ году назначались выборы. Николай Семеновичъ разсчитывалъ быть предводителемъ. Такъ за мѣсяцъ до отъѣзда на балотировку онъ собралъ къ себѣ на обѣдъ почти что цѣлый уѣздъ. Рѣкой лилось шампанское, а съ нимъ лились и сладкія рѣчи хозяина, обѣщавшаго забыть все и быть стражемъ интересовъ дворянскихъ. И вотъ скоро по уѣзду заговорили, что лучшаго предводителя и желать-то невозможно, что не чета какому нибудь Булычеву, хоть и князю, что у него протоколистъ опеки не станетъ такъ помыкать дворянами. Мало по малу начали готовиться къ отъѣзду изъ деревень дальніе помѣщики, особенно кто ѣхалъ съ семействомъ. Собрался и Николай Семеновичъ.

— Я ѣду завтра на балотировку, сказалъ онъ Катеринѣ Ивановнѣ,—и Юшу съ собой возьму. Я его тамъ въ корпусъ отдамъ. Ему нечего тутъ дѣлать. Вокругъ тебя онъ ничему путному не научится.

Катерина Ивановна не стала перечить ему: она знала, что этимъ ничего не сдѣлаешь, кромѣ какой нибудь раздирающей сцены, и потому молча пошла собирать сына въ дорогу. Это было ночью, часу во второмъ. Юша давно уже спалъ. Катерина Ивановна позвала Варвару, сказала ей, чтобы она укладывала Юшины вещи въ чемоданъ, а сама подошла къ его кроваткѣ, отдернула занавѣску, облокотилась на край и долго, долго смотрѣла на него. Она не плакала. Ея слабыя глаза оживились. Ярче запылалъ румянецъ на ея исхудалыхъ щекахъ, и она опять гадала его судьбу. А онъ себѣ сладко, крѣпко спалъ...

Утромъ послѣ завтрака Николай Семеновичъ велѣлъ запрягать лошадей. Катерина Ивановна благословила сына

маленькимъ золотымъ крестикомъ, который носилъ вплоть до своей смерти Иванъ Серапіонычъ. Трижды перекрестила, поцѣловала какъ-то истерически сухо и начала сама одѣвать его въ теплое платье. Мальчикъ плакалъ. Николаю Семеновичу надоѣло это.

— Что же, скоро тамъ податутъ лошадей? крикнулъ онъ лакею, и сталъ кусать ногти...

— Ну, готово, поѣдемъ, сказалъ онъ, увидавъ, что лошади уже подъѣхали къ крыльцу.

Катерина Ивановна стояла у окна и крестила отъѣзжающихъ...

Крупными хлопьями валилъ снѣгъ. Вся запушенная стояла березка возлѣ крыльца и тихо-тихо качала своими длинными гибкими вѣтвями, убранными въ снѣгъ, какъ въ серебро... Вотъ промелькнули кухня, конюшня, скотный дворъ. Вотъ уже и мельница. Юша высунулся изъ саней и взглянулъ назадъ, на усадьбу.

— Сиди, а то еще выскочишь, сурово замѣтилъ ему отецъ.

Юша забился въ уголъ саней. Его мокрые отъ слезъ глазки высохли на морозѣ, щеки зарумянились. Осыпанный снѣгомъ отъ пристяжной, онъ молча смотрѣлъ на огромную фигуру отца въ медвѣжьей шубѣ...

Тамбовъ. Гимназія.
1859 годъ.

Рафаэль—Иванъ Степанычъ.

(Изъ семейныхъ лѣтописей).

Мнѣ было тогда лѣтъ десять, должно быть,—никакъ не больше... Помню, что это было весной—такъ, вѣроятно, въ срединѣ мая—все цвѣло, зеленѣло... И даже навѣрно въ серединѣ мая: въ это время у насъ цвѣтетъ сирень, а я помню, она тогда цвѣла. Дальше я скажу, почему это я такъ хорошо помню...

Верстахъ въ семидесяти отъ нашей деревни, совсѣмъ на другомъ концѣ уѣзда, было богатое село Покровское, принадлежавшее дядѣ Михаилу Васильевичу Скурлятову. Отецъ почему-то былъ съ нимъ въ ссорѣ, и мы ѣздили туда съ матушкой. Дядя былъ крестный отецъ моей сестры, и это было, кажется, главной причиной, почему матушка всегда настаивала туда ѣхать. Она начинала говорить о поѣздкѣ недѣли за двѣ до того, какъ мы уѣзжали.

— Опять?!..

— Надо же Сонѣ къ нему съѣздить. Это даже странно, что ты говоришь. Вѣдь онъ ей крестный отецъ.

— И опять на недѣлю?!..

— Хоть не на недѣлю, а нельзя же утромъ пріѣхать, а вечеромъ уѣхать...

Въ концѣ-концовъ, матушка, разумѣется, свое брала—поѣздка устраивалась. Мы съ сестрой всегда очень интересовались этими переговорами ихъ, потому что поѣздка въ Покровское была цѣлое событіе... Верстъ пять надо было ѣхать лѣсомъ. Дорога въ этомъ лѣсѣ песчаная—бѣлый, глубокій песокъ. Ѣхать лошадямъ тяжело—онѣ идутъ шагомъ. Мы всегда выходили изъ кареты и шли по опушкѣ дороги пѣшкомъ. Собирали цвѣты, грибы, вырѣзывали перочиннымъ ножичкомъ тросточки. Потомъ дальше по дорогѣ былъ крутой большой оврагъ. Тамъ на всякій случай мы опять выходили изъ кареты. Пристяжныхъ отпрягали, и ихъ велъ въ поводу Никифоръ—лакей, который всегда съ нами ѣздилъ. Тамъ внизу оврага ихъ опять запрягали и онѣ, дружно вложившись въ хомуты и упираясь, захватывая передними ногами, дрожащими отъ усилія, встаскивали по крутизмѣ огромную на ременныхъ рессорахъ карету. Этотъ спускъ и подъемъ съ отпряганіемъ и запряганіемъ лошадей, съ наставленіемъ кучеру Ермолаю, какъ осторожнѣе спускаться и проч., занималъ, по крайней мѣрѣ, часъ времени. Потомъ, по серединѣ пути, въ Спасскомъ, на постояломъ дворѣ насъ ожидала подстава, т. е. насъ ждалъ тамъ высланный наканунѣ съ свѣжими лошадьми другой, который ѣздилъ съ отцомъ, кучеръ Михей. Его свѣжихъ лошадей запрягали въ карету, а онъ оставался ждать нашего возвращенія съ „старыми“ лошадьми. На постояломъ дворѣ опять новыя впечатлѣнія. Пока перепрягаютъ лошадей, ставили самоваръ, развертывали и развязывали завернутыхъ въ сахарную бѣлую бумагу и завязанныхъ въ салфетку, взятыхъ съ собой на дорогу, жареныхъ цыплятъ, куръ, разные крендельки къ чаю, пышки... Мнѣ кажется, я помню даже эту толстую серьезную дворничиху въ темносинемъ съ красными и желтыми цвѣточками ситцевомъ платьѣ и вижу, какъ она принесла и поставила на накрытый

чистою скатертью столъ огромный сливочникъ съ нарисованными на немъ розанами и какими-то золотыми и синими разводами. Скатерть „ихъ“, а салфетки „наши“, и онѣ такія бѣлыя-бѣлыя въ сравненіи съ ней... Сливки у насъ дома подавались къ чаю всегда кипяченыя, а тутъ мы пили съ сырыми, и у чая вкусъ совсѣмъ другой отъ этого... Но вотъ, наконецъ, лошадей напоили на дорогу, запрягли; мы тоже напились чаю, всѣ узелочки уложили куда-то въ карету и начали усаживаться. Садится матушка, потомъ гувернантка Анна Карловна, потомъ сестра, я, нянька... Она всю дорогу держитъ на колѣняхъ какую-то кардонку съ чепчиками, рукавчиками, платочками. Тоже съ какими-то такими же нѣжными предмѣтами пришпиленъ булавками узелочекъ къ потолку кареты, и онъ всю дорогу раскачивается у насъ надъ самыми головами... Эта вторая половина дороги не такъ ужь интересна. Выходить приходится только одинъ разъ—при въѣздѣ въ Покровское, на мельничной плотинѣ... Она очень широкая, отличная плотина, но мало ли что можетъ случиться—можетъ, лошади испугаются шума воды въ мельничныхъ колесахъ... Отъ этой плотины до дому версты полторы. Передъ тѣмъ, какъ садиться въ карету „послѣ плотины“, всѣ оправляются, охорашиваются—сейчасъ пріѣдемъ...

Въ Покровскомъ опять новыя впечатлѣнія. Тамъ старинная, огромная барская усадьба съ флигелями, оранжереями, теплицами, какими-то зимними бесѣдками въ саду. Садъ тоже старинный, громадный, одичалый совсѣмъ. Послѣ жаркаго лѣтняго дня, когда вечеромъ начнетъ садиться роса, въ немъ и сыро, и какъ-то душно тепло. Пахнетъ глухой крапивой, повеликой и какими-то высокими бѣлыми цвѣтами, что ростутъ всегда вмѣстѣ съ крапивой въ самыхъ глухихъ мѣстахъ. Дорожки въ саду никогда не чистились, заросли травой, молодымъ вишен-

никомъ. Тамъ, на верхушкахъ деревьевъ, все черно отъ грачиныхъ гнѣздъ: ихъ на каждомъ деревѣ по десятку, кажется. Если пойдти въ садъ въ такое глухое его мѣсто часовъ въ десять, когда грачи ужъ всѣ собрались спать, и громко хлопнуть нѣсколько разъ въ ладоши, то на цѣлыхъ полчаса поднимутся ихъ крики, карканье и они начнутъ лѣтать, виться. Когда я бывалъ съ матушкой въ Покровскомъ, я каждый вечеръ ходилъ ихъ будить. Вечеромъ въ саду, особенно въ такомъ глухомъ мѣстѣ сада, „мало ли, что можетъ случиться, отчего ребенокъ можетъ испугаться“... Поэтому меня всегда пускали туда будить грачей не одного, а въ сопровожденіи пріѣхавшаго съ нами нашего лакея Никифора. Иногда съ нами шелъ кто нибудь и изъ „ихъ“ людей. Мы подходили къ любимому грачиному мѣсту какъ можно тише и всѣ сразу начинали хлопать и кричать. Грачи тоже всѣ сразу поднимали крики, съ своей стороны, и этотъ шумъ и гамъ продолжались иногда цѣлый часъ.

— И хорошо? спрашиваетъ бывало матушка.

— Хорошо... Только вотъ съ нами ходилъ ихній столяръ Андрей, такъ онъ говоритъ, что если бы изъ ружья выстрѣлить, еще лучше бы было... Тогда они со всего сада собрались бы...

— Ну, ужь этому не бывать.

— Отчего?

— Оттого, мало ли что можетъ случиться. Нѣтъ, ты эту затѣю ужь оставь, пожалуйста. И дядю не проси объ этомъ. Я, все равно, не позволю... Выйдетъ еще что нибудь—потомъ толкуй съ отцомъ...

Тоже было и по поводу пруда, т. е. катанья на лодкѣ. Въ саду былъ громадный прудъ, весь почти заросшій какими-то водяными растеніями, распустившими по его поверхности свои большіе, широкіе зеленые листья. Подъ этими листьями, если смотрѣть съ берега

подъ солнце, можно было иногда видѣть большихъ щукъ, недвижно стоявшихъ.

— Спятъ...

— Онѣ развѣ днемъ спятъ?

— Въ жару... Ночью щука ходитъ. Она какъ волкъ: днемъ спитъ, а ночью на добычѣ. Намедни мы пошли ночью въ садъ съ Андреемъ, разсказываетъ Никифоръ, такъ вѣдь онѣ какъ щелкаютъ—страхъ, такъ и раздается...

— Плескаются?

— Да-съ, играютъ, за карасями гоняются. Такихъ щукъ, какъ здѣшнія, нигдѣ нѣтъ... Потому имъ воля... Дяденька ловить ихъ не позволяютъ...

И много, много было такихъ удовольствій въ Покровскомъ... Но они всѣ были какія-то дикія, „страшныя"... какъ и вся обстановка. Громадный глухой садъ, глухой прудъ въ саду... Громадный, высокій двухъ-этажный домъ, на половину заколоченный, но полный мебели, съ полинялыми коврами, съ черными картинами и портретами въ золоченыхъ потускнѣвшихъ и полусгнившихъ отъ времени рамахъ... Бронза какая-то тоненькая, столбиками, съ фигурками крылатыхъ боговъ, ангеловъ и мелкой гравировкой... Осенью нежилую половину закалачивали, чтобы не отапливать понапрасну, и открывали ее почему-то ужъ поздно весной, всегда почти, когда мы пріѣзжали. Я начиналъ приставать къ дядѣ, чтобы отперли запертыя двери посмотрѣть мнѣ картины и портреты, которые тамъ висѣли, и по этому поводу отдавался приказъ на завтра открыть ставни, открыть окна и вымыть запыленныя стекла въ оконныхъ рамахъ. Я всегда присутствовалъ при этомъ. Въ комнатѣ сыро, тяжелый запахъ плесени. Но вотъ открыли ставни и стало свѣтло. Открыли настежь окошки, рамы... Изъ сада пахнулъ чистый, теплый воздухъ съ запахомъ сирени, чере-

мухи—и такъ хорошо. Всѣ улыбнутся и глубоко вздохнутъ... Потомъ откроютъ въ другой, въ третьей, въ пятой, въ десятой комнатѣ, во всей „половинѣ"... Потомъ развѣсятъ въ саду на веревкахъ, протянутыхъ отъ одного дерева къ другому, ковры, драпировки... Вынесутъ и поставятъ на солнцѣ эту полинялую золоченую мебель съ полинялой розовой, голубой, малиновой шелковой обивкой... Я присутствую при всемъ этомъ, перехожу изъ комнаты въ комнату, помогаю (т. е. мѣшаю, разумѣется), разсматриваю вытканныхъ на мебельной матеріи какихъ-то франтовъ въ блѣдно-розовыхъ кафтанахъ, въ чулкахъ и башмакахъ,—франтихъ въ широкихъ пеньюарахъ или коротенькихъ платьицахъ, съ необыкновенно высокими прическами и узенькими длинными таліями... Иногда и дядя, и матушка приходили посмотрѣть, какъ все это открываютъ и выносятъ.

— Братецъ, а матерія-то какая въ то время была... Теперешняя столько не выдержитъ...

— Да, ужъ ей теперь будетъ...

Они начнутъ вычислять, когда прадѣдушка Сергѣй Нилычъ, какой-то елизаветинскій, или екатерининскій генералъ-аншефъ, попавъ въ немилость, былъ удаленъ къ себѣ въ имѣніе, все это построилъ здѣсь, отдѣлалъ и завелъ...

Дядя былъ одинокій. Онъ никогда и не былъ женатъ. Онъ долго служилъ въ Петербургѣ, въ гвардіи, и по какой-то причинѣ долженъ былъ выйдти въ отставку въ чинѣ полковника; онъ пріѣхалъ въ Покровское и повелъ жизнь совершенно замкнутую, одинокую. Самъ ни къ кому не ѣздилъ и никого къ себѣ не принималъ. Онъ былъ очень богатъ. Это былъ высокій мужчина, въ то время лѣтъ пятидесяти, съ сильной просѣдью, съ длинными усами, которые онъ, когда ѣлъ супъ, всегда непремѣнно купалъ въ тарелкѣ и потомъ какъ-то обсасывалъ и вы-

тиралъ салфеткой... Я помню, меня это очень занимало, и я всегда посматривалъ въ это время на него. Для себя онъ жилъ не жалѣючи. У него былъ превосходный поваръ, цѣлый погребъ дорогихъ винъ. Большая библіотека преимущественно французскихъ книгъ. Цѣлый магазинъ сигаръ, на которыхъ (т. е. на ящикахъ) онъ самъ наклеивалъ какіе-то ярлычки съ обозначеніемъ года, цѣны и проч. Онъ выписывалъ также всѣ почти тогдашніе газеты и журналы... Въ домѣ, т. е. вотъ въ этой, всегда открытой жилой половинѣ, порядокъ и чистота были удивительные. Удивительна была и тишина. Лакеи ходили какъ-то не слышно. Меня особенно удивляло, какъ они собирали столъ къ обѣду. Ходятъ не слышными шагами, не слышно кладутъ ложки, ножи, вилки, ставятъ тарелки, стаканы. Мнѣ кажется, можно было сидѣть въ этой комнатѣ и, если бы глаза были закрыты или завязаны, не услыхалъ бы ничего рѣшительно. Но онъ достигъ этого дорогой цѣной... Я помню, при немъ лакей разъ уронилъ ложку, такъ онъ только взглянулъ на него и ужъ тотъ мертвенно поблѣднѣлъ и у него какъ-то точно отвалилась нижняя губа съ бородой... Такой же удивительный порядокъ былъ и на конюшнѣ. Онъ считался однимъ изъ первыхъ заводчиковъ въ нашей губерніи и лошади дѣйствительно были замѣчательно хороши. Я не хочу называть по именамъ лучшихъ и самыхъ знаменитыхъ его лошадей, потому что это значило бы обнаружить его настоящую фамилію: этихъ лошадей знаютъ всѣ охотники, любители и знатоки... Вопреки всѣмъ тогдашнимъ помѣщикамъ, онъ терпѣть не могъ псовой охоты: въ домѣ у него была только одна большая собака. Онъ два раза въ годъ ѣздилъ зачѣмъ-то въ Москву и жилъ тамъ каждый разъ недѣли по двѣ, по три. Кромѣ того, онъ ѣздилъ въ нашъ губернскій городъ, когда тамъ бывали рысистые бѣга. Все остальное время онъ жилъ

буквально безвыѣздно въ Покровскомъ. Единственные гости, которые еще бывали у него, это ремонтеры, пріѣзжавшіе покупать лошадей. Но онъ, не такъ какъ другіе, не заводилъ съ ними пьянства и кутежей. Осмотрѣли лошадей, отобрали, онъ назначалъ цѣну имъ—хотите берите, хотите нѣтъ—ни одного рубля не скинетъ.

— Какъ же они могутъ торговаться со мной, когда ни одинъ изъ нихъ и вполовину не знаетъ такъ лошадей, какъ знаю ихъ я...

И дѣйствительно, говорятъ, знатокъ былъ удивительный.

Я сказалъ, кажется, что возлѣ дома были какіе-то флигеля. Тамъ жили и работали коверщицы. Они ткали ковры и попоны на лошадей. Ихъ было что-то много. Я помню, мы ходили туда съ матушкой и видѣли тамъ дѣвушекъ тридцать или сорокъ. Онѣ всѣ при нашемъ входѣ вставали и кланялись, а когда мы проходили мимо ихъ, ловили у матушки и у насъ съ сестрой руки и цѣловали ихъ. Дома у насъ этого „заведенія“ не было, т. е. не было заведено, чтобы у насъ цѣловали руки, и потому эта ловля рукъ и потомъ цѣлованіе ихъ дѣйствовали на меня ужасно непріятно. Я все пряталъ руки и увертывался, а матушку, тоже прятавшую руки, онѣ цѣловали въ плечо... Въ этихъ флигеляхъ начальствовала надъ всѣми ими высокая, красивая, съ полной грудью и серьезной степенной походкой женщина лѣтъ тридцати—Фіона Матвеевна. Матушка называла ее Фіонушкой, и когда та цѣловала ее въ плечо, она цѣловала ее въ щеку. Она была тоже очень почтительная, но въ обращеніи у нея было что-то непонятное для меня тогда, но особенное, странное. Когда матушка, обойдя всѣхъ коверщицъ, садилась на какой нибудь стоящій тутъ гдѣ нибудь сундукъ, она говорила ей: Фіонушка, садись,—и та не заставляла себя упрашивать, садилась.

— Ну, что, какъ поживаешь?

— Ничего-съ. Все по старому...

— Въ этомъ году не было?

— Нѣтъ-съ. Да и Богъ съ ними...

— А тѣ здоровы?

— Слава Богу-съ.

— Ты ихъ приведи какъ нибудь. Мальчика-то Мишей зовутъ?

— Мишей-съ. Такой балунъ... А вотъ дѣвочка такая тихая, такая тихая...

— Постарѣлъ „онъ“ у тебя... противъ прошлаго года онъ, Фіонушка, страшно постарѣлъ. Это вотъ мѣсто на вискахъ-то совсѣмъ бѣлое стало... и въ усахъ сколько ужь сѣдыхъ, а прежде-то вѣдь, какъ смоль были черные...

— Въ этомъ году и то два раза хворали... Одинъ-то разъ простудились, должно быть, а ужь другой и понять не можемъ, что такое было...

— Любитъ онъ ихъ-то? Къ тебѣ не заходитъ?

— Одинъ разъ во все время только и заходили, когда еще одна Ленька у меня была... А съ тѣхъ поръ нѣтъ.

Въ домѣ я ея никогда не видалъ при дядѣ, но когда послѣ ужина я уходилъ спать въ комнату, смежную съ той, гдѣ помѣщалась матушка съ сестрой, я иногда видѣлъ ее мелькомъ и слышалъ за стѣной ея разговоръ съ матушкой. Смутно я, конечно, догадывался, что эта Фіонушка persona gratissima при покровскомъ дворѣ, но ея дѣйствительное назначеніе и ея положеніе я понялъ гораздо позже...

Изъ дому мы выѣзжали всегда утромъ, послѣ чаю, наскоро позавтракавъ, такъ часовъ въ десять. Въ дорогѣ, со всѣми этими отпрягаными, запрягаными и перепря-

ганіями лошадей, мы были часовъ одиннадцать или двѣнадцать, потому что въ Покровское мы пріѣзжали не ранѣе девяти или десяти вечера, когда было ужъ темно и въ окнахъ свѣтились огни. Дядя всегда намъ былъ очень радъ, цѣловалъ матушку, меня, а Соню, свою крестницу, бралъ на руки и не спускалъ ея съ рукъ, носилъ, несмотря на то, что она была тогда ужъ довольно большая дѣвочка, лѣтъ десяти или девяти. Разумѣется, моментально и не слышно подавался чай, во всѣхъ комнатахъ зажигались свѣчи, лампы, все точно оживало, пробуждалось отъ оцѣпенѣнія.

— Вы устали съ дороги? Спать хотите? спроситъ онъ и меня, и сестру. — Надо ужинать сегодня пораньше...

— Нѣтъ, вѣдь они и дома раньше одиннадцати не ложатся, вмѣшивается матушка. Мы тоже увѣряли, что вовсе не хотимъ еще спать и дорога насъ нисколько не утомила.

Но ужинъ все-таки подавался раньше. Онъ сажалъ меня всегда рядомъ съ собой и непремѣнно заставлялъ выпить цѣлый стаканъ краснаго вина, а Соню—рюмку какой-то ужасно сладкой и вкусной наливки.

— Къ чему это ты, Михаилъ Васильевичъ, дѣлаешь? У нихъ еще головы разболятся, улыбаясь, протестовала матушка.

— Ничего, лучше заснутъ.

И мы дѣйствительно засыпали отлично, проведя цѣлый день въ дорогѣ, на воздухѣ, среди новыхъ лицъ, новыхъ впечатлѣній...

Такъ бывало всегда, но въ тотъ разъ, о которомъ вотъ идетъ рѣчь, случилось немого иначе. Къ удивленію нашему, мы не застали дяди дома. Онъ ужъ три дня какъ уѣхалъ.

Когда-же онъ будетъ? Когда вы его ждете? спраши-

вала матушка вышедшаго изъ дому лакея, все еще почему-то сидя въ каретѣ.

— Сегодня ожидали-съ... Можетъ, еще подъѣдутъ.

— Досадно, проговорила она. Насъ это тоже какъ-то удивило. Но, нечего дѣлать, надо было выходить.

Лакеи начали вынимать и вносить въ переднюю сундуки, важи. Въ домѣ была мертвая тишина и темнота. Только мухи бились и жужжали на закрытыхъ окнахъ... Лакеи начали было зажигать лампы и свѣчи, но матушка ихъ остановила. Она сказала, чтобы подали только самоваръ и чего нибудь за одно ужь и поужинать. Безъ него въ домѣ, было, кажется, еще напряженнѣе и тяжелѣе отъ незнанія, когда онъ пріѣдетъ, отъ ежеминутнаго ожиданія его возвращенія и незнанія, правильнѣе, несознаванія всѣми своей передъ нимъ вины или правоты... Черезъ полчаса проявилась откуда-то и Фіона—единственный человѣкъ въ домѣ съ спокойнымъ взглядомъ и довольнымъ, хоть и покорнымъ, улыбающимся лицомъ,

— Что же, Фіонушка, съ Михаилъ Васильевичемъ-то у насъ сдѣлалось? Ужь онъ не закутилъ-ли у тебя? Куда это онъ уѣхалъ? спросила ее матушка.

Фіона, самодовольно улыбаясь, сказала, куда онъ поѣхалъ, и сказала, что онъ вернется только завтра. А прислугѣ она не говорила потому, что, пожалуй, еще напьются, выйдетъ какая нибудь исторія и имъ же потомъ будетъ плохо...

Мы напились чаю. Почти сейчасъ же послѣ чаю поужинали и насъ уложили спать. Тамъ, за стѣной, долго еще слышался разговоръ матушки съ Фіоной, и я такъ и заснулъ подъ него...

Лѣтомъ мы съ сестрой и дома вставали рано, а тутъ поднялись еще раньше, кажется, и, не дожидаясь чаю, побѣжали въ садъ. Передъ террасой, которая шла вдоль

всей стороны дома, обращенной къ саду, огромнымъ полукругомъ была посажена сирень. Она разрослась въ высокую сплошную стѣну и теперь была въ полномъ разцвѣтѣ. Отъ массы цвѣтовъ кусты казались бѣлыми или лиловыми — какимъ цвѣтомъ, цвѣли они. Это было такъ красиво, что когда мы выбѣжали съ Соней на террасу, невольно остановились на мгновеніе, любуясь роскошной стѣной изъ живыхъ цвѣтовъ... На террасѣ кто-то кашлянулъ возлѣ меня. Я оглянулся. Ко мнѣ подходилъ, улыбаясь и раскланиваясь необыкновенно вѣжливо, молодой человѣкъ съ длинными бѣлокурыми волосами, падавшими почти до плечъ, съ маленькой бородкой клинушкомъ, въ сѣрой пуховой шляпѣ съ широкими полями, въ коричневомъ коротенькомъ бархатномъ сюртучкѣ и какихъ-то необыкновенно пестрыхъ клѣтчатыхъ панталонахъ. Въ первый моментъ, какъ мы вбѣжали съ Соней на террасу, его не было или мы его не замѣтили, и теперь мы не знали, откуда онъ явился. Я стоялъ и смотрѣлъ на него. Соня также остановилась и, поправляя свои растрепавшіеся (у нея они всегда были растрепаны) волосы, также смотрѣла на него.

— Съ добрымъ утромъ, проговорилъ онъ. Еще разъ снялъ шляпу и раскланялся.

Я „шаркнулъ ножкой“, сестра сдѣлала книксенъ.

— Идете въ садъ гулять? продолжалъ онъ.

— Да.

— Здѣсь чудесный садъ... пойдемте вмѣстѣ... Мамаша еще почиваетъ?

— Да. Она теперь скоро встанетъ, сказалъ я.

Мы спустились съ террасы и пошли къ полукругу сирени. Въ этомъ полукругѣ были сдѣланы просѣки, съ которыхъ и начинались всѣ эти липовыя, кленовыя, дубовыя, вязовыя и березовыя аллеи. Разчищена была только одна серединная, липовая, самая широкая и длин-

ная, дядина любимая, по которой онъ гулялъ, а остальныя всѣ, какъ я ужь сказалъ выше, были запущены, заросли. Мы и направились къ этой вотъ липовой-то. Она начиналась кустами бѣлой сирени. Когда мы подошли и начали ломать вѣтки цвѣтовъ, молодой человѣкъ тоже наломалъ себѣ огромный букетъ и, подавая мнѣ его, сказалъ:—это передайте отъ меня вашей мамашѣ и попросите ее, чтобы она приняла меня... Живописецъ изъ Петербурга... Пожалуйста...

Я взялъ букетъ и сказалъ: — хорошо-съ, и мы съ сестрой побѣжали по аллеѣ.

Черезъ полчаса за нами пришла нянька и повела въ домъ чай пить. Молодой человѣкъ попался намъ опять возлѣ террасы и напомнилъ мнѣ свою просьбу.

Чай былъ поданъ у матушки въ ея комнатѣ. Тамъ же сидѣла и Фіона. Когда мы съ сестрой явились съ такой массой сирени, матушка, принимая отъ насъ цвѣты, упрекнула, зачѣмъ столько наломали ихъ.

— Это вотъ тебѣ прислалъ живописецъ изъ Петербурга, сказалъ я... Онъ проситъ, чтобы ты его приняла...

Матушка удивленно посмотрѣла на меня.

— Какой живописецъ?

— Не знаю. Онъ тамъ, на террасѣ...

— Это, матушка, Степанки, пчелинца сынъ. Изволите помнить Степанку? Этакой рослый, сѣдой онъ еще былъ...

— Помню.

— Такъ это сынъ его... А дочь у меня въ коверщицахъ... она на попонахъ сидитъ... хорошая дѣвка, смирная...

— Что-жь ему надо?

— Не знаю. Онъ вотъ только просилъ меня цвѣты передать и чтобы ты его приняла... Онъ тамъ, у террасы... Я, хочешь, сбѣгаю узнаю, вызвался я.

— Ну, ужь ты сиди пожалуйста, пей чай, успѣетъ... Что ему нужно? обратилась матушка къ Фіонѣ.

Она улыбнулась и покачала какъ-то головой.

— Надѣлаютъ бѣды, а потомъ и не знаютъ, какъ ужь вывернуться... сказала она. Вдругъ присылаетъ изъ Петербурга письмо—объ немъ баринъ и забылъ было совсѣмъ—хочу, говоритъ, ѣхать заграницу, тамъ учиться, такъ пришлите мнѣ паспортъ и не отпустите-ли совсѣмъ на волю?.. А баринъ-то—изволите помнить, хотѣли три года тому назадъ и сами заграницу ѣхать—имъ не разрѣшили, а этотъ-то сдуру напомнилъ о себѣ, да еще говоритъ, заграницу ѣду... Ну, они и прогнѣвались. Велѣли написать ему, чтобъ онъ самъ сперва сюда къ намъ пріѣхалъ, а потомъ они его и отпустятъ... Вотъ-съ онъ и пріѣхалъ...

— А больше-то за нимъ никакой вины нѣтъ?

— Какая же вина... только, я знаю, они его отсюда теперь не выпустятъ...

— Михаилъ Васильевичъ, что жь, такъ и сказалъ ему?

— Не видали они еще его. Онъ вчера только утромъ пріѣхалъ-то... Разсказываютъ, письма какія-то привезъ барину изъ Петербурга, отъ князей, графовъ, генераловъ... Говоритъ, со всѣми онъ знакомъ и всѣ просятъ барина за него... Только...

— Что?

— Не думаю, чтобъ онъ его отпустилъ. Очень это имъ обидно, что имъ разрѣшенія не было дано, а ему дадутъ... Они разъ пять объ этомъ вспоминали... Ужь я то знаю ихъ, заключила Фіона.

— А отчего же дядю не пускаютъ? — спросилъ я, все время внимательно слушавшій разговоръ.

— Это не твое дѣло.—Пей чай.

— Я больше не хочу... Всталъ, поцѣловалъ матушку и спросилъ:—что-жь, позвать его сюда?

— Сиди—это не твое дѣло...

— Я опять сѣлъ.

— Фіона, ты говоришь, это Степанкинъ сынъ? Какой же это? Что въ поваренкахъ былъ — спросила матушка.

— Этотъ самый-съ... Теперь не узнаете... Совсѣмъ по благородному...

— Волоса у него, мама, до самыхъ плечъ. Вотъ какъ у Сони,—сказалъ я.

— Погодите, дяденька ужо вотъ пріѣдутъ—сейчасъ прикажутъ остричь его, замѣтила мнѣ Фіона и какъ-то странно улыбнулась: будетъ, дескать, ему на орѣхи...

Дѣти вообще чутки и гораздо понятливѣе, чѣмъ думаютъ объ нихъ взрослые, особенно такія нервныя и впечатлительныя дѣти, какъ я былъ тогда. Совершенно безотчетно, такъ почему-то, я рѣшилъ, что ему предстоитъ много несчастія, и мнѣ стало его ужасно жалко...

— Вѣдь онъ же ничего дурнаго не сдѣлалъ, — сказалъ я. За что же онъ будетъ къ нему придираться?..

Фіона смотрѣла на меня и улыбалась своей почтительной, но и загадочной улыбкой. Матушка, тоже что-то соображавшая въ это время, съ нѣкоторой досадой опять замѣтила мнѣ, что это вовсе не мое дѣло, а гораздо умнѣе будетъ, если я буду говорить съ сестрой по-французски...

— Мама, мы съ Соней въ садъ пойдемъ—можно?— спросилъ я.

— Можно. Только...

Она замнулась.

— Только вы идите съ ней и играйте одни... Вамъ съ нимъ нечего разговаривать...

Но она и сама поднялась, очевидно, тоже собираясь идти.

— Пойдемъ, Фіоша, посмотрю я, что это за франтъ

у васъ проявился, сказала она, и обѣ, улыбающіяся, пошли вмѣстѣ съ нами черезъ залъ, гостинную, на террасу. Мы съ сестрой шли впереди и я съ нетерпѣніемъ, какъ только вступилъ на террасу, оглянулся по сторонамъ. Но его не было.

— Экая прелесть... сирень-то... А вотъ у насъ, что я ни дѣлаю, не идетъ она... говорила матушка... Ну, гдѣ-жь онъ?..

— Нѣту его. Онъ, должно быть, ждалъ-ждалъ тебя, да такъ и ушелъ,—сказалъ я.

— Баринъ какой... охъ, ужь и дождется онъ... быть ему драному... вотъ онъ, извольте видѣть, по липовой-то дорожкѣ разгуливаетъ... Ну, увидалъ бы Михаилъ Васильевичъ... и Фіона, сомнительно улыбаясь, покачала головой...

По липовой аллеѣ, т. е. по той, которая была посерединѣ между всѣми другими, расходившимися во всѣ стороны отъ террасы, дѣйствительно сюда, къ намъ, шелъ онъ...

Мы всѣ стояли группой посреди террасы и смотрѣли на него. Когда, наконецъ, онъ былъ уже въ сиреневой просѣкѣ, которой оканчивалась аллея, онъ снялъ на ходу шляпу, поклонился и опять совершенно свободно и вольно надѣлъ ее.

— Извольте видѣть, каковъ,—сказала Фіона.

Матушка ничего не отвѣчала.

Онъ прошелъ полукруглую площадку, отдѣлявшую сирень отъ террасы и началъ подниматься ужь по ступенькамъ. На послѣдней онъ опять снялъ шляпу, сдѣлалъ къ намъ еще нѣсколько шаговъ и опять поклонился. Матушка слегка наклонила голову.

— Вы меня, конечно, не узнаете... А я, Катерина Петровна, помню васъ, когда еще поваренкомъ здѣсь былъ, сказалъ онъ... Вы пріѣзжали...

— Нѣтъ, я помню... и Степана я помню...

— Это давно было... лѣтъ десять... больше, пожалуй— сказалъ онъ. Вынулъ изъ кармана фуляровый платокъ, отеръ имъ лобъ, встряхнулъ волосами, поправилъ ихъ и опять надѣлъ шляпу. Фіона удивленно посмотрѣла на него, потомъ перевела глаза на матушку.

— Вы хотѣли видѣть меня? спросила матушка.— Что же вамъ?..

Этой сдержанности и даже сухости, кажется, онъ не ожидалъ, потому что какъ-то странно посмотрѣлъ на матушку, на всѣхъ насъ, на мгновеніе какъ бы задумался и едва замѣтная горькая улыбка появилась и осталась на губахъ...

— Я такъ обрадовался, что вы пріѣхали... Я много разсчитывалъ на васъ... Мнѣ хотѣлось бы о многомъ съ вами поговорить, сказалъ онъ. Но онъ говорилъ это ужь совсѣмъ не тѣмъ голосомъ. Такъ говорятъ люди, когда разсказываютъ о своихъ ошибкахъ: „а я, де вотъ, былъ такъ глупъ...“

— Я вамъ ничего не могу сдѣлать... Это все, какъ Михаилъ Васильевичъ, сказала матушка.

— Вы все-таки можете мнѣ удѣлить хоть нѣсколько минутъ.. мнѣ бы съ вами съ одними хотѣлось переговорить?.. спросилъ онъ.

Матушка, ничего не отвѣчая ему, посмотрѣла на Фіону, на насъ...

— Вы меня подождите здѣсь... я сейчасъ,— сказала она, открыла зонтикъ и пошла къ ступенькамъ. Онъ пропустилъ ее мимо себя, сдѣлавъ нѣчто въ родѣ поклона, и пошелъ за ней. Когда они были ужь почти возлѣ сирени, онъ пошелъ съ ней рядомъ и было видно, что они говорятъ, но ужь слышать—ничего нельзя было... Мы смотрѣли вслѣдъ имъ.

— О-хъ, покачивая головой, проговорила Фіона. Мы

съ сестрой обернулись на нее.—И задастъ ему дяденька за все это...

— За что?

— Такъ... очень ужь...

— Онъ же вѣдь ничего дурного не сдѣлалъ?..

— Мало-ли что...

За что это ждутъ они ему всѣхъ этихъ бѣдъ? думалъ я... и какое имъ дѣло до его волосъ? Я ему скажу, чтобъ онъ поскорѣе, до дяди, остригъ ихъ. Тогда ему ничего и не будетъ...

Они дошли до самаго конца аллеи, такъ что ихъ ужь едва было видно. Что-то долго стояли тамъ и пошли опять назадъ. Кода они начали подходить къ намъ и были ужь недалеко отъ сирени, я позвалъ Соню:

— Побѣжимъ къ нимъ.

Но Фіона насъ остановила, замѣтивъ: „маменька будутъ гнѣваться... нельзя"...

Они у сирени опять что-то долго говорили и потомъ тихо, нѣсколько разъ останавливаясь, пошли сюда къ намъ, къ террасѣ; у самыхъ ступенекъ онъ взялъ руку у матушки и нѣсколько разъ почтительно, но какъ-то восторженно и горячо поцѣловалъ ее. Матушка, по обыкновенію, спокойно, флегматично допустила его сдѣлать это, что-то еще сказала ему и, придерживая одной рукой платье, медленно начала подниматься по ступенькамъ. Онъ шелъ позади ея, махая шляпой себѣ въ лицо и нервно то и дѣло поправляя волоса. Когда они подошли къ намъ, онъ сказалъ ей:

— Вы мнѣ позвольте, Катерина Петровна, на память вамъ и въ благодарность за все, что вы дѣлаете для меня, снять съ нихъ портретъ... Я съ собой взялъ сюда краски.

— Въ самомъ дѣлѣ. Вотъ это отлично, нѣсколько

оживленнѣе обыкновеннаго сказала матушка. Только, вѣдь мы здѣсь всего дня три пробудемъ...

— Я къ вамъ пріѣду... Я постараюсь, чтобы Михаилъ Васильевичъ меня какъ можно поскорѣй отпустилъ... Я тогда, передъ отъѣздомъ, явлюсь къ вамъ и въ недѣлю ихъ обоихъ нарисую...

Онъ былъ такой счастливый, сіяющій...

Въ дверяхъ, выходящихъ изъ гостинной на террасу, показался лакей, приблизился къ матушкѣ и спросилъ:

— Фриштикъ прикажете въ столовой подавать, или прикажете здѣсь накрыть?

— Все равно, хоть здѣсь...

Мы всѣ сидѣли на деревянныхъ садовыхъ стульяхъ, разставленныхъ на террасѣ, вдоль стѣнъ, по угламъ, вокругъ такихъ же садовыхъ столиковъ, а онъ стоялъ прислонившись къ большой колоннѣ и разсказывалъ что-то о томъ, какъ привезли его мальчикомъ въ Петербургъ, какъ онъ жилъ тамъ у какого-то живописца... Я смотрѣлъ на него и внимательно слушалъ. Когда онъ что-то замолчалъ, я невытерпѣлъ и спросилъ его:

— Вы можете мнѣ что нибудь нарисовать?

— Съ удовольствіемъ. Что хотите? Лошадку?

— Хорошо. Что нибудь.

Онъ пошарилъ у себя въ боковомъ карманѣ, вынулъ оттуда карандашъ...

— А вотъ бумаги-то у меня ужь нѣтъ...

Я побѣжалъ и принесъ ему бумаги. Онъ длинно и остро, не по нашему, очинилъ карандашъ, сѣлъ на стулъ, положилъ бумагу на широкое балконное перило и еще разъ спросилъ, что же ему рисовать?

— Что нибудь.

— Ну, хорошо. Я вамъ нарисую петербургскаго чухонца на лошади. Такихъ лошадей здѣсь нѣтъ...

Мы съ Соней близко обступили его и начали смо-

трѣть, какъ онъ скоро и смѣло рисовалъ, пальцемъ растушевывая карандашъ. Лошадь выходила какъ живая. Мы смотрѣли и улыбались.

— Мама, посмотри-ка, ты поскорѣй посмотри, говорила Соня...

— Постойте-ка... Вѣдь это колокольчики... это они, Михаилъ Васильевичъ ѣдутъ, сказала Фіона.

Онъ вдругъ пересталъ рисовать, повернулъ голову къ саду и сталъ прислушиваться...

— Да, онъ. Навѣрно онъ. Вы поскорѣй дорисуйте, а то тогда нѣкогда будетъ, попросилъ я его...

Но онъ не слышалъ меня. Онъ быстро обернулся къ матушкѣ, и, взволнованный, прерывающимся голосомъ скоро-скоро заговорилъ:

— Вся моя надежда... Катерина Петровна... Все мое будущее... все, все...

Въ гостинныхъ дверяхъ показался лакей съ блюдомъ, поставилъ его на накрытый уже столъ, и неслышно, беззвучными шагами подойдя къ намъ, доложилъ:

— Кушать готово-съ... Баринъ ѣдутъ...

Колокольчикъ между тѣмъ звенѣлъ все ближе, рѣзко и громко раздаваясь въ саду. Наконецъ, онъ такъ и залился по ту сторону дома и вдругъ точно оборвался— пріѣхали.

— А я пойду-съ, сказала Фіона. Поклонилась намъ всѣмъ и, улыбаясь какой-то полузначительной, полушутливой улыбкой, пошла къ балконнымъ ступенькамъ.

— Ты, Фіонушка, ужо-то приходи, сказала ей въ слѣдъ матушка.

Она оглянулась, утвердительно кивнула нѣсколько разъ головой и пропала въ саду.

Мы остались на балконѣ одни, т. е. матушка, сестра и я, да еще этотъ живописецъ, нѣсколько въ отдаленіи отъ насъ прислонившійся къ балконной колоннѣ, блѣд-

ный, съ какими-то застывшимъ, страннымъ выраженіемъ на лицѣ...

Въ домѣ, чрезъ отворенныя на террасу окна, послышались голоса, шаги. На балконъ выскочила большая дядина собака. Вслѣдъ за ней въ дверяхъ показался и самъ онъ—высокій, стройный, нѣсколько полный, съ длинными, вислыми, сѣрыми усами. Увидавъ насъ и улыбаясь, онъ пошелъ къ намъ.

— Соня, что-жь ты? сказала матушка.

Сестра встряхнула волосами и, расправляя ихъ, побѣжала къ нему на встрѣчу. Онъ находу нагнулся, поднялъ ее, поцѣловалъ нѣсколько разъ и, не спуская ее съ рукъ, подошелъ и началъ здороваться съ матушкой.

— Какая досада... я не зналъ, что вы здѣсь... говорилъ онъ. Машинально потомъ протянулъ ко мнѣ руку, зацѣпилъ меня, подтащилъ къ себѣ и, продолжая говорить съ матушкой, даже не смотря на меня, поцѣловалъ въ губы. Жесткіе, прокуренные сигарами усы грубо прикоснулись къ моему лицу. Точно какой-то большой звѣрь близко подошелъ и прикоснулся.

— Ну, ужь этотъ разъ я васъ не скоро выпущу, говорилъ онъ матушкѣ.—Нѣтъ! Погодите.

Она, по обыкновенію, улыбалась своей тихой, однообразной, безучастной улыбкой и что-то отвѣчала ему.

— Однако, что-жь, вѣдь завтракать готово? вдругъ спохватился онъ:—идемъ-те.

Когда мы шли къ столу, накрытому на другомъ концѣ террасы, мы должны были пройти мимо живописца. Дядя ужь разъ прошелъ мимо его, когда только что пріѣхалъ. Я не замѣтилъ только—кланялся онъ ему тогда, или нѣтъ. Теперь, когда мы проходили мимо его, онъ сдѣлалъ шага два впередъ и что-то началъ говорить:—„по вашему приказанію... вотъ... я“... Но дядя точно не замѣчалъ его. Точно будто никого онъ не видѣлъ на бал-

конѣ. Мы подошли къ столу и начали садиться... Насъ было четверо, а приборовъ стояло пять и этотъ лишній оказался какъ разъ возлѣ меня.

— Это чей же? спросилъ дядя у лакея.

— А живописца, сказалъ я.

Но онъ ничего мнѣ не отвѣтилъ, продолжая смотрѣть на лакея. Тотъ испуганно, растерянно молчалъ; наконецъ робко, нерѣшительно протянулъ руку къ прибору и взялъ его. Дядя ухмыльнулся и свелъ съ него глаза...

Я сидѣлъ такъ, что не могъ видѣть живописца. Онъ былъ у меня тамъ, за спиной. Чтобы видѣть, что съ нимъ, что онъ дѣлаетъ, я все оборачивался.

— Что ты вертишься? Сиди, сказала мнѣ матушка.

Но я все-таки изловчился еще раза два оглянуться. Онъ стоялъ съ опущенной головой, не много бокомъ къ намъ, все на томъ же мѣстѣ, гдѣ онъ стоялъ, когда мы проходили мимо его. Когда я послѣдній разъ оглянулся— его уже не было, и я не видѣлъ, какъ онъ ушелъ.

Послѣ завтрака дядя закурилъ сигару, ближе подсѣлъ къ матушкѣ, и они о чемъ-то стали говорить нѣсколько тише обыкновеннаго. Меня интересовало—не объ „немъ" ли они говорятъ и я прислушался. Нѣтъ, они что-то говорятъ про отца, про тетю Лизу, съ которой дядя тоже былъ почему-то въ ссорѣ—только не объ „немъ". Мы съ сестрой встали изъ-за стола и тихо, отъ нечего дѣлать, ходили по террасѣ, прыгали по ступенькамъ, но онъ все-таки не выходилъ у меня изъ головы.

— Соня, знаешь что?

— Что?

— Ты попроси, чтобы дядя его къ намъ отпустилъ.

— Живописца?

— Ну, да.

— Хорошо...

Она была какая-то странная дѣвочка: задумчивая, разсѣянная. Что ей ни скажи—она сейчасъ исполнитъ. Такъ и теперь, она хотѣла сейчасъ же идти и просить его; но я понималъ, что не моментъ, и остановилъ ее.

— Послѣ,—сейчасъ нельзя.

— Хорошо...

Мы потомъ гуляли, обѣдали, ходили по комнатѣ, разсматривали портреты, картины, бронзовыя и фарфоровыя фигурки, ну, однимъ словомъ,—что дѣлаютъ дѣти безъ гувернантки, когда взрослые заняты какимъ-то важнымъ и серьезнымъ разговоромъ. Такъ дотянулось время до вечера. Смерклось. Я вспомнилъ про грачей и сталъ проситься, чтобы меня отпустили будить ихъ.

— Только не одинъ. Никифора возьми съ собой. И пожалуйста къ пруду не ходи ночью,—еще какъ нибудь упадешь съ берега.

И послѣ, когда мнѣ было ужь лѣтъ пятнадцать и я пріѣзжалъ изъ гимназіи въ деревню на каникулы, матушка все боялась за меня, какъ за ребенка, и всюду давала мнѣ провожатыхъ и тѣлохранителей...

— Постой. Вотъ что. Эй, кто тамъ? крикнулъ дядя.

Почти моментально, неслышной рысцой откуда-то прибѣжалъ лакей и вытянулся передъ нимъ.

— Собери сейчасъ конюховъ, тамъ еще кого нибудь, человѣкъ десять, и пошли ихъ сюда, къ балкону. Ну, живо!.. Вотъ тебѣ цѣлая армія—всѣхъ грачей съ ума сведете, обратился онъ ко мнѣ.

Я радовался, смѣялся. Мнѣ едва ли было и десять лѣтъ тогда...

Они всѣ собрались и стояли внизу у балкона безъ шапокъ. Тамъ съ ними же стоялъ и пріѣхавшій съ нами нашъ лакей Никифоръ.

— Никифоръ, пожалуйста, чтобы онъ къ пруду не подходилъ, приказывала ему матушка.

— Слушаю-съ.

И я отправился съ ними, счастливый, довольный, туда, въ этотъ страшный, глухой, темный теперь садъ. Тамъ, въ глубинѣ его, внизу, подъ большими деревьями тепло, сыро; на полянахъ садится роса и надъ ними туманъ стоитъ. Въ саду тишина мертвая. И хорошо, и страшно... Но я не одинъ... Мы тихонько подкрались и пошли по сосновой аллеѣ—излюбленное грачиное мѣсто. Дошли до середины ея и всѣ разомъ начали кричать, хлопать въ ладоши. Грачи подняли отчаянный крикъ, начали летать, шумя и цѣпляясь крыльями тамъ, на вершинахъ деревьевъ. Потомъ—перебудили этихъ—пошли дальше, въ другое мѣсто, будить другихъ грачей. И тамъ та же исторія. Наконецъ, всѣхъ перебудили.

— Ну-съ, теперь въ домъ пора, а то маменька будутъ сердиться, что такъ долго; и грачамъ пора спать, началъ говорить Никифоръ.

Мы пошли къ дому. Позади меня шелъ въ полголоса разговоръ, слышался смѣхъ.

— Ну, попомни мое слово, если онъ завтра не отдеретъ его...

— Т. е. вотъ какъ... утромъ-же.

— Какъ услыхалъ колокольчикъ, сталъ бы у крыльца на колѣни... и въ ноги.

— Господинъ какой проявился!..

И все это они говорили весело, смѣясь, съ шуточками. Я догадывался, о комъ идетъ рѣчь...

— Да что „онъ“ сдѣлалъ? вдругъ обратился я назадъ, къ толпѣ.

Они смѣшались, замолчали. Они не предполагали, что я слушаю, что̀ они говорятъ, и понимаю про кого.

— Это, сударь, не наше дѣло. Намъ въ это нечего мѣшаться, сказалъ мнѣ Никифоръ.

— Да нѣтъ, какъ же... вотъ и Фіона тоже говоритъ, оправдывался я.

Позади меня кто-то началъ о чемъ-то шепотомъ говорить, и я слышалъ, какъ Никифоръ отвѣтилъ: — нѣтъ, не скажетъ. Никогда не скажетъ.

— Дѣло дѣтское... извѣстно...

— А вы, сударь, тамъ не проговоритесь, о чемъ тутъ говорили... дяденька строгъ... сказалъ онъ: такой еще бѣды надѣлаете...

Мы были ужь близко отъ дома и шли по средней липовой аллеѣ. Въ домѣ, въ окнахъ ярко свѣтился огонь и отъ этого еще чернѣе казалась фигура дома... Вдругъ впереди что-то показалось—какая-то тѣнь. Она приближалась къ намъ. Немного погодя, я увидалъ, что это живописецъ. Темно было, но я все-таки замѣтилъ, что онъ какой-то разстроенный, точно полоумный. Мнѣ даже страшно за него стало. Онъ вглядывался въ нашу толпу, — очевидно искалъ кого-то глазами — увидалъ меня, нагнулся ко мнѣ, къ самому уху и какимъ-то глухимъ шепотомъ скоро-скоро что-то заговорилъ. Я ничего не могъ разобрать, что онъ говоритъ.

— Я не слышу, сказалъ я.

Кругомъ насъ стояла безмолвная толпа, но любопытная, внимательная. Онъ ничего не сказалъ. Опять нагнулся и началъ шепотомъ же говорить, но рѣже, явственнѣе. Я понялъ, что онъ проситъ передать письмо, но кому и какое письмо, я ничего не понималъ.

— Гдѣ же письмо? Кому? также шепотомъ спросилъ и я его.

— Мамашѣ... вашей... вотъ оно...

— Хорошо-съ.

Я взялъ письмо и сунулъ въ карманъ, стараясь, чтобы никто не видалъ.

Но это увидали.

— И вотъ, посмотрю я, какой ты, Иванъ, глупый, сказалъ ему Никифоръ. — Ребенка, дитя, ты въ эдакое дѣло путаешь... Себя ты этимъ не спасешь, а только хуже еще пожалуй..

Но онъ, кажется, ничего не слыхалъ, ничего не понималъ. Его должно быть чуть не до сумасшествія запугали разсказами о томъ, что его ожидаетъ, и онъ ошалѣлъ теперь... Мы шли. Онъ шелъ рядомъ со мною, молча, повѣсивъ голову, заложивъ руки назадъ... Когда мы вышли наконецъ на площадку, что была передъ террасой, между ею и садомъ, и до дома оставалось ужъ нѣсколько шаговъ, Никифоръ спросилъ меня: можно ли отпустить „народъ?".

— Покойной, сударь, ночи. Завтра опять пойдемъ-те ихъ будить, кланяясь, говорили мнѣ всѣ эти конюхи, столяры и проч.

— Спасибо... хорошо...

Они всѣ пошли и Никифоръ тоже куда-то въ сторону, къ выходу изъ сада. Я остался одинъ съ живописцемъ.

— Ради Бога... только, чтобы никто не видалъ... говорилъ онъ.

— Хорошо-съ. Непремѣнно...

Я оставилъ его и побѣжалъ къ дому, туда на террасу, въ ярко освѣщенныя комнаты.

Въ столовой за самоваромъ сидѣла матушка, возлѣ нея—Саша, а напротивъ—дядя. Они ужь пили чай. Тутъ же сидѣла съ подвязанной щекой и пріѣхавшая съ нами гувернантка наша, Анна Карловна. У нея разболѣлись зубы, — она все время лежала и вотъ теперь только вышла.

— Ну что, всѣхъ грачей разбудили? спросилъ дядя.

— Всѣхъ. Т. е. тамъ, за прудомъ мы не были, поправился я.

— Экая досада! сказалъ онъ.

— А ноги не намочилъ? Покажи-ка, спросила матушка.

Я подошелъ къ ней и показалъ.

— Ну, такъ и есть.

— Это роса...

— Все равно — мокрыя... Поди, скажи Никифору, чтобы онъ далъ тебѣ сухіе сапоги и надѣлъ бы чистые панталончики.

— Да ноги у меня сухія. Это такъ только... немного... началъ было я защищаться.

Но она настоятельно приказала и я пошелъ. Чтобы найти и позвать Никифора, я долженъ былъ зайти въ переднюю. Когда я отворилъ дверь туда, тамъ стояло въ ожиданіи выхода дяди, для распоряженія относительно завтрашняго дня, человѣкъ десять „начальниковъ", т. е. управляющій, староста, конюхъ, коновалъ, наѣздники и пр. Они всѣ, увидавъ меня, вытянулись и начали кланяться. Я позвалъ Никифора и поскорѣй вышелъ, смущенный этимъ парадомъ. Никифоръ провелъ меня въ комнату, между передней и кабинетомъ, гдѣ стояли наши чемоданы, и началъ открывать ихъ, чтобы достать оттуда мнѣ чистое платье. Пока я снималъ и надѣвалъ новые сапоги, панталончики, кстати мылъ уже и руки, причесывался и проч., въ передней послышалось какое-то движеніе и я явственно услыхалъ громкій и рѣзкій голосъ дяди. Онъ что-то поговорилъ съ управляющимъ, и потомъ кого-то спросилъ:

— А по чьему же распоряженію этотъ болванъ шлялся по дому, по саду?

Кто-то, что-то отвѣчалъ ему, но такъ тихо, что я

ничего не разобралъ. Потомъ я опять услыхаоъ дядинъ голосъ:

— Во первыхъ, завтра чѣмъ свѣтъ, остричь его... сшить ему изъ мизерецкаго сукна куртку... ливрейную... Баринъ какой проявился... А вы и рады!..

Опять чей-то голосъ и я опять ничего не разобралъ.

— Завтра, какъ я встану, чтобы онъ былъ уже одѣтъ...

И опять чей-то голосъ и опять ничего не слышно. Потомъ дядинъ голосъ:

— Какія у него письма? Пошелъ, возьми у него... принеси сюда...

— А вы, сударь, письмо-то бросьте, какое онъ вамъ далъ: его сжечь надо. Это не наше дѣло, сказалъ Никифоръ. Его вина—онъ пусть и отвѣчаетъ...

— Да въ чемъ онъ виноватъ-то? чуть не вскрикнулъ я.

— Тише, дяденька еще услышитъ. Въ чемъ виноватъ? Въ томъ, что... дуракъ онъ и есть... Развѣ это его мѣсто, на балконъ было приходить... Маменькѣ надоѣдать...

— Ну, ужь если за это! воскликнулъ я и побѣжалъ въ столовую, набѣгу, застегивая куртку.

— Мама! „его“ будутъ стричь... потомъ драть... за тебя... Ты скажи...

Я былъ страшно возбужденъ. И безъ того нервный и впечатлительный, не привыкшій дома къ подобному обращенію съ людьми, никогда не видѣвшій ни какъ „дерутъ“ людей—я теперь сдѣлался какъ помѣшанный. Матушка перепугалась, ничего не поняла должно быть и, обыкновенно, спокойная, теперь совершенно растерялась.

— Поди сюда... что съ тобой?

— Ничего... „его“ стричь будутъ... потомъ драть...

— Кого — „его“?

— Живописца!

Она вздохнула свободно.

— Глупости какія ты говоришь. Господи, какъ ты меня напугалъ. Я Богъ знаетъ, что подумала...

— Ты скажи дядѣ... Я самъ слышалъ — онъ велѣлъ его остричь... Потомъ куртку велѣлъ ему какую-то сшить... А завтра его драть будутъ.

— Все глупость.

— Не глупость. Я тебѣ говорю. Я самъ слышалъ.

— Что онъ велѣлъ его высѣчь?

— Нѣтъ, это я тамъ, когда грачей будили, слышалъ... Они всѣ говорятъ, что его навѣрно завтра утромъ будутъ драть, и всѣ смѣются и радуются этому...

— А самъ-то отъ дяди ты тоже слышалъ?

— Вотъ про куртку и чтобы остригли его завтра утромъ... У меня вотъ его письмо къ тебѣ, сказалъ я. Въ попыхахъ я совсѣмъ было и забылъ про это письмо, но теперь вспомнилъ и началъ искать его въ карманахъ. Письма не было.

— Я потерялъ его! въ ужасѣ сказалъ я.

— Оно у тебя въ тѣхъ панталончикахъ, должно быть, сказала матушка, успѣвшая между тѣмъ ужь успокоиться. — Гдѣ же ты его видѣлъ?

— Въ саду, когда назадъ шли... я самъ принесу тебѣ письмо. Я опять побѣжалъ туда, опять растворилъ дверь въ переднюю, чтобы позвать Никифора, и видѣлъ, какъ дядя, держа въ одной рукѣ свѣчку, а въ другой какое-то письмо, молча читалъ его. Нѣсколько конвертовъ и другихъ писемъ лежали возлѣ него. Когда я позвалъ Никифора, дядя оглянулся въ мою сторону и опять продолжалъ чтеніе. Но „его“ не было въ передней.

— Посмотри, я забылъ въ тѣхъ панталонахъ письмо, сказалъ я Никифору. Мы пошли и отыскали его.

Я принесъ и отдалъ письмо матушкѣ, а самъ сталъ смотрѣть ей въ лицо, стараясь угадать ея мысли. Письмо было большое и она довольно долго читала его. Наконецъ окончила, свернула и положила къ себѣ въ редикюль—тогда всѣ носили ихъ. Было общее молчаніе.

— Однако, который часъ? сказала она.—Анна Карловна, ихъ надо пораньше уложить, продолжала она.—Они очень рано встали...

— Ужинать будутъ? спросила нѣмка.

— Да... вы хотите ужинать? спросила матушка.

— Хочу... Да... сказалъ я.

Мнѣ ужасно хотѣлось выяснить, что будетъ съ „нимъ". Хотѣлось видѣть дядю по возвращеніи оттуда, съ пріема начальниковъ, услыхать, что будетъ ему говорить матушка и проч. Я все оглядывался и прислушивался, не идетъ ли дядя... У меня и теперь привычка—если я хоть немного встревоженъ и вообще возбужденъ,—я не могу сидѣть, я то и дѣло встаю, хожу, опять сажусь. Я былъ такимъ и маленькій. Матушка, конечно, знала это.

— Ужь ты пожалуйста упокойся, сиди, сказала она. Что нужно, я все сдѣлаю.

— Да?!..

И я вотъ какъ сейчасъ, помню: у меня вдругъ сдавило горло и въ то же время такъ радостно, свѣтло стало на душѣ и глаза полны слезъ. Я смотрѣлъ на нее, улыбался, смѣялся, мнѣ хотѣлось захохотать...

Она смотрѣла на меня и также улыбалась, качая головой.

— Ахъ, какой ты... ну, поди сюда... сюда ко мнѣ.

Я подошелъ къ ней, всхлипывая отъ слезъ и въ тоже время смѣясь. Она утерла мнѣ глаза своимъ платкомъ, поправила волосы и поцѣловала:

— Садись, успокойся... Я же тебѣ сказала... ничего „ему" не будетъ...

Я все взглядывалъ на нее. Я видѣлъ, чувствовалъ, что эта сцена со мной пришлась ей по сердцу, ей было это пріятно... Тогда я зналъ только, что она очень добрая. Послѣ, гораздо позже, я понялъ ее совсѣмъ... Это типъ теперь почти-почти ужъ исчезнувшій... Она воспитывалась въ какомъ-то петербургскомъ институтѣ. Окончила тамъ. Привезли ее въ деревню и черезъ годъ выдали замужъ,—она стала помѣщицей, хозяйкой, пошли дѣти... Но она на всю жизнь сохранила воспоминанія объ институтѣ, о Петербургѣ, и это были самыя свѣтлыя ея воспоминанія. Они, можетъ быть, были сантиментальны, идилличны, но они и въ самомъ дѣлѣ были свѣтлыя. Я помню ея разсказы о Жуковскомъ, который пріѣзжалъ къ нимъ на выпускной экзаменъ,—о томъ, какое необыкновенно кроткое было у него лицо и какія удивительно добрые были у него глаза. О томъ, какой высокій, толстый, сѣдой и тоже добродушнаго вида человѣкъ былъ Крыловъ—также пріѣзжавшій къ нимъ на этотъ экзаменъ. Она видѣла гдѣ-то на вечерѣ, или на балу, Пушкина. Видѣла Брюлова и, какъ всѣ люди того времени, была въ восхищеніи отъ его „Послѣдняго дня Помпеи"... Она была чуть ли не единственная женщина въ цѣломъ уѣздѣ, которая читала немногочисленные тогдашніе журналы и книги... Повторяю, всѣ эти воспоминанія и люди въ ея разсказахъ были какіе-то восторженные, сантиментальные, но они во всякомъ случаѣ не давали ей всецѣло погрузиться въ міръ наливокъ, варенья, соленья, въ міръ талекъ и оброковъ... Онѣ, такія женщины, въ то суровое крѣпостное время, были свѣтлымъ, кроткимъ явленіемъ, заступницами и спасительницами многихъ и многихъ несчастныхъ... Поэтому мнѣ теперь и жаль ихъ, жалко, что они уходятъ одна за другой. Я провожаю и напутствую ихъ глубокимъ, благодарнымъ чувствомъ...

Наконецъ дядя пришелъ. Я смотрѣлъ на него, не могъ оторвать глазъ. Онъ былъ въ какомъ-то странномъ настроеніи, какъ будто нѣсколько разсѣянъ. Матушка спросила его объ чемъ-то. Онъ не услыхалъ ея и ничего ей не отвѣтилъ. Раза два вынималъ изъ кармана какія-то письма на листахъ большой почтовой бумаги и что-то перечитывалъ въ нихъ. Потомъ опять пряталъ ихъ, ухмылялся, щелкалъ пальцами, говорилъ про себя: да-съ... такъ-съ. Я внимательно продолжалъ смотрѣть на него. Онъ наконецъ это замѣтилъ и спросилъ:

— Что ты на меня такъ смотришь?

Я молчалъ.

— Послѣ... я вамъ, братецъ, послѣ ужина разскажу, поспѣшила за меня отвѣтить матушка.

— Да что такое?

— Такъ, ничего... Мы потомъ поговоримъ.

— Ты что: опять завтра хочешь грачей будить?.. Въ лодкѣ кататься? приставалъ онъ ко мнѣ.

Я не говорилъ, молчалъ. Онъ оставилъ меня, подозвалъ къ себѣ Соню, посадилъ ее на колѣни и началъ съ ней шутить, спрашивалъ, пойдетъ ли она за него замужъ и проч.

— Братецъ, вы въ которомъ часу ужинаете? спросила его матушка.

— Ахъ, сестрица,—они были по временамъ иногда на вы—какъ прикажете. Да ужъ пора, пожалуй.

Онъ хлопнулъ въ ладоши, крикнулъ „эй“ и велѣлъ накрывать на столъ. Когда послѣ ужина матушка сказала Аннѣ Карловнѣ, чтобы она вела насъ укладывать спать и я, поцѣловавшись съ дядей, началъ прощаться съ матушкой, еще сидѣвшей за столомъ, я ей напомнилъ объ „немъ“.

— Да, да... будь покоенъ, шепотомъ сказала она.— Ступай, спи... Позови Никифора, чтобы онъ тебя раздѣлъ.

Я долго не спалъ. Слышалъ, какъ она, наконецъ, пришла изъ столовой въ свою комнату—стѣна объ стѣну съ той, въ которой я спалъ—какъ онѣ еще долго объ чемъ-то разговаривали съ пришедшей туда къ ней Фіоной... Наконецъ и онѣ тамъ что-то замолкли. Заснулъ и я.

Усталый отъ всѣхъ этихъ впечатлѣній, я уснулъ крѣпко-крѣпко и проспалъ на другой день,—я проснулся не самъ. Меня разбудилъ, вошедши ко мнѣ въ комнату, Никифоръ.

— Ужъ чай кушаютъ, сказалъ онъ.—Маменька все не приказывали будить. Вставать извольте, пора.

Я приподнялся, сѣлъ на постели и первая мысль: а что съ „нимъ" сдѣлали?

— Ну, а что живописецъ? спросилъ я.

— Ничего-съ. Что-же?..

— Ничего ему не было?

— Да ну его... Ужъ чай кушаютъ...

— Нѣтъ, ты мнѣ правду скажи, настаивалъ я.

— Докладываю вамъ, что ничего.

— Не били его? разспрашивалъ я, обуваясь.

— Извольте одѣваться. Не били...

— А остригли?

— Извѣстно остригли. Что за дьячекъ.

— И онъ теперь въ курткѣ?

— Въ курткѣ... Умываться пожалуйте.

— Ты мнѣ, Никифоръ, правду скажи: не сѣкли его?

— Ахъ ты, Господи, Боже мой! Докладываю вамъ, что не сѣкли. Такъ, для примѣра дяденька приказали его разложить, а потомъ помиловали, сказали ему, что маменька за него просили и потому прощаютъ... Въ зубы разъ или два толконули...

— Все таки!

— Умывайтесь, умывайтесь...

— Онъ гдѣ-же теперь?

— Къ попу отправили. Приказали портретъ съ него списать.

— Гдѣ-же это все было?

— Извѣстно—гдѣ сѣкутъ—на конюшнѣ...

— А теперь онъ тамъ, у попа?.. это возлѣ церкви?

— Да-съ, въ поповской избѣ.

„Это я маму попрошу, чтобы она меня туда отпустила", подумалъ я... Мнѣ непремѣнно хотѣлось пойти къ нему, хотя я навѣрно зналъ, что мнѣ тамъ будетъ неловко и я сконфужусь, по обыкновенію...

За чаемъ я не засталъ дядю: онъ уѣхалъ въ поле. Сидѣла матушка, Соня, Анна Карловна, и всегда присутствовавшая въ отсутствіи дяди, Фіона — спокойная, довольная, почтительно улыбающаяся. Я поздоровался и сѣлъ возлѣ матушки пить чай.

— А ты знаешь — „онъ" его все-таки остригъ и билъ... сказалъ я ей. — Два раза ударилъ... Что „онъ" ему сдѣлалъ?..

Во мнѣ — я чувствовалъ это — росло все больше и больше какое-то злое чувство къ дядѣ, — живая ненависть... Она посмотрѣла на меня и ничего не отвѣтила.

— „Онъ" у попа теперь... Мнѣ можно туда сходить съ Никифоромъ? „Онъ" съ попа портретъ рисуетъ...

— Нѣтъ, ужь пожалуйста...

Фіона слушала и улыбалась.

— Анна Карловна, подите съ ними въ садъ, сказала матушка.

Анна Карловна встала, взяла свою работу, зонтикъ и мы пошли.

За завтракомъ дядя ужь былъ. Я все искалъ на лицѣ у него слѣдовъ всего того, что было тамъ, „на конюшнѣ, гдѣ сѣкутъ"... Онъ былъ очень веселъ, доволенъ, смѣялся... Вечеромъ я опять попросилъ матушку отпустить меня къ нему, но она наотрѣзъ отказала...

Въ Покровскомъ мы прожили еще дня два. Объ „немъ“ я больше ничего не могъ узнать. Никифоръ на все отвѣчалъ, что „онъ“ живетъ „какъ и всѣ“, и только. Наконецъ насталъ и день отъѣзда. Наканунѣ насъ раньше уложили спать подъ тѣмъ предлогомъ, что завтра надо рано вставать. Утромъ, часовъ въ восемь, мы ужь пили чай, все укладывали, запирали сундуки, важи, носили ихъ въ карету. Сюда же на чайный столъ подали и завтракъ—котлеты, цыплятъ, пирожки, яйца и проч. Часовъ въ десять подали карету, ужь совсѣмъ уложенную, запряженную. Понесли подушки, кардонки. Началось прощаніе. Фіона прощалась въ дѣвичьей съ матушкой. Горничныя прикладывались къ „плечикамъ“, къ „ручкамъ“... Дядя всѣхъ самъ усадилъ въ карету, въ сотый разъ повторялъ приглашеніе пріѣзжать къ нему; столько же разъ матушка повторяла обѣщаніе пріѣхать. Наконецъ кучеру Еремею Никифоръ, стоявшій все время безъ шляпы у каретныхъ дверецъ, крикнулъ, какъ-то особенно, вовсе не нужно, громко и торжественно: Пошелъ! и подпрыгивая, и цѣпляясь вскочилъ къ нему на козлы. На крыльцѣ стоялъ и кивалъ намъ дядя. Колыхаясь и раскачиваясь на безчисленныхъ рессорахъ, карета поплыла.

Въ началѣ разсказа я ужь какъ-то сказалъ, что верстахъ въ двухъ отъ дома, такъ, проѣзжая садъ, выгонъ, коноплянники, была плотина на прудѣ, не доѣзжая которой мы всегда выходили изъ кареты „на всякій случай“ и переходили ее пѣшкомъ. Такъ было и этотъ разъ, конечно. Мы вышли, пристяжныхъ отпрягли и ихъ повелъ въ поводу Никифоръ, а Ермолай поѣхалъ черезъ плотину парой. Когда это шествіе тронулось, изъ коноплянника, что былъ возлѣ самой плотины, вдругъ вышелъ человѣкъ какого-то страннаго вида и, озираясь во всѣ стороны, почти кинулся къ намъ. И матушка, и всѣ мы остановились. Это былъ живописецъ. Онъ до того

измѣнился за эти два-три дня, что я не узналъ его. Совершенно блѣдный, какъ мертвецъ, осунувшійся, съ большими — такихъ у него не было прежде — глазами, безпокойно вращавшимися, остриженный подъ гребенку, не ровно, какъ-то клоками, съ обритой бородой—усики ему оставили—онъ былъ совсѣмъ другой человѣкъ. Это было какое-то воплощеніе ужаса и несчастія. Онъ подошелъ къ матушкѣ и, какъ-то машинально, какъ какой нибудь механизмъ, упалъ на колѣни и поднялъ на нее глаза. Потомъ вдругъ опустилъ голову. И онъ, и мы всѣ молчали... Потомъ я увидѣлъ, какъ его голова затряслась, закачалась и онъ совсѣмъ повалился въ ноги, громко рыдая и что-то выговаривая. Матушка нагнулась, стала поднимать его. И я, и Соня, — мы стояли, испуганно смотрѣли и молчали.

— Анна Карловна, уведите ихъ! Идите, сказала матушка.

Анна Карловна схватила насъ за руки и повела по мягкой, устланной свѣжей соломой плотинѣ. Мы шли и ежеминутно оглядывались. Тамъ осталась матушка, нянька и Никифоръ, державшій въ поводу пристяжныхъ. Мы дошли до половины плотины, когда, оглянувшись, я увидѣлъ, что и „онъ“ стоялъ съ ними, съ опущенной головой и вытянутыми книзу, нѣсколько впередъ руками. Мы перешли плотину. Ермолай стоялъ съ каретой. Мы всѣ смотрѣли туда на нихъ. Это было довольно далеко, такъ что ни лицъ ихъ, ничего нельзя было разсмотрѣть. Прошло по крайней мѣрѣ четверть часа, пока, наконецъ, въ группѣ стало замѣтно движеніе и мы увидили, что одна фигура осталась стоять на мѣстѣ, а остальныя идутъ къ намъ. Матушка пришла блѣдная, взволнованная и все торопила, чтобы скорѣй запрягали пристяжныхъ.

— Онъ „его“ опять будетъ бить? спросилъ я.

Она мнѣ ничего не отвѣтила.

— Никифоръ, да запрягайте поскорѣй... Анна Карловна, усаживайте дѣтей, садитесь...

Идя въ карету, я еще раза два оглянулся на фигуру, стоявшую на томъ концѣ плотины... Наконецъ все было готово, всѣ усѣлись—мы поѣхали... Въ каретѣ всѣ молчали,—сидѣли съ серьезными лицами.

На какомъ-то поворотѣ, я выглянулъ въ окно. Покровское село, барская усадьба, садъ, мельница — все слилось въ одну синеватую полосу.

— Сиди пожалу-ста, что ты все выглядываешь? сказала матушка.

Анна Карловна тоже сказала, что нельзя выглядывать, потому что дверца еще какъ нибудь отворится и тогда можно упасть...

Всю дорогу и потомъ ужь дома этотъ живописецъ долго не выходилъ у меня изъ головы... Дня черезъ три, какъ мы пріѣхали, отецъ зашелъ за чѣмъ-то къ намъ въ дѣтскую и увидалъ валявшуюся на столѣ бумажку, на которой нарисована была лошадка.

— Это кто-же рисовалъ? Ты, или Соня, спросилъ онъ меня.

— А вотъ этотъ живописецъ-то... въ Покровскомъ... Тебѣ мама говорила?..

— Знаю, знаю.

— Онъ „его“ остригъ и бьетъ... началъ я... „Онъ“ прибѣгалъ на плотину прощаться съ нами... Вотъ несчастный-то...

— Теперь не долго. Теперь это все скоро кончится, сказалъ отецъ.

— Что кончится?

— А вотъ все это.

— „Его“ возьмутъ отъ него?

— Всѣхъ возьмутъ...

Онъ поговорилъ объ чемъ-то съ гувернанткой и ушелъ. „Всѣхъ возьмутъ“... т. е. кого-же это „всѣхъ?“ соображалъ я. Про что онъ говоритъ? Такъ я ничего и не понялъ...

Прошла недѣля, другая, третья. Я рѣже сталъ вспоминать „его“ и наконецъ мало-по-малу и совсѣмъ „онъ“ исчезъ у меня изъ головы... Въ этомъ году, въ концѣ лѣта, такъ въ послѣднихъ числахъ августа меня должно было отвезти въ „благородный пансіонъ“ при нашей губернской гимназіи, гдѣ я буду жить и откуда буду ходить въ гимназію учиться. Я зналъ, что это будетъ навѣрно, и мысль объ этомъ не покидала меня съ утра до ночи.

— Что ты такой чудной какой-то? спрашивалъ отецъ.— Ты все объ этомъ думаешь—какъ тебя повезутъ!.. Это стыдно. Что ты маленькій что-ли?

— Я ничего... Я хочу...

— Что-жь, ты развѣ дома болваномъ хочешь рости? Куда-же потомъ—въ юнкера?

Я опять повторилъ, что я и самъ хочу въ гимназію.

— Теперь другое время настаетъ. Эта пора ужь прошла, когда можно было такъ жить...

„Какое это такое время“? Про что это онъ говоритъ все? думалъ я...

Прошелъ іюнь, прошелъ іюль, наступилъ, наконецъ, и августъ—до отъѣзда мнѣ оставалось ужь не долго... Время отъ времени матушка про что нибудь вспомнила, что нужно мнѣ будетъ тамъ, въ гимназіи, начинался объ этомъ разговоръ, начинали это нужное готовить, снаряжать.

— А вотъ про теплыя чулки-то я совсѣмъ было и забыла. Устиньюшка!

Нянька Устинья за мной ужь не ходила, но моимъ бѣльемъ, платьемъ и проч. все-таки завѣдывала она.

— Что, матушка?

— А вѣдь про теплыя чулки-то мы совсѣмъ и забыли...

— Шесть паръ у нихъ вѣдь есть, сударыня.

— Не мало этого?

— Можно и еще связать.

— Я думаю—связать.

И много было такихъ вопросовъ. Каждый день почти что вспоминали про что нибудь... Мнѣ дѣйствительно и самому хотѣлось—я живо это помню—ѣхать въ гимназію; но эти вспоминанія и особенно тонъ, какимъ говорилось все это, вздохи при этомъ—ужасно какое грустное, тоскливое будили чувство...

— Вы его точно въ походъ какой, въ чужую сторону снаряжаете, нѣсколько разъ съ досадой замѣчалъ отецъ.

— Какъ же не подумать обо всемъ? Ребенка везутъ въ гимназію...

Ужасно какъ непріятно это дѣйствовало на меня. А время отъѣзда все приближалось. Точно таяли, пропадали дни... Наконецъ ихъ и счетомъ осталось всего только нѣсколько...

Былъ, я помню, чудесный, тихій вечеръ, какіе такъ часто бываютъ у насъ въ концѣ лѣта. Ужь и листья начали желтѣть, и почти весь хлѣбъ свезли съ поля—полны гумна скирдъ — скоро будетъ осень, но пока еще лѣто. Солнце замѣтно стало раньше садиться, вечера ужь темные, но еще теплые, сухіе—сырости еще нѣтъ. Прежде въ девять часовъ было еще свѣтло и мы пили чай на балконѣ безъ свѣчей; а теперь ужь нельзя и ихъ приносятъ въ подсвѣчникахъ съ стеклянными колпаками... Въ такой вотъ тихій, хорошій вечеръ, за нѣсколько дней до моего отъѣзда, всѣ мы, т. е., я, отецъ, матушка, Соня, гувернантка Анна Карловна сидѣли еще

послѣ чаю на балконѣ и разговаривали. Было ужь должно быть часовъ десять и было совсѣмъ темно. Садъ, вершины деревьевъ, небо—все одна темнота, ничего не разглядишь. Отъ свѣчей, что стояли у насъ на чайномъ столѣ, казалось еще темнѣе, совсѣмъ черно было кругомъ... Говорили о чемъ-то въ родѣ „чулочковъ“, или „панталончиковъ“... Вдругъ въ этой темнотѣ, внизу, у балкона, кто-то какъ будто тихонько кашлянулъ... Всѣ оглянулись... Тихо...

— Кто тамъ? спросилъ отецъ.

Нѣсколько мгновеній никакого отвѣта и потомъ:

— Это я-съ...

Что-то удивительно знакомый голосъ. Я сталъ всматриваться сквозь рѣшетку балкона и вдругъ близко увидалъ „его“ лицо...

— Это онъ... живописецъ... изъ Покровскаго... почти закричалъ я и взволнованно, радостно сталъ смотрѣть на отца, на матушку. Они какъ-то недоумѣвающе переглядывались.

— Что же вы тамъ... идите сюда, сказалъ отецъ...

Онъ началъ подниматься по ступенькамъ. Подъ мышкой у него былъ какой-то ящичекъ. Онъ былъ безъ шапки: онъ держалъ ее въ рукахъ. Поднявшись на балконъ, онъ остановился и не подходилъ къ намъ. До него было шаговъ пять и онъ былъ слабо освѣщенъ—такъ что я не могъ хорошенько разглядѣть его лица.

— Идите... что-жь вы?.. опять сказалъ отецъ.

Тутъ ужь, когда онъ подошелъ совсѣмъ близко, я увидѣлъ, что онъ перемѣнился еще больше, чѣмъ даже тогда, на плотинѣ. Лицо совсѣмъ ужь какъ-то обтянулось, загорѣло. Волоса отросли и торчали не приглаженные, клочьями, какъ на звѣрѣ. Глаза какіе-то странные...

— Садитесь... сказалъ отецъ.—Вы какъ же это такъ изъ Покровскаго?..

Возлѣ меня былъ пустой стулъ и я пододвинулъ его. Онъ сѣлъ на него и поставилъ возлѣ себя на полъ свой ящичекъ.

— Вы давно изъ Покровскаго? повторилъ отецъ.

— Давно-съ... Ужъ двѣ недѣли... Меня ищутъ...

Онъ сидѣлъ возлѣ меня, такъ что я былъ между имъ и отцемъ. Когда онъ говорилъ это, я услыхалъ отъ него запахъ водки. Я зналъ этотъ запахъ. На святую къ намъ приходили христоваться мужики и отъ нихъ всегда пахло водкой. Мнѣ показалось это почему-то очень нехорошимъ съ его стороны... Зачѣмъ это онъ пьетъ?.. Отецъ не любитъ этого...

— Михаилъ Васильевичъ хотѣлъ меня драть... утромъ, а я вечеромъ, какъ это узналъ и убѣжалъ... Днемъ я въ кустахъ лежалъ, а ночами шелъ... Въ кабаки заходилъ, покупалъ водку, хлѣбъ... Я въ кабакѣ и слышалъ, что меня ищутъ... Впрочемъ, это все равно...

— Какъ все равно?

— Такъ...

Я оглянулся на отца. Онъ разсматривалъ его очень внимательно, но съ какимъ-то недоумѣніемъ.

— Чтожъ вы хотите дальше дѣлать... потомъ?..

Но онъ ничего не отвѣтилъ на это и сказалъ:

— Я вѣдь къ вамъ пришелъ еще вчера ночью. Только должно быть поздно. Въ домѣ ужъ огня не было... Походилъ по саду... потомъ забился въ самую чащу—тамъ и уснулъ... А вотъ теперь вечеромъ, когда смерклось, сходилъ въ кабакъ, выпилъ, поѣлъ... У васъ меня не искали?..

— Нѣтъ, не искали...

— Ну, да... Мнѣ и въ кабакѣ сказывали, что не искали... Они думаютъ, должно быть, что я въ Петербургъ пробираюсь...

И онъ какъ-то хитро и глупо улыбнулся.

— Ты знаешь, обращаясь къ матушкѣ, по-французски сказалъ отецъ,—онъ помѣшанный...

Мы переглядывались другъ съ другомъ, взглядывали на него. Но онъ не обращалъ никакого вниманія... Соня облокотилась на столъ, подперла голову руками и уставилась на него. Онъ смотрѣлъ разсѣянно; наконецъ остановился на ней и сталъ смотрѣть на нее. Мало-по-малу глаза у него оживились, онъ улыбнулся и сказалъ:

— Вотъ такъ ее и надо написать...

Вскорѣ пришелъ лакей и сказалъ, что ужинать готово.

— Пойдемте... поужинаемъ... вы отдохните, успокойтесь... Тутъ васъ никто не тронетъ, говорилъ ему отецъ.— А завтра вы ее и напишите...

— У меня вѣдь краски съ собой, говорилъ онъ, оглядываясь на свой ящичекъ.—Вотъ онѣ... я ихъ не забылъ тамъ...

Въ столовой было свѣтло и онъ, загорѣлый, запыленный съ этимъ своимъ ящикомъ подъ мышкой казался еще жалче, еще несчастнѣе, сиротливѣе.

— Садитесь, чтожь вы? сказалъ ему отецъ, когда мы всѣ сѣли, а онъ стоялъ.—Ничего, все, Богъ дастъ, уладится. Садитесь...

Онъ сѣлъ также, т. е. я опять былъ между имъ и отцомъ. Въ серединѣ ужина отецъ по-французски же сказалъ матушкѣ, чтобы она прислала ему чистаго бѣлья.

— Ты видишь, что за рубашка на немъ? Вотъ несчастный-то... Вели приготовить ему постель въ угольной... Ему надо сшить что нибудь, добавилъ онъ.

Матушка утвердительно кивнула головой и вздохнула.

— Хотите краснаго вина? спросилъ его отецъ.— Сережа, налей-ка.

Я налилъ ему стаканъ. Онъ доѣлъ и выпилъ его сразу. Я смотрѣлъ ему въ ротъ, какъ дѣлаютъ это собаки.

— Хотите еще? спросилъ я. И недожидаясь отвѣта,

налилъ ему еще стаканъ. Немного погодя, онъ и его выпилъ также залпомъ... И все молча...

Когда кончили ужинать и всѣ встали, отецъ положилъ ему руку на плечо и повелъ въ угольную. Я слышалъ, какъ онъ ему говорилъ:—вамъ надо непремѣнно успокоиться... вы отдохните... я все сдѣлаю... ужь тамъ какъ нибудь... Ну, Богъ дастъ... Онъ ничего не отвѣчалъ. Но въ этомъ молчаніи было столько покорности, несчастія, сиротства.

— Я не знаю, что съ нимъ, сказалъ отецъ, возвратившись къ намъ.—Онъ и тамъ былъ такой же?

— Вотъ на плотинѣ, когда мы уѣзжали... тогда почти такой же былъ, сказала матушка.

— Надо однако подумать завтра: что съ нимъ дѣлать. Держать его долго здѣсь вѣдь тоже нельзя...

Анна Карловна и Соня простились съ нами и пошли спать. Въ столовой убирали со стола.

— Ну, а ты чего же ждешь? Иди, пора спать, сказалъ мнѣ отецъ.

— Завтра онъ будетъ еще у насъ? спросилъ я.

— Будетъ, будетъ. Успокойся пожалуйста.

— А если за нимъ пришлютъ?

— Никто не пришлетъ.

— А вонъ онъ говоритъ, что его ищутъ...

— Иди, я тебѣ говорю, спать, ужь съ досадой сказалъ отецъ:—это вовсе не твое дѣло. Вонъ послѣ завтра тебя самого надо будетъ везти. Ну, иди же. Прощай.

Я простился и пошелъ къ себѣ. Часа два я не могъ заснуть. Прислушивался къ каждому звуку... Мнѣ все казалось, что вотъ сейчасъ дверь отворится и „онъ" взойдетъ ко мнѣ. Но мнѣ нисколько не было страшно... Такъ я и заснулъ наконецъ.

Отецъ вставалъ лѣтомъ всегда очень рано, часа въ четыре. У крыльца его ожидали ужь бѣговыя дрожки,

онъ садился на нихъ и уѣзжалъ въ поле на работы. Иногда онъ бывалъ далеко, на самомъ концѣ дачи, версты за три отъ дома. Въ такомъ случаѣ туда за нимъ везли самоваръ и какую нибудь холодную закуску, и онъ возвращался домой ужь къ обѣду, т. е. къ часу. Обыкновенно же онъ пріѣзжалъ назадъ къ нашему чаю, т. е. часамъ къ восьми, когда и матушка, и мы всѣ ужь сидѣли въ столовой за самоваромъ. Когда въ этотъ день я всталъ, умылся, одѣлся и, по обыкновенію, часу въ восьмомъ вышелъ въ залъ, тамъ еще никого не было. Я прошелъ въ гостинную — тамъ тоже никого. Двери въ угольную комнату, гдѣ спалъ живописецъ, были отперты,— я заглянулъ и туда, но и тамъ никого. Все убрано, даже и догадаться нельзя было, что тамъ кто нибудь ночевалъ. Я отворилъ балконную дверь, вышелъ на балконъ, посмотрѣлъ въ садъ—никого... Куда же „онъ“ дѣвался?.. Вскорѣ пришла въ залъ и сестра Соня съ гувернанткой.

— Соня, ты не видала „его?“

— Нѣтъ.

— Куда же „онъ“ дѣвался? Анна Карловна, вы не знаете, гдѣ живописецъ?

— Не знаю.

— Онъ можетъ уѣхалъ?

— Не знаю...

Еще немного погодя, въ залъ вошла и матушка, мы поздоровались съ ней. Она у кого-то изъ прислуги спросила: не приказывалъ ли отецъ привозить самоваръ въ поле и получивъ отвѣтъ, что нѣтъ, не приказывалъ, она не пошла прямо, по обыкновенію, въ столовую, а, видимо, поджидала его къ чаю, — медлила, отворяла окна, смотрѣла: политы ли цвѣты на окнахъ. Она тоже прошла и въ гостинную, заглянула и въ угольную, и всѣ мы вышли вмѣстѣ съ нею на балконъ.

— Ты не знаешь, гдѣ живописецъ? спросилъ я.

— Нѣтъ. Тутъ, гдѣ нибудь...

— Его нигдѣ нѣтъ, опять сказалъ я.

Она улыбнулась и отвѣтила, что, вѣроятно, онъ или въ саду, или можетъ отецъ взялъ его съ собой въ поле. Отецъ, дѣйствительно, всегда бралъ кого-нибудь. Страстный любитель лошадей, извѣстный заводчикъ, онъ однако боялся ихъ, т. е. молодыхъ и необъѣзженныхъ. Оттого и ѣздилъ всегда на смирныхъ и старыхъ. Кромѣ того, онъ не умѣлъ ихъ запрягать. Такъ что, еслибы дорогой у него распряглась почему-нибудь лошадь, онъ не зналъ бы, что и дѣлать. Поэтому онъ всегда кого-нибудь бралъ съ собой.

Мы постояли на балконѣ, и потихоньку, не спѣша, изъ комнаты въ комнату пошли въ столовую. Тамъ все ужь было готово; матушка начала заваривать чай. Немного погодя, мы увидали въ окно, какъ подъѣхалъ къ крыльцу отецъ на своихъ бѣговыхъ дрожкахъ. Но онъ одинъ, безъ живописца.

— Одинъ... „его“ нѣтъ съ нимъ, сказалъ я.

Матушка не разслыхала, или не хотѣла мнѣ отвѣтить, только она ничего не сказала. Анна Карловна посмотрѣла на меня и покачала головой: какъ это, дескать, можно такъ приставать... Я и самъ, и безъ нея, чувствовалъ, что ужь очень лезу ко всѣмъ съ разспросами, но что-жъ я стану съ собой дѣлать?..

Вскорѣ отецъ вошелъ въ столовую, держа въ рукахъ какое-то письмо, которое онъ распечатывалъ на ходу. Здороваясь съ нами и цѣлуя насъ, онъ говорилъ матушкѣ:

— Ты знаешь, „онъ“ вѣдь ушелъ отъ насъ. Всталъ сейчасъ же, почти вслѣдъ затѣмъ, какъ я уѣхалъ, написалъ въ кабинетѣ вотъ это письмо, запечаталъ его, отдалъ Никифору и черезъ садъ куда-то ушелъ.

Мы всѣ удивленно и напряженно слушали его. Письмо

отецъ читалъ про себя, время отъ времени какъ-то странно-грустно улыбаясь, пожимая плечами...

— Вотъ несчастный-то, проговорилъ онъ.

— Куда же „онъ“ ушелъ? спросила матушка.

— „Онъ“ проситъ ради Бога держать это втайнѣ. Вы не болтайте объ этомъ — обратился онъ къ намъ.— „Онъ“ пишетъ, что будетъ пробираться въ Петербургъ. Дорогой будетъ заходить къ попамъ, дьячкамъ, рисовать образа для церквей и думаетъ такъ добраться до Петербурга. На первое время у него есть еще нѣсколько рублей... Оставаться, говоритъ, у васъ не могу, потому что, все равно, изъ этого ничего не выйдетъ и рано, или поздно меня отыщутъ и возьмутъ. Проситъ только, чтобы въ случаѣ, если изъ Петербурга будутъ спрашивать, почему онъ убѣжалъ отъ Михаила Васильевича и что это за человѣкъ — сказать правду, только правду... А тамъ, въ Петербургѣ, онъ увѣренъ, что его спасутъ, не дадутъ погибнуть... „Онъ“ пишетъ на кого и надѣется...

Я помню, отецъ назвалъ тогда нѣсколько фамилій, но у меня сохранилась въ памяти одна—Плетневъ. Отецъ (онъ былъ Петербургскаго университета) зналъ Плетнева и началъ говорить, что это—очень хорошій, добрый человѣкъ и дѣйствительно непремѣнно приметъ въ „немъ“ участіе... Съ этихъ поръ—странная случайность — я почувствовалъ къ Плетневу какое-то необъяснимо-горячее, чуть не восторженное чувство и потомъ все разспрашивалъ объ немъ отца. Черезъ семь лѣтъ, когда я пріѣхалъ въ Петербургъ поступать въ университетъ, я помню, въ какомъ волненіи ожидалъ я увидать его...

— Такъ что они навѣрно „его“ спасутъ? сказалъ я.

Мнѣ никто не отвѣчалъ. Я опять повторилъ вопросъ.

— Да, если онъ доберется до Петербурга, сказалъ отецъ.

— Тамъ ужь навѣрно спасутъ?

— Да, повторилъ отецъ.

— А если нѣтъ?

— Тогда плохо...

— Что-жь, тогда его опять къ дядѣ?

— Отдадутъ опять ему... Ну, да ты ужь успокойся, доберется до Петербурга... Вотъ только „онъ“ глупо сдѣлалъ, что ушелъ, не дождавшись. „Ему“ бы надо было дать денегъ на дорогу, рублей хоть сто...

— А если бы его догнать?

— Ты развѣ знаешь, въ какую сторону „онъ“ пошелъ? „Онъ“ тебѣ ничего не говорилъ? Ты „его“ не видалъ? спросилъ отецъ и мнѣ показалось, что онъ представляетъ себѣ, что я будто бы знаю, куда „онъ“ пошелъ.

— Я „его“ не видалъ, сказалъ я.—Какъ вчера пошелъ спать, такъ я его больше ужь и не видалъ.

— Ну, такъ гдѣ же „его“ сыщешь? Днемъ „онъ“ навѣрно будетъ гдѣ нибудь укрываться, идти будетъ ночами... Вотъ только бѣда, если „онъ“ будетъ пить. Тогда навѣрно попадется и тогда ужь „ему“ конецъ. Тогда ужь „онъ“ отъ дяденьки твоего не уйдетъ. Онъ, я думаю, въ клѣтку тогда „его“ посадитъ...

— Анна Карловна, идите въ садъ гулять съ дѣтьми, сказала матушка.

Она всегда насъ куда нибудь отсылала, когда почему-нибудь находила, что намъ не слѣдуетъ слышать начавшійся разговоръ. Такъ и теперь. Она послала насъ потому, что по ея мнѣнію намъ не слѣдовало слышать то-что говорилъ отецъ про дядю...

Анна Карловна собрала насъ и увела.

Вечеромъ, въ тотъ же день, когда я зачѣмъ-то взошелъ въ кабинетъ, гдѣ сидѣли отецъ съ матушкой, я услыхалъ еще такой отрывокъ изъ ихъ разговора.

— Это можетъ вѣдь очень скверно для него кон-

читься... Изъ этого можетъ розыграться цѣлое слѣдствіе. Его изъ имѣнія выведутъ... Имѣніе возьмутъ въ опеку... говорилъ отецъ.

— Это ты про кого? спросилъ я.

— Все про дяденьку твоего...

— За что?

— Чтобъ людей не мучилъ...

— Для чего это ты разсказываешь ему? сказала матушка... Ребенокъ и такъ какой-то странный, а ты ему еще разсказываешь...

— Какой же онъ „странный"? Мальчику десять лѣтъ, развѣ онъ не понимаетъ?—Вѣдь ты все понимаешь? спросилъ онъ меня.

— Все, улыбаясь, сказалъ я.

— Ну, вотъ видишь...

Но матушка удивленно пожала плечами, сказавъ, что воображаетъ, какъ это я все понимаю, и заговорила о томъ, что лучше бы подумать, какъ это вотъ послѣ завтра везти меня въ гимназію...

Наступилъ, наконецъ, и день отъѣзда. Съ вечера все ужъ было уложено, завязано. Утромъ оставалось только велѣть запречь лошадей, закусить на дорогу, проститься и—въ путь. Филиппъ Иванычъ—человѣкъ, который долженъ былъ со мною ѣхать и потомъ остаться при мнѣ въ пансіонѣ (у насъ у каждаго былъ свой человѣкъ),—тоже ходилъ ужъ совсѣмъ какъ посторонній.

— Филиппъ? зоветъ отецъ.

— Ахъ, дайте ему собраться. Человѣкъ завтра уѣзжаетъ, а его все зовутъ, вмѣшивается матушка.

И Филиппъ ходилъ съ какимъ-то совсѣмъ особеннымъ выраженіемъ въ лицѣ, даже что-то такое надѣлъ, чего на немъ прежде не было; говорилъ онъ серьезно, тихо.

— Пожалуйста же, Филиппъ...

— Да ужъ будьте покойны, матушка. Лишь бы Богъ далъ учились они хорошо...

Филиппъ былъ очень хорошій человѣкъ. Онъ былъ испытанной честности и пользовался довѣріемъ въ домѣ. Его посылали въ городъ за покупками. Онъ же ѣздилъ и въ Москву съ шерстью. Желѣзныхъ дорогъ тогда не было, и онъ ѣздилъ туда съ этой шерстью на подводахъ. Уложатъ бывало ее въ тюки, зашьютъ въ рогожу, навалятъ тюки на подводы и ѣдутъ. Тамъ Филиппъ ее продавалъ гдѣ-то, получалъ деньги. Потомъ покупалъ по списку все нужное „для дому"—зеленый горошекъ, вѝна у Депре, чай, кофе, сахаръ, макароны и т. д. Возвращеніе его изъ Москвы было цѣлымъ событіемъ. По приблизительному разсчету дней начинали поджидать его задолго.

— Что это Филиппъ не ѣдетъ?

— Не управился еще.

— Да ужъ пора бы. Развѣ въ дорогѣ что...

— Ахъ, у тебя все что нибудь... пріѣдетъ, Богъ дастъ, успокоиваетъ матушка.

Наконецъ, Филиппъ пріѣзжаетъ.

— Филиппъ Иванычъ пріѣхалъ, докладываетъ лакей.

— А-а!.. пріѣхалъ... ну, зови его сюда.

Филиппъ съ дороги въ высокихъ сапогахъ; для ловкости и для сохранности денегъ, которыя онъ привезъ изъ Москвы за шерсть и которыя у него въ боковомъ карманѣ, подпоясанъ кушакомъ. Стараясь тише стучать своими сапогами по паркету, онъ идетъ—мы слышимъ— и останавливается въ дверяхъ.

— Здравствуй, Филиппъ. Ну что, какъ съѣздилъ?

— Слава Богу-съ.

— Все хорошо?

— Хорошо-съ. Слава Богу...

Поѣздки Филиппа въ Москву составляли какое-то со-

бытіе—не событіе, что-то въ родѣ священнодѣйствія, о которомъ и самый разсказъ-то выслушивался чуть ли не съ благоговѣніемъ. Сразу даже не спрашивали, почемъ онъ продалъ шерсть, сколько привезъ денегъ, а подходили къ этимъ вопросамъ, какъ-то задерживая себя и какъ бы мимоходомъ. И ужь гораздо спустя послѣ того, какъ онъ разскажетъ новости про Москву, разскажетъ про дорогу, послѣ того, какъ его пошлютъ въ переднюю напиться чаю съ дороги — онъ почему-то пріѣзжалъ всегда къ вечеру,—онъ сдастъ деньги въ кабинетѣ: толстыя, засаленныя пачки бумажекъ, чистенькіе, синеватые листочки серій... Завтра будутъ развязывать и открывать возы, въ которыхъ уложены покупки. Мы будемъ смотрѣть, разсматривать, пробовать изюмъ, миндаль, горошекъ и проч. Я говорю—это было цѣлое событіе въ тиши тогдашней деревенской жизни. У него, конечно, все въ исправности, все вѣрно. Нечего и считать. Такой человѣкъ, какъ Филиппъ!.. Долго, чуть ли не цѣлую недѣлю еще по вечерамъ онъ будетъ разсказывать о своей поѣздкѣ и его будутъ слушать все съ тѣмъ же напряженнымъ вниманіемъ и любопытствомъ.

Этотъ человѣкъ ѣхалъ теперь со мной—меня поручали ему. Онъ нужный, необходимый человѣкъ для дому, „съ нимъ покойно", но я единственный сынъ, надежда, радость—все... Кому же поручить это „все", какъ не Филиппу?.. Помню я это послѣднее утро—день отъѣзда. До мелочей я его помню: какое платье было на матушкѣ, какъ кто сидѣлъ, что подавали за завтракомъ—подавали битки съ кисленькимъ огуречнымъ соусомъ—все помню... Наконецъ, надо же было ѣхать. Лошади ужь часа два стояли у крыльца.

— Ну, присядемъ.

Присѣли. Посидѣли молча съ полминуты, встали, начали креститься... Началось прощаніе, обниманіе, цѣло-

ваніе... Всѣ меня крестили, цѣловали, говорили, точно въ утѣшеніе, что надо учиться. Какимъ зато я молодцомъ буду потомъ, когда выучусь и пріѣду офицеромъ. Добрые люди—они думали, что я буду даже генераломъ... Нянька моя прямо это говорила.. Когда кончилось и прощаніе, всѣ — отецъ, матушка, сестра, гувернантка, нянька, горничная гурьбой двинулись за мной въ переднюю, на крыльцо. Филиппъ стоялъ у тарантаса и, перегнувшись въ него, поправлялъ дорожныя подушки, узелочки съ провизіей и еще другіе съ чѣмъ-то узелочки. Еще разъ всѣ цѣлуютъ, крестятъ...

— Ну, съ Богомъ!..

Филиппъ садится въ тарантасъ рядомъ со мною, говоритъ, чтобы я сѣлъ повыше, что-то такое поправляетъ у меня за спиной... Лошади трогаютъ. Я оборачиваюсь, смотрю на крыльцо... Тамъ всѣ стоятъ, крестятъ, киваютъ... Сейчасъ будетъ свертокъ за садъ. Повернули, и—все скрылось... Крѣпкія, сытыя лошади бѣгутъ дружной, ровной рысью. Колокольчикъ такъ и раздается въ саду. Проѣхали и садъ, плотину, выгонъ, что за плотиной, ѣдемъ полемъ. Я оглядываюсь время отъ времени назадъ—все дальше, туманнѣе видно усадьбу. Наконецъ, осталась на горизонтѣ какая-то блѣдно синеватая туманная полоска. Скоро и она пропала... Когда я оглянулся и не нашелъ уже этой полоски—тутъ только я ощутилъ вполнѣ, что я остался одинъ, и сознаλъ, что перехожу какую-то границу, которая оставляетъ за собой все, что было до сихъ поръ, и что впереди у меня все будетъ другое... И въ это другое я вступалъ... И вдругъ тутъ почему-то мнѣ вспомнился „живописецъ“ съ головой, остриженной клочьями, запыленный, загорѣлый, съ своимъ ящикомъ подъ мышкой. „День я во ржахъ—ночью иду“, мысленно повторялъ я его слова. Впереди, налѣво,—безконечная равнина ужь поспѣлой, но еще не сжатой

ржи:—„можетъ онъ тамъ“, мелькнуло у меня въ головѣ, и я внимательно сталъ всматриваться въ даль... Теперь онъ лежитъ тамъ, гдѣ-нибудь на межѣ, прислушивается, дожидается, когда солнце сядетъ... Потомъ пойдетъ и все оглядывается... Ночью мы тоже поѣдемъ... и вдругъ гдѣ-нибудь онъ выйдетъ на дорогу... И мнѣ какъ-то страшно стало. Я очнулся... лошади идутъ шагомъ. Рядомъ сидитъ Филиппъ и дремлетъ съ полузакрытыми глазами...

„А что теперь тамъ?.. Обѣдать теперь ужъ скоро будутъ... Отецъ съ матушкой въ кабинетѣ сидятъ... Соня съ гувернанткой въ саду... Никаноръ накрываетъ столъ. Черезъ открытыя окна въ залѣ слышно, какъ въ кухнѣ Василій поваръ рубитъ котлеты и точно дробь выбиваетъ на барабанѣ“... Мысли и образы проходятъ, смѣняютъ другъ друга... Лошади опять побѣжали рысью. Филиппъ Иванычъ проснулся, встряхнулъ головой, кашлянулъ и поправился.

— Вотъ ужъ и Прудки, говоритъ онъ, заглядывая впередъ.

— Тамъ кормить будемъ?

— Тамъ-съ.

— Покормимъ и дальше поѣдемъ?

— Дальше-съ. Холодкомъ отлично...

— И ночью будемъ ѣхать?

— Такъ до полуночи. Къ полуночи въ Спасское пріѣдемъ. Тамъ опять кормить до утра...

Сонъ совсѣмъ прошелъ у него. Онъ видитъ, что я сижу бодрый, не нюню. Озабоченный своей миссіей, онъ начинаетъ со мной говорить о томъ, какъ мы пріѣдемъ, остановимся гдѣ въ „губерніи“...

— Пріѣдемъ,—умоетесь, одѣнетесь, чайку покушаете, папенькины письма положите въ карманчикъ, и мы съ вами поѣдемъ... Перво-на-перво къ архіерею—подъ бла-

гословеніе... Потомъ къ предводителю губернскому... къ тетенькѣ-игуменьѣ, а тамъ къ директору въ гимназію... Точно вчера это все было... Господи, какъ живо все это я помню!

Такъ мы сдѣлали, какъ пріѣхали. Я напился чаю, умылся, причесался, надѣлъ новенькую курточку; Филиппъ то-же одѣлся во все самое лучшее; мы взяли извощика и поѣхали развозить письма. Куда ни пріѣдемъ, онъ оправитъ на мнѣ платье, скажетъ, чтобъ обо мнѣ доложили и совѣтуетъ: — „а вы, сударь, такъ и такъ скажите...“ Меня, конечно, вездѣ принимали, вездѣ дали совѣтъ, чтобы я хорошенько учился, и сказали, что по воскресеньямъ будутъ за мной пріѣзжать. Даже и архіерей—и тотъ сказалъ, благословляя:

— Скучно, отрокъ, будетъ тебѣ у меня, а на праздникъ все-жь приходи...

Наконецъ мы отправились въ гимназію къ директору. Это былъ высокій, толстый мужчина, лѣтъ сорока пяти, съ огромной мохнатой головой и громкимъ голосомъ. Онъ говорилъ во все горло, точно кричалъ, и то и дѣло хохоталъ: — Ну, да, да... повторялъ онъ, и ни съ того ни съ сего вдругъ захохочетъ...—„Какой онъ чудной“, думалъ я, и смотрѣлъ то прямо ему въ лицо, то на ноги, одѣтыя въ узенькія, короткія брюки, не достававшіе до полу почти на четверть.

— Ну, пойдемъ, пойдемъ, ха, ха, ха... пойдемъ, я отведу тебя въ пансіонъ... А ты учиться будешь? ха, ха, ха...

Онъ надѣлъ фуражку и пошелъ со мной черезъ улицу въ „Благородный пансіонъ“. Филиппъ Иванычъ пошелъ за нами.

— А это твой дядька? спросилъ онъ меня.

— Дядька, сказалъ я.

— Ну, ты у меня смотри, служи хорошенько, не

пьянствовать... смотри!.. А то такъ велю отодрать.. ха, ха, ха...

Мнѣ это показалось страннымъ и стало какъ-то не ловко. „Какой онъ глупый и грубый“, подумалъ я. Филиппъ ничего ему не отвѣтилъ. Я хотѣлъ было оглянуться и посмотрѣть на него, но не оглянулся—мнѣ было бы не ловко, совѣстно...

Мы пришли какъ разъ въ то время, когда пансіонеры садились въ столовой обѣдать. Ихъ было человѣкъ около тридцати.

— Ну, вотъ вамъ еще товарищъ. Смотрите, его не обижайте, сказалъ онъ. Садись вотъ здѣсь. Ты еще не обѣдалъ?

— Нѣтъ.

— Ну, обѣдай...

Затѣмъ онъ что-то поговорилъ обо мнѣ воспитателю и ушелъ въ другія комнаты. Нѣкоторое время оттуда долго еще слышался его громкій голосъ... Въ тотъ же день на меня надѣли форменную куртку, казенное бѣлье, сапоги. Вечеромъ, когда насъ повели въ столовую пить чай, я удивился, увидавъ, что и Филиппъ былъ то-же ужь въ форменномъ сюртукѣ и на огромномъ подносѣ разносилъ стаканы съ чаемъ.

— А вы, сударь, послѣ того извольте къ маменькѣ съ папенькой письмо написать, сказалъ онъ мнѣ:—Ермолай (кучеръ) пришелъ проститься. Онъ завтра чуть свѣтъ домой уѣзжаетъ.

Началась новая жизнь...

Въ пансіонѣ были все дѣти помѣщиковъ нашей же губерніи; было нѣсколько человѣкъ изъ одного со мной уѣзда; но я раньше съ ними не былъ знакомъ. Мы вставали въ семь часовъ утра, умывались и одѣвались, шли на молитву, потомъ садились готовить уроки. Въ половинѣ девятаго намъ давали по стакану чаю съ бул-

кой и вели въ гимназію на лекціи. Во время „большой перемѣны“, т. е. послѣ двухъ уроковъ, во время перерыва лекцій на полчаса, давали бутерброды. Потомъ опять два урока. Въ три часа вели попарно въ пансіонъ; обѣдъ, отдыхъ, приготовленіе уроковъ, чай, отдыхъ, ужинъ и въ половинѣ десятаго—спать. И такъ изо дня въ день. Меня очень скоро полюбили. Того, что называется „приставаньемъ къ новичку“—со мною не было.

— Ха, ха, ха... Ну что, привыкаешь? нѣсколько разъ спрашивалъ меня директоръ.

Онъ приходилъ въ пансіонъ каждый день.

— Привыкаю.

— А если станутъ приставать, то спуску не давай...

Я уже сказалъ, что товарищи-пансіонеры были все дѣти помѣщиковъ нашей же губерніи. Были между ними и моложе меня, но были и гораздо старше—въ шестомъ и седьмомъ классахъ были здоровые ребята лѣтъ по восемнадцати, а одному было даже за двадцать лѣтъ. Они, понятно, съ нами никакой дружбы не водили и ходили между нами, какъ ходитъ въ садкѣ крупная рыба между маленькими. Но они жили вмѣстѣ съ нами. Ѣли, пили, спали, гуляли—все вмѣстѣ. Они говорили другъ съ другомъ, но разговоръ ихъ мы слышали. Курить было запрещено, но они всѣ курили въ форточки, въ отдушники и потомъ ѣли мятныя лепешки, чтобы не было отъ нихъ запаха табаку. Возвращаясь по воскресеньямъ изъ отпуска, они опять ѣли эти мятныя лепешки и дышали другъ на друга, спрашивая, не пахнетъ ли отъ нихъ виномъ. Они разсказывали другъ другу ужасныя сальности. Все это мы видѣли и слышали. Сперва, съ нова, меня, не слыхавшаго ничего подобнаго, это удивляло и вызывало во мнѣ какое-то брезгливое чувство. Такъ дѣйствуетъ на человѣка, привыкшаго къ чистому бѣлью, чистому платью, порядочнымъ манерамъ

и проч., видъ грязнаго, неумытаго, потнаго лица, грязныхъ, сальныхъ рукъ... Но меня особенно удивило и возмутило ихъ обращеніе съ своими дядьками. Почти у всѣхъ у нихъ были свои дядьки. На другой день, какъ я поступилъ, вечеромъ, когда мы пришли въ спальню и раздѣвались, чтобы укладываться спать, одинъ изъ этихъ старшихъ началъ за что-то бранить своего человѣка. Тотъ оправдывался. Тогда онъ его при всѣхъ ударилъ по щекѣ... Нѣкоторые смѣялись и говорили, что такъ и слѣдуетъ, а то онъ совсѣмъ его распустилъ... Меня это ужасно возмутило, и я долго не могъ заснуть потомъ. Мнѣ было одиннадцать лѣтъ, но я видѣлъ первый разъ, какъ бьютъ людей... Еще черезъ нѣсколько дней разыгралась такая сцена. Одинъ изъ старшихъ пансіонеровъ за что-то—такъ за какой-то вздоръ—разсердился на своего дядьку. Это при мнѣ было, и я помню, что тотъ ничего ему обиднаго не отвѣчалъ, только оправдывался.—Ну, хорошо, довольно. Мнѣ ужь это надоѣло, сказалъ онъ.—Вотъ ужо я тебя накажу... Это было утромъ. Когда мы пришли изъ гимназіи и собирались идти обѣдать, пришелъ директоръ. Пансіонеръ, о которомъ я говорю, подошелъ къ нему и сказалъ:—Ваше превосходительство, прикажите моего Егора наказать. Ни на что не похоже—грубитъ, не служитъ...

Директоръ въ лицѣ преобразился—просіялъ, захохоталъ и радостно началъ звать служителей-дядекъ.

Я его... я его!.. кричалъ онъ. А гдѣ Егорка?

Мы стояли и смотрѣли. Нѣкоторые смѣялись и разговаривали, какъ передъ началомъ спектакля... Къ директору подошелъ „Егорка".

— Ты это что затѣялъ? А? Своему помѣщику грубить вздумалъ?..

— Ваше превосходительство! съ искаженнымъ лицомъ завопилъ „Егорка", старикъ лѣтъ пятидесяти, почти ужь

сѣдой, маленькій, сухощавый, съ выбритымъ лицомъ, съ сѣренькими щетинистыми усиками подъ носомъ и повалился въ ноги. Я какъ сейчасъ гляжу на него...

— По-мѣ-щи-ку своему... а!.. сто... пятьсотъ ему дать!.. Эй, Васька, Ванька!..

Въ это время изъ кухни въ столовую мимо насъ съ миской проходилъ Филиппъ.

— Филька! увидавъ его, закричалъ онъ.

Филиппъ поставилъ миску и подошелъ къ директору. Въ это же время прибѣжали и другіе дядьки.

— Филька! Какъ господа откушаютъ, вотъ ты съ ними—онъ указалъ еще на двухъ служителей—накажешь Егорку... Дать ему двѣсти... мало... дать ему триста...

Филиппъ стоялъ и молчалъ. Потомъ я увидалъ, что онъ что-то шевелитъ губами, но что онъ говорилъ—я не могъ разобрать за говоромъ другихъ. Директоръ тоже должно быть плохо разслышалъ.

— А? Что ты говоришь?

— Я не могу-съ. Я этого дѣла не умѣю, говорилъ Филиппъ.

— Не умѣешь?.. Ты не умѣешь?.. Ты заодно?.. Ну, такъ я тебя выучу... Васька, дать ему для науки, чтобы умѣлъ, на первый разъ пятьдесятъ. Я тебя выучу...

Онъ взялъ его за подбородокъ и дернулъ голову кверху. Я увидалъ смущенное, блѣдное лицо Филиппа и вдругъ я почувствовалъ, что меня что-то душитъ и въ глазахъ зелено, какіе-то круги, пятна... Я хотѣлъ закричать, но не могъ, со мной сдѣлалось дурно, я зашатался и упалъ...

У насъ въ пансіонѣ была большая, высокая, просторная комната, въ которой стояло шесть кроватей, у каждой кровати ночной столикъ и стулъ. Тутъ же былъ шкафъ, въ которомъ стояли банки и пузырьки съ какими-то лекарствами. Въ комнатѣ пахло аптекой. Это былъ

нашъ лазаретъ. Когда я очнулся и пришелъ въ себя, я лежалъ на одной изъ этихъ кроватей. Возлѣ меня на стулѣ сидѣла наша старуха кастелянша. У кровати стоялъ Филиппъ. Въ дверяхъ слышался голосъ директора: скоро?—Сейчасъ пріѣдутъ, кто-то отвѣчалъ ему... Я чувствовалъ ужасную слабость. Мнѣ давали что-то пить. Подошелъ директоръ.

— Что это съ тобой? спросилъ онъ.

Я смотрѣлъ на него, на кастеляншу, на Филиппа, все слышалъ, видѣлъ и ничего не могъ сказать.

— Что это съ тобой было? повторилъ онъ. — Дайте ему воды. Мнѣ подали стаканъ. — Пей... еще... еще выпей...

Я пилъ воду и тяжело всхлипывалъ, какъ бываетъ это у дѣтей, когда они ужь перестали плакать, но еще не совсѣмъ успокоились... И вдругъ я почувствовалъ, что у меня опять что-то душитъ въ горлѣ и слезы горячія-горячія такъ и полились ручьями.

— Да что съ тобой, наконецъ? говорилъ директоръ.

Теперь я чувствовалъ, что могу говорить и, рыдая и всхлипывая, выговорилъ: — ничего... я съ нимъ домой поѣду...

— Съ кѣмъ это съ нимъ? Куда?..

— Съ Филиппомъ... домой...

— А-а... Такъ это вотъ что!.. догадался онъ. — А вѣдь я сразу и не понялъ... Ну, ты это успокойся. Наказывать, изволь, я его не буду... Вотъ онъ какой... скажите пожалуйста...

Его смущеніе и испугъ прошли, онъ оправился и даже захохоталъ слегка — какой дескать я дуракъ, думалъ что нибудь серьезное, а то какой вздоръ...

— Скажите пожалуйста... а! За что только меня напугалъ... все повторялъ онъ.

Скоро пріѣхалъ докторъ, пощупалъ у меня пульсъ,

приложилъ руку къ моему лбу, посмотрѣлъ языкъ, спросилъ что-то, пожевалъ губами и они вышли вмѣстѣ съ директоромъ. Къ вечеру я совсѣмъ оправился—мнѣ что-то давали, какія-то капли,—но ночевать оставили въ лазаретѣ. Въ одиннадцать часовъ, когда воспитанники уже спали и когда убрались съ работой и служителя, ко мнѣ въ лазаретъ тихонько, на ципочкахъ, безъ сапоговъ кто-то взошелъ. Я не засыпалъ еще и окликнулъ.

— Это я-съ, отвѣчалъ Филиппъ.—Я тутъ лягу...

И онъ легъ на полу, въ ногахъ моей кровати, что-то подложивъ себѣ подъ голову и чѣмъ-то прикрывшись.

Мнѣ не спалось—съ вечера, послѣ обморока, я немного заснулъ—а теперь все вертѣлся, въ голову лѣзли какія-то мысли, образы; путались, путались они и вдругъ опять живописецъ. Стоитъ ночью на дорогѣ. Кругомъ рожь. Ночь тихая, темная. Я чувствую, что и я тутъ, но онъ меня не видитъ. Стоитъ онъ и все смотритъ куда-то. Голова острижена клочьями, глаза злые... я смотрю на его лицо и вдругъ оно мало-по-малу стало звѣринымъ, какъ у волка, зубы слегка оскалены... Я съ трудомъ перевелъ духъ, сдѣлалъ движеніе головой, руками... и все пропало. Я былъ въ испаринѣ и тяжело дышалъ... Въ большой комнатѣ лазарета было почти темно, но я однако-жь видѣлъ всѣ пять пустыхъ коекъ, что стояли рядомъ, одна возлѣ другой... Тишина... Я полежалъ на спинѣ, повернулся на бокъ, попробовалъ-было опять закрыть глаза, но въ голову опять полѣзли образы...

— Господи Іисусе Христе... Мать Пресвятая Богородица, шепчетъ во снѣ Филиппъ.

— Филиппъ, ты не спишь? тихонько говорю я.

— Нѣтъ-съ. Чего угодно? и онъ поднялся, сѣлъ.

— Ничего .. Я такъ... И я не сплю...

— Отчего же? Надо почивать... Ужь первый часъ, я думаю.

— Я живописца сейчалъ видѣлъ... онъ въ полѣ стоитъ.

— Почивайте, Богъ съ нимъ... Прочитайте молитву и започивайте...

— Какой онъ, если бы ты видѣлъ, страшный...

— Молитву прочитайте—все пройдетъ. „Да воскреснетъ Богъ“ надо прочитать...

Онъ посидѣлъ еще немного и опять легъ, поджалъ ноги и хорошенько прикрылся...

Утромъ ко мнѣ зашелъ дежурный воспитатель.

— Ну, что съ вами? спросилъ онъ.

— Ничего... Теперь все прошло.

Въ гимназію меня однако не повели. Воспитатель сказалъ, что это ужъ пусть директоръ какъ знаетъ... Въ четыре часа, къ обѣду, когда пришли воспитанники изъ гимназіи, пришелъ и директоръ. Зашелъ въ лазаретъ.

— Ну, что?

— Я здоровъ.

Это было въ субботу. Всѣ спѣшили въ отпускъ. За кѣмъ пріѣзжали родственники, за кѣмъ присылали лакеевъ съ записками. Я переодѣлся изъ больничнаго халата въ обыкновенное наше платье и вышелъ въ залъ. Тѣ, за кѣмъ еще не присылали, стояли у оконъ, сидѣли на нихъ, смотрѣли—не идутъ ли и не ѣдутъ ли за ними. Вдругъ по залу раздалось: — Тсс... предводитель!.. Всѣ начали оправляться, отошли отъ оконъ. Воспитатель пошелъ на встрѣчу, тоже поправляя галстухъ, волоса... Предводитель губернскій считался попечителемъ гимназіи и нашего пансіона. Онъ былъ самое большое для насъ начальство, передъ которымъ въ ничто обращался даже и директоръ. Онъ очень рѣдко заходилъ къ намъ.

Онъ взошелъ очень торжественно, прошелся по всѣмъ комнатамъ, осмотрѣлъ преимущественно потолки, — онъ все больше смотрѣлъ вверхъ... Мы всѣ сбились въ кучу и издали провожали его. Онъ ходилъ съ воспитателемъ.

Вдругъ Бонбонель — воспитатель — громко позвалъ меня.

— Т — въ, тебя зовутъ, заговорили товарищи. — Иди же.

Я поправился, обдернулъ курточку и пошелъ.

— Ну, что? Привыкаешь? Нравится здѣсь? Не скучаешь? спрашивалъ предводитель.—Не шалитъ онъ? обратился онъ къ воспитателю.

— Пока ничего. Здоровье только у него, кажется, слабое. Вчера припадокъ съ нимъ былъ...

— Да-а? Это нехорошо. Надо больше движенія. Заставляйте ихъ больше бѣгать... Ну, одѣвайся... поѣдемъ ко мнѣ въ отпускъ...

Онъ походилъ еще немного, пока я перемѣнилъ куртку на мундирчикъ; потомъ подали его коляску, мы сѣли и поѣхали.

— И что-жь эти припадки у тебя часто бываютъ? спросилъ онъ меня дорогой.

— У меня никакихъ припадковъ нѣтъ.

— А вчера что-жь было?

— Вчера Петръ Иванычъ (директоръ) хотѣлъ сѣчь Филиппа, а я испугался.

— Какъ сѣчь? Какого Филиппа?

— Моего. Который изъ деревни со мной. И я ему все до самыхъ мелочей разсказалъ, какъ было.

Онъ очень внимательно слушалъ, что я говорилъ, время отъ времени качалъ головой и повторялъ: „Ахъ, что онъ дѣлаетъ, ахъ, что онъ дѣлаетъ... И это теперь-то, когда на носу...“

Дома, когда мы пріѣхали, онъ повторилъ мой разсказъ собравшимся у него къ обѣду:

— Этакія вещи узнаешь случайно... Теперь и тамъ, въ деревняхъ-то, надо тише воды, ниже травы себя держать, а онъ тутъ вздумалъ...

Я помню, что они говорили, ссылаясь все на какое-то „нынѣшнее время". Я это и помню только, но въ чемъ дѣло—я тогда не понималъ...

На другой день, т. е. въ воскресенье, у предводителя былъ передъ обѣдомъ нашъ директоръ. Я видѣлъ его мелькомъ, когда онъ проходилъ черезъ залъ въ кабинетъ. Они пробыли тамъ вдвоемъ около часу, и директоръ уѣхалъ. На другой день онъ встрѣтилъ меня въ гимназіи, позвалъ въ комнату, гдѣ собирались учителя — тамъ никого не было—и спросилъ, что я говорилъ предводителю.

— Онъ спрашивалъ, отчего у меня припадки, а я сказалъ, что у меня никакихъ припадковъ нѣтъ—я только такъ испугался тогда.

— А домой ты объ этомъ ничего не писалъ?

— Нѣтъ, еще не писалъ.

— И не пиши...

Ужъ я право не знаю, отъ кого и какъ, но вечеромъ въ этотъ же день въ пансіонѣ всѣ узнали, что за директоромъ вчера присылалъ предводитель, задалъ ему головомойку и не велѣлъ больше сѣчь служителей. Старшіе воспитанники на меня косились, что-то такое говорили про меня другъ съ другомъ; говорили, что если нельзя „людей" наказывать — лучше ихъ и не держать и проч. За то я сдѣлался любимцемъ всѣхъ дядекъ.

— Ай да баринъ. Вотъ это такъ баринъ, говорили они. — Теперь ужъ Богъ дастъ недолго... Скоро воля будетъ.

— Какая воля?

— Такая, что всѣ вольные будутъ. Отъ господъ всѣхъ отберутъ.

— Когда же это будетъ?

— Да ужъ теперь скоро...

Въ пансіонѣ у насъ все шло по-прежнему. Утромъ

въ гимназію, къ обѣду — изъ гимназіи. Отдыхъ, приготовленія уроковъ, чай, ужинъ, спать. Прошла осень, настала зима. Подходили праздники. Подходили — и подошли. Святки — не каникулы. На каникулы всѣ разъѣзжаются, а на святки и четвертая часть не уѣхала въ деревни; но въ города, къ роднымъ, къ знакомымъ разошлись почти всѣ. Меня взялъ къ себѣ предводитель. Въ домѣ у него никого не было, кромѣ его жены и ея сестры, очень бойкой дѣвицы, которая меня страшно тормошила, — брала съ собой кататься, таскала по магазинамъ; но я все-таки былъ одинъ, въ томъ смыслѣ, что не имѣлъ товарища, и все время былъ тамъ же, гдѣ были и большіе. Я невольно слушалъ ихъ расговоры, споры. Каждый день у него, разумѣется, собиралось народу очень много и рѣчь у нихъ все шла объ одномъ — объ эмансипаціи.

— Что это значитъ — „эмансипація“? спросилъ я однажды. Мнѣ объяснили, что это значитъ воля, которую хотятъ дать мужикамъ и всѣмъ этимъ кучерамъ, поварамъ, лакеямъ, горничнымъ, но что объ этомъ говорить имъ не слѣдуетъ...

Я началъ кое-что понимать...

Такъ прошли святки. Мы опять собрались въ пансіонъ и опять все пошло по-прежнему, вплоть до масляницы. Въ среду на масляницѣ къ намъ въ пансіонъ заѣхала предводительшина сестра и такъ, не раздѣваясь, вся въ соболяхъ, взошла въ залу, попросила къ себѣ воспитателя, сказала, что беретъ меня съ собой. Я одѣлся, мы сѣли съ ней въ парныя сани и поѣхали прямо кататься, а потомъ къ нимъ обѣдать. И въ эти четыре дня масляницы, которые я провелъ у нихъ, слово эмансипація не сходило у всѣхъ съ языка. Кромѣ того, прибавилось еще одно новое слово — комитетъ. Объ эмансипаціи, т. е. объ волѣ, теперь всѣ говорили ужь громко,

не стѣсняясь, не такъ, какъ тогда, на святки. Однажды, послѣ обѣда вечеромъ, когда въ залѣ и въ кабинетѣ раскладывались ломберные столы и всѣ почти садились играть въ карты, я, соскучившись сидѣть въ гостинной, пошелъ бродить между играющими и услыхалъ за однимъ изъ столовъ такой разговоръ:

— Я понимаю, говорилъ какой-то усатый, толстый помѣщикъ,—безобразія, жестокости надо уничтожить, но вѣдь не всѣ же Скурлятовы... Ну, ихъ, этихъ тирановъ, и бери въ опеку, а мы-то чѣмъ виноваты?.. Я—пасъ.

— Семь червей... А кстати, что онъ съ этимъ живописцемъ—поймали его? спросилъ другой кто-то.

— Поймали... Тогда же поймали...

— Да-а?.. Гдѣ-жь онъ? вскрикнулъ я...

Всѣ на меня подняли головы и удивленно смотрѣли.

— Онъ гдѣ же? повторилъ я.

Я былъ страшно взволнованъ. Во рту пересохло, меня опять начинало душить...

— У него... разумѣется... кто-то отвѣчалъ мнѣ.

— И что-жь онъ съ нимъ дѣлаетъ?.. Онъ бьетъ его?

— По головкѣ не гладитъ... Не такой мальчикъ.

Они шутили, даже смѣялись... и опять погрузились въ карты: пасъ, семь червей, бубны и т. д.

Я дошелъ до столика, на которомъ стоялъ графинъ съ водой, выпилъ цѣлый стаканъ и сѣлъ у окна въ углу. На меня нашелъ какой-то столбнякъ. Я старался припомнить, сообразить, понять—голова горѣла, но не работала—въ ней была ужасная путаница... Я уставлялся въ одну точку и смотрѣлъ, ничего не думая, не соображая...

Передъ ужиномъ, когда игру кончили и всѣ прохаживались по залу, ко мнѣ подошли, т. е. просто остановились передо мной предводитель съ этимъ вотъ толстякомъ, который заговорилъ о дядѣ.

— Сережа, Скурлятовъ вѣдь тебѣ родня? спросилъ предводитель.

Я всталъ и подошелъ къ нему.

— Да, сказалъ я.

Онъ меня обнялъ и мы пошли втроемъ.

— Ты что спрашивалъ про живописца? Ты его развѣ знаешь? сказалъ онъ.

— Знаю. Онъ у насъ былъ, когда убѣжалъ отъ него. Я и раньше его видѣлъ, когда онъ только что пріѣхалъ.

— За что же дядя на него сердитъ?

— Я не знаю. Онъ его остригъ... хотѣлъ бить... Теперь онъ его замучаетъ...

— Хоть онъ и дядя вашъ, но онъ ужасный тиранъ, сказалъ толстякъ.—И вотъ за эдакихъ-то людей мы всѣ теперь должны страдать...

Я не понималъ, про какія это страданія онъ говоритъ. Подумалъ, взглянулъ на него и все-таки ничего не понялъ.

— А спасти его нельзя развѣ? спросилъ я.

Предводитель похлопалъ меня по плечу той же рукой, которой обнималъ, и сказалъ:

— Ну, теперь недолго. Больше страдали—теперь недолго.

„Страдали"... т. е. про кого же это онъ?.. „Кто же это страдаетъ?.." я подумалъ и сказалъ:

— Это вы про кого говорите?

— Про живописца... и про всѣхъ... Дядя твой дѣйствительно тиранъ. Его давно слѣдовало взять въ опеку...

— Такъ что онъ отъ него освободится?

— Всѣ освободятся, не онъ одинъ...

Когда я вернулся въ пансіонъ, я разсказалъ все Филиппу.

— Слышалъ-съ... Это ужь давно... На Рождество ихній, дяденькинъ, человѣкъ пріѣзжалъ сюда, я его встрѣтилъ, такъ онъ все разсказывалъ.

— Мучаетъ онъ его?

— Мучаетъ-съ... Издѣвается...

— Ну, теперь недолго...

— Это, сударь, еще Богъ знаетъ. Разно говорятъ. Пока взойдетъ солнышко, а роса выѣстъ глаза...

Пришла весна. Начались и кончились экзамены. Начали разъѣзжаться по деревнямъ. Прислали и за мной лошадей. Пріѣхалъ тотъ же кучеръ нашъ, Ермолай, и принесъ въ пансіонъ два письма — ко мнѣ съ совѣтами и наставленіями, какъ осторожнѣе ѣхать, и къ директору—объ отпускѣ меня.

— Выросли-то, батюшка, вы какъ? удивлялся онъ на меня.

Я его разспрашивалъ про домашнихъ, про родныхъ, про сосѣдей.

— А что съ живописцемъ?

— Поймали его. Во ржахъ поймали... на третій день-съ, какъ отъ насъ ушелъ... Становой ѣхалъ, видитъ во ржахъ человѣкъ прячется. Велѣлъ народу окружить— поймали: гдѣ паспортъ? Чей ты человѣкъ?.. Велѣлъ связать, да такъ связаннаго къ дяденькѣ и представили... Становому они за это сто рублей пожаловали и тройку лошадей подарили... Теперь сидитъ подъ карауломъ и картины расписываетъ... Заливаетъ ужъ больно шибко. Его накажутъ, а на другой день опять пуще прежняго напьется...

— Ну, теперь недолго...

— Богъ знаетъ-съ. Народъ и то что-то и у насъ болтаетъ, да всякому слуху развѣ можно вѣрить?

— Нѣтъ, Ермолай, это ужъ вѣрно...

— Да дай Господи. Отъ хорошихъ господъ и такъ никто не отойдетъ, а ужъ зато вотъ у худыхъ-то, по крайней мѣрѣ, народъ вздохнетъ...

Не больше я узналъ объ немъ и въ деревнѣ въ тотъ годъ.

— Пропащій, погибшій человѣкъ.

— Сопьется...

— Да ужь спился...

— Женятъ его, говорятъ... на дьячковской вдовѣ... Женится, тогда можетъ пить перестанетъ...

То же самое разсказывали и на слѣдующій годъ.

— Все пьетъ-съ.

— Все картины пишетъ...

Прошелъ еще годъ, — послѣдній крѣпостной годъ. Оставался и мнѣ всего одинъ годъ пробыть въ пансіонѣ. На святки въ этомъ году я пріѣзжалъ въ деревню. Помню, была страшная вьюга, морозъ, окна всѣ запушило, люди ходили съ обмороженными носами, щеками. Въ домѣ топили печки по два раза и все-таки было холодно. Птицы падали на лету... И вдругъ послѣ этого сразу сдѣлалось тепло; съ крыши начало капать—настала совсѣмъ весна...

До воли оставалось ужь близко, такъ близко, что никто и не думалъ...

Когда волю объявляли—мнѣ шелъ тогда шестнадцатый годъ—я былъ въ пансіонѣ. Я помню, это былъ очень теплый, солнечный, совсѣмъ ужь вешній день. Съ крышъ капало, на улицахъ лужи, грязь; вездѣ кучки народа, у всѣхъ возбужденныя лица и надо всѣмъ этимъ—чистое, безоблачное, синее весеннее небо...

Помню, я вышелъ, какъ былъ въ комнатѣ, даже безъ фуражки, на крыльцо—оно у насъ во дворъ выходило, но высокое, выше забора, такъ что можно было все видѣть на улицѣ — и долго стоялъ — все смотрѣлъ, какъ откуда-то всѣ ѣдутъ, спѣшатъ, всѣ въ мундирахъ, въ полной формѣ и такъ это все блеститъ на солнцѣ...

Пробираясь и прыгая съ подвернутыми панталонами черезъ лужи, безъ фуражки, весь запыхавшись, къ крыльцу спѣшилъ Петръ—Куриловскій дядька, маленькій,

заморенный, сѣдой старикашка, очень часто напивавшійся и буянившій. Онъ увидалъ меня, распустилъ улыбку, остановился и перевелъ духъ.

— Откуда это ты, Петръ?

— Изъ собора... сейчасъ... объявили... фу... и усталъ же—все бѣжалъ...

— Т. е. тотъ манифестъ?

— Да... вотъ онъ... вотъ!..

Онъ вынулъ изъ кармана сложенный разъ въ десять печатный листъ, показалъ мнѣ, еще нѣсколько разъ повторилъ: вотъ онъ... вотъ онъ... точно кто его хотѣлъ отнять у него и опять спряталъ.

— Знаю. Я читалъ... Радъ ты?

— Гм! Чудно!..

Онъ отеръ, ошмыгалъ ноги и мимо меня юркнулъ въ переднюю. Въ окно, выходившее на крыльцо, изъ нутри кто-то забарабанилъ. Я оглянулся. Оттуда мнѣ махали, что-то показывали руками. Я пошелъ.

— Директоръ. Онъ спрашивалъ тебя, разомъ сказали мнѣ нѣсколько товарищей.

— Гдѣ-же онъ?

— Тамъ, въ залѣ.

Я увидалъ его въ мундирѣ, съ орденами, въ рукахъ трехугольная шляпа.

— Это великій день. Великій!.. говорилъ онъ.—Отнынѣ рабство пало... Теперь всѣ равны...

Онъ говорилъ это передъ нами, но тутъ были и служителя-дядьки. Всѣ слушали его и молчали.

— Вотъ онъ... вотъ!.. раздалося вдругъ возлѣ меня. Я догадался и, улыбаясь, оглянулся. Это былъ все тотъ же Петръ; но я тутъ только замѣтилъ, что онъ выпивши.

— Даровалъ намъ, кормилецъ нашъ!.. даровалъ... довольно всякой муки примали... Ваше превосходительство! протискиваясь къ директору, говорилъ онъ тѣмъ хрип-

лымъ, разбитымъ голоскомъ, какимъ говорили обыкновенно тщедушные, забитые старики изъ дворовыхъ. Теперь такихъ тщедушныхъ, беззубыхъ, но до послѣдней минуты выбритыхъ и все бодрящихся стариковъ ужь нѣтъ больше...

Директоръ остановился, нѣсколько смущенный.

— Ваше превосходительство... я, ваше превосходительство, сегодня-же-съ ухожу... я больше не могу-съ...

Директоръ, конечно, догадался, что онъ пьянъ.

— Иди, иди, спи... послѣ поговоримъ, сказалъ онъ.

— Да нѣтъ-съ... вы можетъ... я не пьянъ...

— Хорошо... поди усни...

— Да нѣтъ-съ... куда я пойду...

Онъ вышелъ изъ терпѣнія:

— Пшелъ!.. Ну!.. Это что такое?.. Ты думаешь, волю вамъ дали, чтобы пьянствовать, грубить? Пшелъ!.. Я тебя такъ сейчасъ...

Петръ смотрѣлъ на него, ничего не понималъ, повертывалъ головой, какъ дѣлаютъ это утки, когда всматриваются...

— Вѣдь вотъ онъ... у меня есть... у меня есть... вотъ, сказалъ онъ вдругъ, вынулъ сверточекъ, показалъ и опять спряталъ.

Нѣсколько воспитанниковъ взяли его, обнимая, за плечи и отвели. А тамъ дальше увели его ужь дядьки... Директоръ проводилъ его глазами до двери и, обращаясь къ намъ, сказалъ: шестой и седьмой классъ пойдемте сюда, за мной.

Мы пошли за нимъ въ столовую.

— Ну, господа, разводя руками, оттопыривъ губы и поднявъ брови, началъ онъ и затворилъ двери...—Ну-съ... Стараго ужь не воротишь... Надо перемѣнить обращеніе... Могутъ иначе быть непріятности. „Они“, вы видите, что ужь затѣваютъ... На всякій случай, я сейчасъ

въ соборѣ говорилъ полиціймейстеру и онъ обѣщалъ, если что... Гм!.. Я имъ, Боже ихъ сохрани... я... и вслѣдъ затѣмъ злобное притворное ха, ха, ха... Онъ началъ говорить что-то о томъ, что волю дали необдуманно рано, что отъ этого могутъ быть бѣдствія... и потомъ опять: милость, дарованная государемъ императоромъ...

Онъ былъ противенъ. Эта угодливость, заискиванье передъ нами, напускная храбрость его... Такое чувство вызываютъ разсуждающіе о чести люди, которыхъ еще не уличили, но ужь сильно подозрѣваютъ; всѣ ихъ слушаютъ изъ деликатности, совѣстятся смотрѣть имъ въ глаза, но ужь никто имъ не вѣритъ...

Когда онъ уѣхалъ, мы разбились на кучки и говорили о событіи, но такъ, чтобы „маленькіе" не слыхали:

— Да что-жь можетъ быть? Чего онъ боится?..

— Мало ли что...

Но ничего не было. Прошелъ весь день, вечеръ, насъ повели спать... Прошелъ и слѣдующій день и еще прошло ихъ нѣсколько—все по старому, какъ было... И потянулись дни за днями... Подходила весна, подходили экзамены...

Разъ какъ-то я сидѣлъ одинъ на окнѣ и смотрѣлъ на улицу—всё ужь зеленѣло, распустилось—я задумался и не слышалъ, какъ кто-то подошелъ сзади.

— Сергѣй Николаевичъ...

Я даже вздрогнулъ. Оглянулся—Филиппъ.

— Что ты?

— Хочу я васъ просить... Намъ, дворовымъ, по „Положенію" земли не полагается... А если бы вы попросили папеньку... мнѣ клочекъ... такъ десятинку одну... къ дорогѣ...

— Ну, что-же?

— Я бы постоялый дворишко поставилъ... всякую мелочь держалъ бы—чай, сахаръ, деготь—деревенскій

товаръ... Если бы вы ихъ попросили.... за мою службу...

— Т. е. чтобы я написалъ?

— Нѣ-ѣ-тъ-съ. Какъ кончимъ здѣсь, пріѣдемъ домой—тогда...

Я, конечно, обѣщавъ, сказалъ, что онъ и безъ моей просьбы сдѣлаетъ ему это. Но мнѣ показалось какъ-то и страннымъ, и удивительнымъ это желаніе его обособиться, отойти, отдѣлиться...

— А развѣ ты у насъ не останешься? спросилъ я.

— Все равно-съ, я буду всегда къ вашимъ услугамъ, если что прикажутъ... съ шерстью если въ Москву... или такъ что...

„А все-таки отдѣляется... отдѣляется... не вдругъ, а все-таки отходитъ... хочетъ самъ по себѣ быть“... подумалъ я... И я долго потомъ все не могъ свыкнуться съ этой мыслью... Грустное какое-то будилось чувство...

Наши „окончательные“ экзамены затянулись что-то очень долго—былъ ужь конецъ іюня. За нѣсколько дней до конца ихъ пріѣхалъ отецъ и пришелъ въ пансіонъ.

— Ну, что, какъ у васъ тутъ идетъ? спрашивалъ онъ меня.

— Ничего, все хорошо, отвѣчалъ я.—Завтра послѣдній экзаменъ.

— Этого нечего бояться. Это намъ не опасный, сказалъ Филиппъ...

Онъ былъ тутъ же и сказалъ это пресерьезно. Мы съ отцомъ разсмѣялись.

— Ты почемъ же это, Филиппъ, знаешь?

— Да какъ же мнѣ не знать? Вотъ Львову это опасный экзаменъ, а вамъ нѣтъ... Я всѣхъ знаю...

Отецъ сталъ его объ чемъ-то разспрашивать—ужь о его собственныхъ дѣлахъ. Я вспомнилъ про его просьбу и сказалъ:

— Онъ проситъ—исполни пожалуйста — подари ему у большой дороги одну десятину земли—онъ хочетъ постоялый дворъ поставить.

— Кто? Филиппъ? удивился отецъ.

— Да-съ, отвѣчалъ Филиппъ...—Если милость ваша...

— Сдѣлай одолженіе... И дворъ тебѣ поставлю—снарядимъ все какъ слѣдуетъ...

Филиппъ былъ на верху блаженства, сіялъ, улыбался, говорилъ, что чтóбы ни приказали, куда бы ни послали—вѣчный слуга и проч...

Экзамены кончились. Филиппъ собралъ всѣ мои и свои пожитки... Я въ послѣдній разъ обошелъ комнаты, прощáясь съ ними; простился съ товарищами, со всѣми, кто оставался, и на другой день мы—отецъ, Филиппъ и я, уѣхали домой.

Мы ѣхали на своихъ — это очень длинная исторія. Отецъ дорогой разспрашивалъ насъ—мы съ Филиппомъ разсказывали. Разсказывалъ и онъ про деревню.

— Да, знаешь, сказалъ онъ.—Дядя Михаилъ Васильевичъ вѣдь при смерти... Я былъ у него съ „маменькой"... Богъ съ нимъ, умирающій.

— Отчего же это съ нимъ?

— Не перенесъ... „Это" на него такъ подѣйствовало. Все опасался, что его убьютъ. Изъ кабинета почти не выходилъ... Впрочемъ, что же это я, какъ о покойникѣ говорю?..

На другой день, когда мы подъѣзжали къ дому, матушка вышла насъ встрѣчать на крыльцо. Я выскочилъ изъ тарантаса, кинулся къ ней—глаза заплаканы. Я невольно остановился.

— Скончался дяденька... Михаилъ Васильевичъ... проговорила она, цѣлуя и обнимая меня.

— Когда? спросилъ отецъ.

— Сейчасъ только получила письмо... Посланны привезъ. Завтра надо туда ѣхать...

Мы прошли въ домъ. Въ комнатахъ попадались старухи-няньки и такъ, просто какія-то старухи, — у насъ много ихъ жило—поздравляли меня съ пріѣздомъ, говорили и слезлились: „дяденька-то, Михаилъ Васильевичъ"... Очевидно было, что до нашего пріѣзда извѣстіе о кончинѣ дяди было здѣсь событіемъ, отъ котораго онѣ не успѣли еще отдѣлаться...

Но нашъ пріѣздъ это событіе отодвинулъ, и если не заставилъ его совсѣмъ забыть—событіе было еще слишкомъ свѣжо и важно, — то ужь во всякомъ случаѣ все смѣшалъ, спуталъ и внесъ веселое настроеніе. И матушка, и ея штабъ, все еще всхлипывая, ужь улыбались сквозь слезы, разглядывали меня, спрашивали, кончилъ ли я, говорили: молодецъ и пр... Филиппъ Иванычъ вносилъ чемоданы, ему помогали домашніе. Матушка увидала его и сказала:

— Филиппъ, слышалъ, Михаилъ Васильевичъ-то?..

— Слышалъ-съ... Что-жь дѣлать, сударыня... Всѣ тамъ будемъ...

— Ну, а какъ вы-то поживали?..

— Ничего-съ. Слава Богу, кончили...

— Слава Богу... Спасибо тебѣ, Филиппъ... Вотъ все это, какъ Богъ дастъ, кончится, надо съ тобой будетъ поговорить...

Она намекала на то, что хочетъ сдѣлать что-нибудь для него, отблагодарить чѣмъ-нибудь и онъ это понялъ, кланялся, говорилъ, что онъ всегда и на будущее время... и проч...

Я былъ это первый разъ въ деревнѣ послѣ объявленія „воли". Я хотѣлъ увидать, замѣтить разницу, ну хоть какую-нибудь черточку противъ прежняго, какую-нибудь новизну, которая показала бы: „а вотъ этого не

было прежде“... Но въ домѣ все было по-прежнему: тѣ же лица, тѣ же отношенія...

Въ саду, у самаго балкона нашъ садовникъ Ефимъ поливалъ цвѣты и съ нимъ еще какой-то человѣкъ. Ефимъ увидалъ меня, обрадовался, снялъ шапку, началъ спрашивать о здоровьѣ, о томъ, какъ пріѣхали. Этотъ другой, который былъ съ нимъ, тоже снялъ шапку, поклонился и опять принялся за дѣло...

— А это кто? тихо спросилъ я Ефима.

— Это не нашъ-съ. Это изъ Алексѣевки...

Я почему-то съ любопытствомъ посмотрѣлъ на него. Онъ мнѣ показался какимъ-то особеннымъ... Это былъ первый „не нашъ“... И это было единственное новое, чего не было прежде...

Я обошелъ садъ, дворъ, конюшню—все по-прежнему, вездѣ попадались все тѣ-же лица...

— У васъ всѣ такъ и остались? спросилъ я за чаемъ.

— У насъ всѣ остались, сказала матушка. — Да куда-жь имъ идти? Вѣдь у всѣхъ свои есть... Т. е. у другихъ переходятъ съ мѣста на мѣсто — Ханыковскіе нанимаются къ Барановымъ, Барановскіе къ Ханыковымъ... А что-жь ты завтра въ Покровское поѣдешь? Вѣдь онъ васъ обоихъ — и Соню, и тебя—любилъ, добавила она.

— Поѣду. Отчего-жь?..

Мнѣ хотѣлось все, вездѣ, у всѣхъ увидать, какъ это измѣнилось, что, какъ...

Со смертью дяди, Покровское переходило теперь къ матушкѣ, единственной его наслѣдницѣ. Она ѣхала теперь и хоронить его, и вступать въ свои права, принимать имѣніе.

— И пожалуйста всю эту дворню ты сейчасъ же распусти. Ни на что она не нужна. Господь съ ними— пусть идутъ куда хотятъ и нанимаются. Народъ у него весь перегаженъ... сказалъ ей отецъ.

— Надо-же хоть до шести недѣль-то...

— Это сколько угодно. Только, чтобы они не разсчитывали остаться, чтобы они это знали... Вѣдь тамъ никого жить не будетъ, такъ зачѣмъ же держать дворню? Стариковъ и старухъ оставь—пусть доживаютъ, а эти—съ Богомъ...

— Да тамъ есть и молодые такіе, что хуже всякихъ старыхъ, сказала она.—Вотъ хоть бы этотъ несчастный живописецъ-то...

— Да? Ну, чтожъ онъ? живо спросилъ я.

Она грустно улыбнулась и покачала головой.

— Ты и не узнаешь его... Руки трясутся, вѣчно пьянъ, затѣваетъ драки... Намедни, когда я была, онъ ходилъ по двору, такъ я и не узнала его... ужасно...

Отецъ сталъ говорить, что онъ вовсе не въ томъ смыслѣ сказалъ о роспускѣ дворни, какъ она поняла; что онъ не только ничего не имѣетъ противъ содержанія такихъ несчастныхъ, но даже напротивъ, это обязательно должно быть сдѣлано; что онъ только противъ дальнѣйшаго содержанія всего штата и пр.

— Чтожъ онъ дѣлаетъ тамъ? опять спросилъ я.

— Ничего, кажется... Такъ, на кухнѣ... Да вотъ завтра ты его увидишь...

Подъ предлогомъ, что съ дороги и что завтра надо будетъ съ утра опять ѣхать, раньше обыкновеннаго велѣли подавать ужинъ. Поужинали и всѣ разошлись.

Я долженъ былъ въ августѣ ѣхать въ Петербургъ, въ университетъ. Я былъ полонъ силъ, надеждъ, гордой увѣренности, что мнѣ все по плечу... Я не боялся нужды, потому что я и понятія объ ней не имѣлъ и она не грозила мнѣ... Я тамъ сразу долженъ былъ попасть въ среду богатыхъ, сильныхъ людей — бывшихъ товарищей и сослуживцевъ отца... — Возьму я „его“ съ собой: неудалось ему тогда, ну,—теперь... Онъ опять поступитъ въ

академію... Здѣсь вѣдь онъ совсѣмъ пропадетъ. Окончательно сдѣлается пьяницей... Мы поѣдемъ съ нимъ... Да! рѣшилъ я...

Утромъ меня разбудили, когда ужь карета была подана и матушка съ Соней ужь были готовы. Онѣ все жалѣли меня и оттого не будили.

Мы поѣхали опять по той же дорогѣ, которую я описывалъ въ началѣ разсказа, когда ѣхалъ по ней еще мальчикомъ. Тотъ же лѣсъ, та же песчаная дорога, тотъ же глубокій оврагъ... Все знакомыя, хорошія мѣста, но ужь нѣтъ, при видѣ ихъ, ни радостнаго замиранія, ни неудержимаго желанія выйти изъ кареты и пройти лѣсомъ. Ахъ, какъ все это скоро проходитъ...

На серединѣ дороги мы перемѣнили лошадей и не останавливаясь поѣхали дальше. Часовъ въ 8 вечера мы ужь подъѣзжали къ Покровскому. У плотины кучеръ остановилъ лошадей и спросилъ:

— Изъ кареты не изволите выходить?

— А хороша плотина?

— Хороша-съ... ничего...

— Только, ради Бога, осторожнѣе, сказала матушка.

Наконецъ, колыхаясь изъ стороны въ сторону по мягкой, какъ перина, плотинѣ, карета проѣхала, — тронулась рысью, обогнула садъ, амбары, какія-то постройки и мы въѣхали въ широкій, просторный дворъ. Передъ конюшней стояло нѣсколько отпряженныхъ экипажей — очевидно были „гости"... На крыльцѣ насъ встрѣтила Фіона, вся заплаканная и, мнѣ показалось, страшно постарѣлая. Она кинулась ловить руку у матушки, чтобы поцѣловать ее, но та не дозволила и она поцѣловала ее въ плечо. Матушка тоже начала плакать. Соня не плакала, но шла съ постнымъ лицомъ. Такъ мы вступили въ залъ и невольно остановились. Посреди комнаты, на банкетномъ столѣ, съ подложенной подъ голову подуш-

кой, весь покрытый какой-то кисеей, лежалъ дядя. Нѣсколько человѣкъ „гостей“, т. е. пріѣхавшихъ на похороны сосѣдей, стояли тутъ же. Матушка опустилась на колѣни, начала креститься. Соня сдѣлала то же. Потомъ матушка подошла и посмотрѣла чрезъ кисею на дядино лицо; къ ней подошли сосѣди, тихо поздоровались. Всѣ говорили шопотомъ, вздыхали, покачивали головами. Въ комнатахъ было душно—для чего-то всѣ окна были закрыты. Потомъ всѣ перешли въ гостинную. Дверь на террасу была открыта и я прошелъ туда... Все по старому, какъ было тогда... Песчаная площадка... полукругъ сирени... за сиренью какія-то деревья, а тамъ дальше громадная, сплошная стѣна липъ, кленовъ... Вечеръ былъ тихій; солнце ужь почти сѣло, набѣгали сумерки. Я спустился внизъ по ступенькамъ и пошелъ по средней дорожкѣ. Тишина. Ни души кругомъ. Тамъ, на концѣ ея стояла скамеечка—я дошелъ до нея и сѣлъ... Я должно быть долго просидѣлъ. Я и теперь способенъ долго засидѣться, задумавшись, а тогда, въ молодости, это и еще чаще со мной бывало. Особенно при такихъ вотъ случаяхъ... За мной пришелъ „здѣшній“ человѣкъ, „не нашъ“, и сказалъ, что чай подали. Я всталъ. Онъ шелъ позади меня шагахъ въ двухъ.

— А что, гдѣ у васъ этотъ живописецъ? спросилъ я.

— Здѣсь-съ.

— Онъ гдѣ же теперь?

— На кухнѣ-съ, или у себя въ комнатѣ...

— Можно, стало быть, его видѣть?

— А вотъ позвольте, я узнаю-съ. Онъ кажется не годится-съ... выпивши. Онъ запиваетъ-съ...

— Узнайте пожалуйста и скажите мнѣ потомъ.

Чай подали въ угольной, гдѣ и прежде его всегда подавали. Туда всѣ и собрались. Разговоръ шелъ, разумѣется, все о похоронахъ. Вспомнили какія-то добродѣ-

тельные дядины поступки, какую-то необыкновенную его справедливость, еще что-то. Я никого не зналъ изъ его сосѣдей и сидѣлъ молча. Вскорѣ пришелъ лакей, котораго я посылалъ узнать о живописцѣ, и остановился въ дверяхъ. Я всталъ и подошелъ къ нему.

— Въ квартирѣ. Совсѣмъ пьянъ. Спитъ...

— Да?.. спитъ?..

— Добудиться невозможно. Ужъ мы его будили, будили...

„А все-таки я пойду его посмотрю“, подумалъ я. Спросилъ, гдѣ эта квартира, и мы пошли... Лакей должно быть думалъ, что это мнѣ забава, что я хочу посмотрѣть смѣшного человѣка и началъ разсказывать, какія штуки онъ выкидываетъ, когда напивается:

— И врать здоровъ. Какъ въ голову попадетъ, такъ сейчасъ про Петербургъ разсказывать, съ какими генералами онъ знакомъ, какъ ему ручку пожимали...

— Это онъ не вретъ. Это все правда, сказалъ я. — И теперь опять ему будутъ пожимать...

— Хорошо стало быть мастерство свое знаетъ... То же вотъ есть у насъ столяръ Андрей—золотыя руки, а запьетъ—и прощай. Покойникъ-баринъ тоже и съ нимъ чего-чего не дѣлалъ. Никакой строгости не боялся. Сегодня накажутъ, а завтра—опять. Такъ ужъ ихъ вмѣстѣ всегда и наказывали...

Мы прошли весь дворъ и остановились у крайняго деревяннаго флигеля, рядомъ съ конюшней. Изъ конюшни слышался смѣхъ, говоръ, вѣтерокъ доносилъ запахъ махорки. Собрались и болтаютъ значитъ свои и пріѣзжіе кучера...

— Вы извольте немножко здѣсь погодить, я впередъ пойду, можетъ добудимся, сказалъ лакей.

— О, нѣтъ, нѣтъ, не нужно. Ты меня только проводи, идти куда, покажи.

— А вотъ-съ... Пожалуйте. Это окошки-то у него.

Онъ дернулъ за ручку какую-то дверь; она отворилась, и я увидалъ маленькую темную комнату аршинъ шести въ квадратѣ, низенькую, слабо освѣщенную одной сальной свѣчей. Меня обдало затхлымъ, кислымъ воздухомъ... Прямо противъ двери у противуположной стѣны стояла огромная, высокая двухспальная деревянная кровать, съ ситцевымъ пологомъ. Она занимала полкомнаты. Какая-то женщина отошла отъ стѣны и, поправляя на груди шейный платокъ, поклонилась намъ.

— Иванъ Степанычъ спитъ?.. Вы его супруга? спросилъ я.

— Супруга-съ, отвѣчала она и уставилась на меня.

— Онъ у васъ немножко, кажется, закутилъ, я слышалъ?..

— Да-съ. И такое это Господь послалъ на него наказаніе... Все за гордость его...

Это была еще не старая женщина, но съ ужасно изможденнымъ, больнымъ лицомъ. Довольно красивые глаза смотрѣли страшно усталыми и точно молили о пощадѣ...

— Это все у него пройдетъ... бодро сказалъ я. — Опять примется за работу.

На кровати кто-то повернулся и тяжело вздохнулъ.

— Иванъ Степанычъ... Иванъ Степанычъ, сказала она.

Отвѣта не было. Я опять попросилъ не будить.

— Вы мнѣ его только покажите, сказалъ я.

Лакей торопливо взялъ со стола свѣчку и поднесъ къ кровати. Я увидалъ его... Онъ лежалъ совершенно одѣтый (въ какомъ-то сюртучкѣ) на „сдѣланной“ кровати, т. е. поверхъ одѣяла (изъ кусочковъ). Голова на темной ситцевой подушкѣ. Когда свѣтъ упалъ ему на лицо — я сдѣлалъ невольное движеніе испуга. Совсѣмъ мертвецъ.

Блѣдный, съ темными кругами подъ глазами, съ полуоткрытымъ ртомъ. Казалось, онъ даже не дышалъ...

— Иванъ Степанычъ... баринъ... опять позвала жена.

— Не будите-же, ну, я прошу васъ, сказалъ я.

И прямо, чтобы удостовѣриться, живъ ли ужь онъ, я взялъ его руку и поднялъ... Она была теплая, но совсѣмъ какъ плеть.

— Живъ, проговорилъ я.

— Это, что онъ блѣдный-то такой? — Это онъ за всегда, какъ выпьетъ... А потомъ пройдетъ... замѣтила жена.

Но все равно, онъ ужасно измѣнился. Я бы ни за что не узналъ его, если бы встрѣтилъ такъ, на улицѣ...

— Ужь вы, милый баринъ, насъ тогда въ имѣніе къ себѣ переведите отсюда... Тамъ на глазахъ-то онъ можетъ бросить пить... Все-таки остерегаться будетъ... начала она.

— Очень хорошо-съ... я скажу... Мы завтра много поговоримъ. Мнѣ много съ нимъ надо поговорить.

— Прикажете прислать его къ вамъ?

— Пожалуйста. Утромъ... пораньше, какъ проснется...

— Я попрощался съ ней за руку, сказалъ, чтобъ она была веселѣй, все устроится...

И я увидѣлъ оживленіе у нея въ глазахъ,—больную, но все-таки улыбку. Она засуетилась мнѣ свѣтить на порогѣ, вышла со свѣчкой въ сѣни...

— Темь-то какая, Господи... Это тучки — дождикъ будетъ пожалуй ночью... говорила она. Она сдѣлалась и разговорчивѣе...

Ночь была чудно хороша. Темная, глубокая. Собирались тучи. Въ воздухѣ пахло дождемъ. Съ поля доносился рѣзкій крикъ перепела... Въ домѣ виднѣлись еще огни.

— Барина-то завтра будутъ хоронить? спросилъ лакей.

— Кажется, завтра.

— А то бы Рафаэль живо съ нихъ портретъ списалъ.

„А что, и въ самомъ дѣлѣ, подумалъ я“... и сказалъ объ этомъ матушкѣ, какъ пришелъ въ домъ. Она обрадовалась.

— Да, да, да... Устрой-ка это. Займись-ка...

— Я велѣлъ разбудить меня завтра, какъ можно раньше, часовъ въ шесть, пять.

Меня такъ и разбудили. Утро было сѣренькое, облачное, накрапывалъ рѣдкій дождикъ. Я ужасно люблю такіе лѣтніе дни. И для охоты они хороши, хорошо и дома сидѣть, читать, заниматься. Открылъ окно — не жарко, воздухъ чудесный—сиди себѣ, читай, пиши... Они очень хороши и въ дорогѣ. Верхъ у тарантаса поднятъ, пыли нѣтъ, видишь, кругомъ все мокро. Колокольчикъ не звенитъ, а какъ-то беззвучно звякаетъ, картавитъ; лошади бѣгутъ дружно, ровно. Забейся въ уголъ, сиди себѣ, думай мечтай.

Я вышелъ на террасу. Чудный лѣсной воздухъ. Зелень чистая, темная, свѣжая. Цвѣты, кусты сирени, жимолости, ступеньки на террасѣ—все мокрое. Надъ головой, въ натянутую парусину, постукиваютъ дождевыя капельки. Я смотрѣлъ въ садъ и любовался имъ.

— Прикажете сюда чай подать? спросилъ лакей.

— Да, пожалуйста.

— Къ живописцу сейчасъ изволите выдти, или прикажете подождать?

— Развѣ ужь онъ пришелъ?.. Сюда проси... Гдѣ онъ?

— Въ передней-съ.

Въ передней было много своихъ и чужихъ лакеевъ; при моемъ входѣ, они всѣ встали, вытянулись въ рядъ. Они стояли къ тому же спиной къ окнамъ, такъ что я не сразу увидалъ между ними живописца.

— Здравствуйте, пойдемте сюда, сказалъ я, когда наконецъ нашелъ его глазами.

Онъ неловко и какъ-то стыдливо взялъ мою руку, совсѣмъ не пожалъ ее и, осторожно ступая своими толстыми сапогами, чтобы не стучать, пошелъ со мною. Надо было проходить черезъ залъ, гдѣ лежалъ покойникъ. Отойдя совсѣмъ ужъ на цыпочкахъ нѣсколько шаговъ отъ двери, онъ остановился, началъ креститься и потомъ въ поясъ почти поклонился. Я не видалъ выраженія его глазъ: онъ ихъ какъ-то держалъ все время опущенными, лицо скромно-серьезное... Мнѣ это очень понравилось. Мертвому все надо прощать—простилъ и онъ.

Когда мы проходили гостинную и, наконецъ, вышли на террасу, онъ все оглядывался по стѣнамъ, кругомъ.

— Что это вы все смотрите? спросилъ я.—Чай давайте пить.

— Смотрю-съ, припоминаю... Все такъ же...

— А вы развѣ „послѣ того“ ни разу не были здѣсь?

— Нѣтъ-съ. Какъ же можно-съ...

Онъ смотрѣлъ на меня съ застѣнчивой, тихой улыбкой; потомъ опустилъ глаза и началъ крутить бахромку чайной скатерти. Маленькіе, красные пальцы дрожали.

— Ну, Богъ съ нимъ. Прошлаго не воротишь. Начнемъ снова жизнь, сказалъ я.

Онъ вскинулъ на меня глаза и съ той же улыбкой сказалъ:

— Я ничего-съ. Конечно...

И замолчалъ. Я налилъ себѣ и ему стаканы чаю:

— Пожалуйста.

Онъ чуть не уронилъ стаканъ, до того у него тряслись руки.

— Вы успокойтесь, сказалъ я.

— Это ужъ... признаться если... вотъ когда если выпьшь наканунѣ...

А я думалъ это у него отъ волненія. Мнѣ сдѣлалось невыразимо грустно и жалко его. Значитъ, онъ ужь совсѣмъ погибъ... Какъ же онъ будетъ работать теперь?..

— Тогда вы какъ же?.. Я не договорилъ.

— Пишу?

— Да...

— Рюмку, или двѣ выпьешь и...

— Пройдетъ?

— Пройдетъ-съ.

„Предложить ему развѣ", подумалъ я... Очень только ужь рано. Но все-таки сказалъ:

— Вы не хотите-ли? Я сейчасъ велю...

Онъ медлилъ съ отвѣтомъ, потомъ сказалъ, чтобы я „не изволилъ" безпокоиться... Я вошелъ въ домъ, встрѣтилъ какого-то лакея и велѣлъ подать водки и закуски. Тамъ, должно быть, подумали, что это я буду пить и живо собрали и подали на огромномъ серебряномъ подносѣ нѣсколько сортовъ водки, сыру, масла, икры. Со всѣмъ этимъ лакей поставилъ подносъ на другой столикъ; подалъ и ушелъ.

— Пожалуйста, поподчивалъ я.

— А... вы-съ?

— Я не пью...

Я, дѣйствительно, тогда еще ничего не пилъ. Онъ стѣснялся, я взялъ его за руку и подвелъ къ столику. Я же и налилъ ему рюмку. Онъ очень ловко однако подхватилъ и выпилъ ее, ничего не проливъ. Потомъ выпилъ другую и третью. Я все поглядывалъ ему на руки — трясутся онѣ, или нѣтъ? Когда же опять перешелъ къ чайному столу, онъ самъ заговорилъ:

— Великая это пагуба человѣку—водка...

— Зачѣмъ-же вы тогда пьете ее... т. е. столько?

— Только ею ондой и спасался... Выпьешь и пере-

несешь... Безъ водки-съ не перенесъ бы... Вспомнишь все... и за водку...

— Теперь все ужь это прошло. Бросьте и водку...

— Прошло-съ. Все прошло... это дѣйствительно...

— Поѣдемте въ Петербургъ... началъ я.

Но онъ такъ удивлено и точно будто съ испугомъ посмотрѣлъ на меня.

— А что же? спросилъ я.

— Нѣ-ѣ-тъ-съ. Это все ужь кончено...

— То-есть?..

— Кончено-съ. Все кончено...

И онъ началъ часто, нескладно, путаясь, смѣясь не кстати, говорить, что онъ человѣкъ теперь совсѣмъ погибшій; говорилъ какими-то притчами, загадками.

— А какая примѣрно, по вашему, разница между человѣкомъ, твореніемъ Божіимъ, и и... ну, хоть деревомъ? спросилъ онъ.

Я смотрѣлъ на него и молчалъ. Онъ, немного повременивъ, продолжалъ:

— А вотъ-съ какая. И человѣкъ къ Богу стремится, и каждое дерево. Извольте посмотрѣть, куда они ростутъ?.. Къ небу... Къ Богу стремленіе имѣютъ... я ужь надъ этимъ много думалъ-съ...

„Господи, да неужели же онъ еще и съ ума сошелъ. Вотъ несчастный-то“... подумалъ я.

— Такъ то-съ... Это все надо понять. Я, конечно-съ... какое мое образованіе, а все-таки въ свое время людей видѣлъ-съ... И все это отлично понимаю-съ... И теперь вотъ, и тогда ваше обращеніе—все вѣдь это я помню... Ужъ одну еще позволите?..

Онъ посмотрѣлъ на столикъ съ закуской.

— Сдѣлайте одолженіе.

Онъ всталъ, подошелъ къ столику, взялъ графинчикъ съ водкой — руки ужь не тряслись — налилъ рюмку и

выпилъ ее, потомъ такъ же поспѣшно налилъ другую и опять выпилъ. Потомъ поставилъ графинчикъ, отломилъ крошечный кусочекъ хлѣба, обмакнулъ его въ солонку и, прожевавъ его, обернулся ко мнѣ.

— Все это вѣдь кажется такъ просто-съ. И траву какую-нибудь, примѣрно, хоть табакъ, — въ порошокъ можно растереть... А человѣка тоже развѣ нельзя? Э... э... какъ еще легко!

Онъ не садился, а ходилъ передо мною. Сдѣлаетъ шага три-четыре въ одну сторону, потомъ опять назадъ и все поглядываетъ на столикъ съ подносомъ. Я сталъ догадываться, что дѣло плохо пойдетъ и началъ придумывать, подъ какимъ бы предлогомъ велѣть убрать водку. Онъ все ходилъ и продолжалъ говорить притчами. Я ужъ и не думалъ начинать съ нимъ разговоръ о томъ, о чемъ хотѣлъ вчера и все время раньше, т. е. про академію, Петербургъ и т. д. Надо было отложить это до другого раза... можетъ быть даже и навсегда. Мнѣ ужъ и это стало приходить въ голову.

Въ домѣ между тѣмъ начиналось движеніе. Свои и гости просыпались.

— А у меня къ вамъ порученіе отъ матушки, сказалъ я.

— Какое-съ? удивился онъ.

— Не можете-ли вы ей нарисовать портретъ... дяди покойника?..

Онъ грустно покачалъ головой.

— Ничего нѣтъ вѣдь у меня... ни красокъ ни кистей...

— А карандашемъ?

— Это можно-съ.

— Если можете, пойдемте... Вѣдь его скоро выносить будутъ. Есть у васъ бумага, карандаши?

— Нѣтъ-съ.

Я пошелъ сказать, чтобы принесли все это и вспом-

нилъ, что какъ же это я оставлю его одного на балконѣ? Я поспѣшилъ вернуться. Онъ жевалъ. Очевидно, только что выпилъ...

— Ну пойдемте, сказалъ я.

— Развѣ еще одну? послѣднюю?..

Я промолчалъ.

— И довольно.

Онъ очень развязно, не дожидаясь моего приглашенія, налилъ рюмку, выпилъ ее, закусилъ кусочкомъ хлѣба и мы пошли въ залъ. Тамъ поставили ему близъ изголовья гроба столъ, положили на него какихъ-то большихъ толстыхъ книгъ, чтобы было можно рисовать стоя. Открыли лицо покойника. Я отошелъ.

Я пошелъ опять на террасу, велѣлъ убрать водку, закуску, чай. Потомъ пришелъ къ матушкѣ, которая тоже ужь встала и пила чай у себя въ комнатѣ. Разсказалъ ей про живописца, сказалъ ей, что онъ рисуетъ. Походили еще по комнатамъ, прошло съ полчаса, я вернулся въ залъ. Онъ стоялъ, облокотясь на книги, высоко положенныя на столѣ, подперъ голову руками и точно замеръ. Дьячекъ, который стоялъ у изголовья и читалъ псалтырь, дѣлалъ мнѣ какіе-то знаки глазами. Я подошелъ. Онъ не перемѣнилъ ни позы, ни отвелъ глазъ съ дядинаго лица. Уставился, какъ-то сжалъ глаза — пристально, лихорадочно-горящіе и почти не моргая смотрѣлъ на него. Я испугался, — какъ-бы еще не вышло чего.

— Иванъ Степанычъ, сказалъ я. — А Иванъ Степанычъ!

Онъ молчалъ. Тогда я коснулся его локтя и опять позвалъ его. Онъ встрепенулся, взглянувъ на меня широко раскрытыми глазами, выпрямился, потомъ, какъ бы придя въ себя, вдругъ закрылъ лицо руками, голова закачалась, затряслась и онъ пошатнулся. Я поддержалъ

его,—дьячекъ съ другой стороны. Такъ мы вывели его на террассу, посадили на стулъ, дали выпить воды. Онъ былъ блѣдный-блѣдный, какъ вчера.

— Я вамъ послѣ нарисую, проговорилъ онъ, замѣтивъ меня. Не могу теперь...

И вдругъ.

— Дайте мнѣ... Ради Бога... Или позвольте мнѣ уйти...

Онъ вскочилъ, быстро спустился съ балкона по ступенькамъ, держась за перилы, и пошелъ вдоль стѣны дома, шатаясь и упираясь въ нее рукой. Я проводилъ его глазами до угла. Онъ повернулъ за него и изчезъ.

— Что тутъ такое было? спросила меня матушка изъ гостиныхъ дверей.

Я разсказалъ ей.

— Не надо было ему водки давать... Экая досада...

Въ домѣ всѣ ужь были на ногахъ. Начались сборы, приготовленія къ выносу. Начали съѣзжаться еще сосѣди, знакомые. Началась толкотня, суетня. Я ушелъ въ садъ...

Послѣ похоронъ мы прожили въ Покровскомъ еще нѣсколько дней,—дня три, четыре. Матушка дѣлала какія-то распоряженія. Я цѣлый день проводилъ въ саду, уходилъ въ поле. Живописецъ два дня пропадалъ гдѣ-то. Жена его искала у себя въ деревнѣ, но нашла въ какомъ-то другомъ селѣ. Я заходилъ къ ней и она мнѣ обѣщала вытрезвить его, чтобы я могъ поговорить съ нимъ до отъѣзда. Но это такъ и не удалось... Бѣдная плакала, ловила меня за руки, хотѣла цѣловать ихъ, чтобы я взялъ ее съ мужемъ къ намъ. Я далъ ей слово устроить это во всякомъ случаѣ.

Прошло недѣли двѣ. Изъ Покровскаго то и дѣло пріѣзжали: то староста, то управляющій, то конюшій за разными приказаніями. Привозили оттуда разныя вещи,

не нужныя тамъ, такъ какъ никто тамъ не жилъ. Я всякій разъ спрашивалъ про живописца и получалъ все одинъ и тотъ же отвѣтъ: пьетъ-съ.

Между тѣмъ подходило время и моего отъѣзда въ Петербургъ. Пріемные экзамены въ университетѣ были тогда въ августѣ, такъ въ половинѣ, и я долженъ былъ поспѣть къ нимъ. До отъѣзда оставалось недѣли три. Надо было на что нибудь рѣшиться — покончить какъ нибудь съ живописцемъ. Я ужъ видѣлъ, что моя мечта ѣхать въ Петербургъ съ нимъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что я поступлю въ университетъ, а онъ снова въ академію— едва-ли осуществима. Мнѣ грустно было съ ней разстаться—такъ хороша, красива,—но очевидно надо было разстаться. И потомъ, что-же дѣлать съ его женой? Надо же вѣдь и ее устроить...

Однажды вечеромъ я заговорилъ объ этомъ съ отцомъ. Онъ выслушалъ меня и сказалъ:

— Дѣлай, какъ знаешь. Но по моему изъ этого ничего не выйдетъ. Пить онъ не броситъ. Онъ не можетъ бросить. Это ужъ болѣзнь теперь у него. Самое умное и самое доброе, что ты сдѣлаешь, это если будешь помогать его женѣ. Она будетъ его одѣвать, возиться съ нимъ, ходить за нимъ и, если у нея будутъ средства, ей будетъ легче это дѣлать—онъ будетъ хоть сытъ и одѣтъ по крайней мѣрѣ. Во всякомъ случаѣ, я думаю, онъ не долго проживетъ.

— Она просила и я обѣщалъ ей сюда его перевести, сказалъ я.

— Это напрасно. Впрочемъ, какъ хочешь.

— А гдѣ ему жить?

— Вотъ и это опять... Вотъ развѣ гдѣ — въ банѣ, знаешь, на той половинѣ.

У насъ была на берегу рѣки, возлѣ сада, шагахъ во сто отъ дома, чудесная липовая баня, а къ ней при-

строено было когда-то еще двѣ комнаты, въ которыхъ никто не жилъ и онѣ и зиму и лѣто стояли пустыя, на заперти. Мысль поселить ихъ тамъ мнѣ понравилась. Какъ разъ то, что и нужно ей, т. е. что онъ будетъ постоянно на виду и будетъ удерживаться. Въ это время у насъ былъ покровскій староста и завтра долженъ былъ ѣхать обратно.

— Такъ я скажу Семену, чтобы онъ ихъ прислалъ сюда.

— Сдѣлай одолженіе, отвѣчалъ отецъ... Да вотъ на той недѣлѣ привезутъ сюда экипажи изъ Покровскаго,— пусть съ ними и пріѣзжаетъ.

Я началъ благодарить его за согласіе, но онъ грустно усмѣхнулся и опять повторилъ, что онъ радъ это сдѣлать, но что изъ этого ничего не выйдетъ, — все дѣло его кончено.

— А можетъ?

— Дай Богъ...

Вскорѣ какъ-то я собрался на охоту и велѣлъ разбудить себя какъ можно раньше. Меня разбудили на зарѣ, гдѣ еще до солнца. Я наскоро умылся, одѣлся, взялъ ружье и пошелъ. Сейчасъ за деревней, по берегу рѣки, длинной полосой далеко тянутся заливные низы— самое дупелиное мѣсто: кочки, красная реповчана, низкая осока. Туда я и направился. Когда я подходилъ къ селу, оно ужь проснулось. Мужики, бабы торопливо выходили изъ дворовъ. Которые садились въ телѣги и ѣхали, которые такъ спѣшили въ поле. Было жнитво, самый разгаръ рабочей поры... На краю деревни, у моста ставили новый, чистый, сосновый срубъ. Нѣсколько десятковъ такихъ же чистыхъ, обтесанныхъ бревенъ лежало еще на землѣ; кругомъ — щепки, чурки, стружки. Слышался стукъ топоровъ. Когда я подошелъ ужь довольно близко, на встрѣчу ко мнѣ вышелъ Филиппъ

Иванычъ, „для ловкости“ подпоясанный кушакомъ поверхъ стараго, форменнаго своего „пансіонскаго“ сюртука съ ясными пуговицами, и сталъ просить меня зайти „откушать“ у него чайку...

— У меня и самоварчикъ тутъ стоитъ... на чистомъ воздухѣ...

Я зашелъ. Онъ мнѣ показывалъ и разсказывалъ, какъ онъ хочетъ устроиться, гдѣ у него будетъ лавочка устроена при дворѣ, какъ дворъ постоялый будетъ стоять... Столько плановъ, надеждъ, такъ увѣренно, бодро смотритъ впередъ...

— А хорошо быть вольнымъ, Филиппъ? спросилъ я его.

Онъ взглянулъ на меня, на мгновеніе задумался и очень дипломатично отвѣтилъ, что ему все равно хорошо было жить и по крѣпостному...

— Да?.. Ну, а если бы теперь предложить тебѣ опять ѣхать въ пансіонъ, какъ тогда со мной, и опять начинать все это съизнова? Вѣдь не согласился бы?

— Хочется своимъ домкомъ пожить, улыбаясь отвѣтилъ онъ и началъ разсыпаться въ благодарностяхъ и мнѣ, и отцу, который не забылъ его службы и подарилъ ему теперь и клочекъ земли, и лѣсу на постройку.—Теперь—на своихъ ногахъ—отъ самого зависитъ человѣкомъ стать... Теперь-съ одинъ только избалованный, который избаловался, въ люди не выйдетъ. Всякому предоставлено...

Я слушалъ его бодрую, увѣренную рѣчь; такой практичностью, трезвостью отзывалась она. Нельзя было и сомнѣваться, что онъ встанетъ на ноги... Я прежде даже и не подозрѣвалъ за нимъ такой энергіи и самостоятельности... И вдругъ онъ началъ вспоминать, какъ мы съ нимъ тогда пріѣхали въ пансіонъ. Потомъ эту сцену съ директоромъ, какъ я испугался, какъ со мной сдѣлался припадокъ...

— А ты этого развѣ не забылъ? спросилъ я.

— Сергѣй Николаевичъ—развѣ въ насъ ужь и души нѣтъ? Собака и та добро помнитъ...

— Это ужь все прошло, Филиппъ...

— Нѣтъ, сударь, не забуду я этого. Я вашъ слуга... Что хотите прикажите... И папенька съ маменькой, чтобы ни приказали... Имъ за ихъ доброту...

Я потолковалъ съ нимъ еще немного, выпилъ у него стаканъ чаю. Солнце начало вставать—пора было идти. Онъ проводилъ меня до моста, пожелалъ счастливой охоты и сказалъ, что ужо зайдетъ на барскій дворъ— зачѣмъ-то отецъ велѣлъ ему приходить.

Послѣ обѣда, въ этотъ же день, къ вечеру, такъ часовъ въ семь, всѣ мы, т. е. отецъ, матушка, я, сестра и гувернантка, собирались проѣхаться въ поле, куда-то— ужь не помню—на косьбу, на жнитво. Лошадей долго не подавали и мы всѣ, въ ожиданіи ихъ, вышли на крыльцо. Тутъ же стоялъ и пришедшій съ деревни Филиппъ Иванычъ и что-то говорилъ съ отцомъ. Въ это время на дорогѣ во дворъ показалось нѣсколько тарантасовъ, каретъ. Всѣ они были закрыты парусинными чехлами и запряжены въ одну, или въ двѣ лошади. Это везли экипажи изъ Покровскаго. Съ ними должны были привезти и живописца съ женой. Они въѣхали во дворъ и остановились у конюшни, передъ каретнымъ сараемъ. Мы всѣ пошли къ нимъ туда, смотрѣть ихъ. Изъ одного изъ тарантасовъ, покрытыхъ чехломъ, мы видѣли, какъ вышла женщина, потомъ вышелъ мужчина. Я издалека узналъ ихъ. Это были „они"... И у него, и у нея были въ рукахъ какіе-то темные узелочки. Вышли они изъ тарантаса и остановились. Когда мы подошли къ нимъ шаговъ на тридцать, она ему что-то сказала и онъ снялъ фуражку...

— Боже мой... такъ измѣниться... я не узналъ бы его, говорилъ отецъ, идя со мной рядомъ.—Ай, ай, ай..

Когда мы подошли къ нимъ и отецъ, и матушка очень ласково и просто поздоровались съ ними. Сказали, чтобы устроивались скорѣй; зачѣмъ нужно, чтобы прямо обращались и пр.

— Что это вы?.. Это что-жь такое? замѣтилъ ему отецъ, указывая головой на фуражку, которую онъ продолжалъ держать въ рукахъ. Онъ накрылся...

Онъ имѣлъ невыразимо жалкій видъ. Онъ чувствовалъ, что его изъ милости привезли, будутъ кормить, поить... Всѣ знаютъ, что онъ пьетъ, и теперь будутъ отучать его отъ этого... Стыдно и за нищету свою... сапоженки сбитые, сюртучишка старенькій, засаленный, въ пятнахъ, на шеѣ какой-то голубенькій женскій платочекъ, вмѣсто галстука. Ужасно щемящее чувство вызывалъ онъ... И она—робкая, заискивающая, благодарная—ужасное впечатлѣніе...

На подводѣ, которая сопровождала экипажи, было нагромождено ихъ имущество—деревянная двухспальная кровать, пуховикъ, какія-то полки, сундукъ, два или три стула.

— Ну, устраивайтесь, Богъ дастъ все уладитсь. Филиппъ, покажи имъ куда идти... Знаешь, пристройку къ банѣ? сказалъ отецъ.

Филиппъ Ивановичъ сейчасъ же, какъ бывалый и притомъ свой человѣкъ, началъ распоряжаться, сказалъ, чтобы они шли за нимъ, подводѣ съ кроватью велѣлъ тоже ѣхать за собой. Они тронулись. Я смотрѣлъ имъ во слѣдъ, думалъ и сравнивалъ ихъ. Оба ждали воли. Дождались. Этотъ бодро, увѣренно заводитъ себѣ гнѣздо,—говоритъ: „своимъ домкомъ хочется пожить“... Этотъ измученный, больной, нищій, нахлѣбникъ... Вотъ и воля... Бери ее...

Онъ умеръ въ тотъ же годъ. Осенью—такъ въ октябрѣ должно быть—я получилъ письмо изъ деревни и въ числѣ новостей писали и о его смерти...

СЛІЯНІЕ.

(комедія).

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Андрей Ивановичъ Пупыринъ, шестидесяти-трехъ лѣтъ; небольшого роста, въ парикѣ, одѣвается всегда въ самые нѣжные, свѣтлые цвѣта, бодрится.

Любовь Васильѣвна Пупырина, его жена, двадцати-двухъ лѣтъ, институтка, недурна собою; одѣвается хорошо,—безъ вычуровъ.

Павелъ Николаевичъ Гемороевъ, племянникъ Пупырина, воспитанникъ одного изъ нашихъ привилегированныхъ училищъ. Девятнадцати лѣтъ. Блѣдный, истощенный, говоритъ нехотя. Въ глазу стеклышко. Одѣтъ хорошо, но тоже просто.

Левъ Александровичъ Золотухинъ, товарищъ Гемороева по училищу. Двадцати-четырехъ лѣтъ. Пріѣхалъ, по окончаніи курса, къ себѣ въ имѣніе, ничего не дѣлаетъ. Дилеттантъ по музыкѣ и литературѣ. Очень недуренъ собою—блѣдный, съ черной русской бородкой. Одѣтъ въ желтую шелковую рубашку, черную бархатную поддевку и русскіе сапоги; въ глазу стеклышко. Говоритъ охотно и даже съ увлеченіемъ. Нѣсколько ужъ пообжился въ деревнѣ.

Сергѣй Петровичъ Сычуговъ, предводитель. Фигура полная, сытая, московская. Носитъ фуражку съ краснымъ околышемъ. Одѣтъ солидно; человѣкъ очень богатый; по зимамъ живетъ постоянно въ Москвѣ. Лѣтъ пятидесяти; съ бородой, клубистъ, оппозиціонный политикъ; помѣшанъ на парламентаризмѣ.

Анна Ниловна Сычугова, его жена. Дама очень полная, очень нервная, румянится; любитъ яркіе цвѣта.

Григорій Ивановичъ Недобѣжкинъ, помѣщикъ. Высокій, толстый, неуклюжій, коренастый, смотритъ изподлобья, коротко остриженъ. Лѣтъ сорока-пяти. Съ хорошимъ состояніемъ. Служилъ судьей, но на ре-

визіи былъ рѣшенъ губернаторомъ и съ тѣхъ поръ уже лѣтъ десять судится въ уголовной.

Хавронья Ивановна Недобѣжкина, его жена; отличная хозяйка; не понимаетъ, отчего у нея дѣтей нѣтъ.

Тюлюлюй Ивановичъ Соколиковъ, ея братъ, отставной подпоручикъ. Свое имѣніе все спустилъ и теперь живетъ у сестрина мужа. Красный, съ огромными рыжими висячими усами. Говоритъ во все горло. Гроза окрестныхъ сельскихъ базаровъ. Шулеръ.

Семёнъ Семеновичъ Пискаревъ, помѣщикъ изъ мелкихъ. Безъ жены и при женѣ—два совершенно разныхъ человѣка. Небольшого роста. Необыкновенно подвижной. Говоритъ безъ умолку и—то и дѣло—плюетъ на пальцы и пототъ приглаживаетъ ими височки. Лѣтъ сорока-пяти. Одѣтъ въ коричневый сюртукъ, голубой жилетъ и гороховые панталоны.

Капитолина Михайловна Пискарева, его жена. Дама неустрашимая.

Аполлонъ Семеновичъ Пискаревъ, ихъ сынъ. Служитъ въ канцеляріи предводителя. Пишетъ стихи въ губернскія вѣдомости и въ альбомы губернскихъ барышенъ. Малый окончательно извѣшался. Зашибаетъ и крѣпко.

Полина Семеновна, его сестра, 24 лѣтъ, высокая, худая, съ длинной таліей.

Василій Васильевичъ Шмелевъ, исправникъ. Лѣтъ сорока. Одѣтъ въ форму.

Староста.

Маша, хорошенькая крестьянская дѣвушка.

Гаша, бой-дѣвка.

Бабы, лакеи, мужики, сосѣди и проч.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Дѣйствіе происходитъ на огромномъ, выходящемъ въ садъ, балконѣ генеральскаго дома. Передъ балкономъ площадка, усыпанная краснымъ пескомъ. Дальше виднѣются сосны, липы, березы, дубы, дорожки, площадки, бесѣдки, скамейки и проч. На балконѣ накрытъ круглый столъ, на столѣ серебряный чайный сервизъ—самовара еще нѣтъ. Кругомъ нѣсколько покойныхъ креселъ. Изъ дома на балконъ ведутъ двѣ стеклянныя двери. 6 часовъ утра.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Пупыринъ и Гемороевъ.

Пупыринъ. Какъ ты однако тихо подъѣхалъ. Ты на почтовыхъ?

Гемороевъ. Да.

Пупыринъ. Я даже колокольчика не слыхалъ.

Гемороевъ. Терпѣть его не могу; я всегда велю его подвязывать. У меня всегда голова разболится отъ этого треска и звона!

Пупыринъ. Ты знаешь, это наше національное изобрѣтеніе. Колокольчики только въ Россіи и есть. Мы должны ихъ любить: это народность.

Гемороевъ. Ну, и любите, если вамъ пріятно, чтобъ въ головѣ былъ вѣчно звонъ, какъ у пьянаго. Я не понимаю этого наслажденія.

Пупыринъ. А у насъ здѣсь изъ колокольчиковъ цѣлая война была. Первый опытъ нашей самостоятельности!... Представь себѣ, нашъ исправникъ—этотъ дуракъ! запретилъ-было всѣмъ ѣздить съ колокольчиками. Это, говоритъ, право одной полиціи!

Гемороевъ. Чѣмъ же кончилась эта война?

Пупыринъ. Какъ чѣмъ? мы, земство, разумѣется, его сломали.

Геморoевъ. Дѣломъ же однако вы занимаетесь здѣсь.

Пупыринъ. Что-жь тутъ смѣшного?

Геморoевъ. Помилуйте!—вѣдь это водевиль. Земство и колокольчики! Это тоже только у насъ и можетъ быть.

Пупыринъ. Я не понимаю, что-жь ты нашелъ тутъ смѣшного? Нашъ президентъ...

Геморoевъ. Послушайте, они бываютъ у васъ?

Пупыринъ. Кто?

Геморoевъ. Авторы этого водевиля: вашъ президентъ съ исправникомъ?

Пупыринъ. Разумѣется. А что?

Геморoевъ. Интересно познакомиться. Это должно быть прелюбопытный народъ.

Пупыринъ (*звонитъ*). Я тебя не понимаю!

Геморoевъ. Что это?... Вѣдь запрещено?... вѣдь тоже колокольчикъ...

Пупыринъ. Да, вотъ этого только недостаетъ, чтобы ужь и это запретили! (*входитъ лакей*). Что-жь самоваръ?

Лакей. Сейчасъ-съ.

Пупыринъ. Шесть часовъ, и не даютъ самовара! Пожалуйста поскорѣй.

Геморoевъ. Вы всегда такъ рано встаете?

Пупыринъ. Лѣтомъ всегда. Я занимаюсь гимнастикой, а Люба ѣздитъ кататься верхомъ. И сама она охотница, да и докторъ ей велитъ... Что-жь ты о себѣ ничего не скажешь? Какъ твои дѣла?

Геморoевъ. Да какія же у меня дѣла?

Пупыринъ. Я тебя спрашиваю про экзамены.

Геморoевъ. А! ничего... сдалъ... (*вытягивается и зѣваетъ*).

Пупыринъ. И прекрасно. Родныхъ это какъ радуетъ. Просвѣщенье необходимо. Мы и то во всемъ отстали отъ западныхъ народовъ...

Геморoевъ (*пускаетъ струйку дыма изо рта*).— Тетушка ужь уѣхала кататься?

Пупыринъ. Едва-ли; нѣтъ, теперь она должно быть купается. Она сейчасъ придетъ сюда. Кататься ѣздитъ она послѣ чаю.

Геморoевъ. Хорошая рѣка у васъ?

Пупыринъ. Цна.

Геморoевъ (*зѣваетъ*). Однако я спать уйду послѣ чаю. Я всю ночь вѣдь ѣхалъ.

Пупыринъ. Весь флигель можешь занять... Да разскажи же что нибудь новенькаго.

Геморoевъ. Да что-жъ новенькаго?... ничего.

Пупыринъ. У князя Петра былъ передъ отъѣздомъ?

Геморoевъ. Извините, забылъ. Онъ вамъ кланяется.

Пупыринъ. Ну, что онъ?

Геморoевъ. Ничего. Что-жъ ему? Возится съ своей Бертой. Недавно еще другую какую-то досталъ—Луиза, кажется. Aus Riga.

Пупыринъ. Шалунъ!

Геморoевъ. И очищаютъ же онѣ его!

Пупыринъ. Неужели? Вѣдь онъ скупъ.

Геморoевъ. Такъ что-жъ что скупъ?—Вѣдь и дуракъ въ то же время.

Пупыринъ. Какъ ты выражаешься! Вопервыхъ, ты знаешь, кто онъ. И потомъ, онъ всегда можетъ тебѣ пригодиться. Такъ развѣ можно говорить о подобныхъ людяхъ?

Геморoевъ. Что-жъ изъ этого—все-таки дуракъ.

Пупыринъ. Это не глупость—это увлеченіе! Этого смѣшивать нельзя.

Геморoевъ. Въ восемьдесятъ почти лѣтъ-то? хорошо увлеченіе! Целый день человѣкъ только и дѣлаетъ, что шляется отъ одной камеліи къ другой, которыя его обираютъ, издѣваются надъ нимъ—и это увлеченье? Разумѣется дуракъ, круглый дуракъ!

Пупыринъ. Послушай, Паша,—со мной ты можешь говорить объ немъ какъ хочешь, но въ Петербургѣ я бы тебѣ совѣтовалъ быть осторожнѣе. Ты знаешь его связи? Черезъ него ты какую карьеру-то можешь сдѣлать!..

Гемороевъ. Это совсѣмъ другой вопросъ. Онъ меня даже любитъ. Разъ даже возилъ вотъ къ этой Луизѣ. Это было вскорѣ, какъ онъ ее досталъ. Онъ тогда все хвастался. Умора! Что она съ нимъ дѣлаетъ!..

Пупыринъ. А именно?

Гемороевъ. Ужасно что. На плечи къ нему вскакиваетъ. Этотъ паричишка стаскиваетъ. И что самое ужасное... А вѣдь это никакъ тетушка идетъ?

Пупыринъ. Она. Ты, Паша, послѣ разскажи же мнѣ объ этомъ.

Гемороевъ. Хорошо.

Пупыринъ. Шалунъ!

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Пупыринъ, Гемороевъ и Любовь Васильевна.

Люб. Васил. А вѣдь я только узнала, что вы пріѣхали.

Гемороевъ (*цѣлуетъ руку*).—Что это у васъ руки холодныя? Вы купались?

Люб. Васил. Да. Вода какая славная, холодная. Ну, чтожь-жь, какъ вы поживаете!

Гемороевъ. Ничего. Помаленьку. Вотъ къ вамъ пріѣхалъ.

Люб. Васил. Смотрите, не соскучьтесь.

Гемороевъ. Ну, тогда раньше въ Парижъ уѣду.

Люб. Васил. Какъ въ Парижъ?

Гемороевъ. Что-же тутъ удивительнаго? Я еще въ прошломъ году собирался туда.

Люб. Васил. На сколько же это вы къ намъ-то заѣхали.

Гемороевъ. Мм... ну, на недѣлю... на двѣ...

Пупыринъ. Какъ же это ты одинъ въ Парижъ поѣдешь?

Гемороевъ. Зачѣмъ же одинъ? Я со всѣми вмѣстѣ. Въ общемъ вагонѣ.

Пупыринъ. Я не въ этомъ смыслѣ тебѣ говорю. Какъ же, я тебя спрашиваю, ты поѣдешь одинъ, безъ родственниковъ?

Гемороевъ. Да что-жь, въ Парижъ развѣ одни старики ѣздятъ?

Пупыринъ. Что-жь ты будешь дѣлать въ Парижѣ?

Гемороевъ. Ровно ничего.

Пупыринъ. Не понимаю! Сестра знаетъ объ этомъ?

Гемороевъ. Чья сестра?

Пупыринъ. Чья! ну, разумѣется, моя—твоя мать.

Гемороевъ. А право не могу сказать — кажется знаетъ. Да что это васъ такъ смущаетъ?

Пупыринъ. Какъ что? Это очень мило!.. Я тебѣ говорю: это странно!

Гемороевъ. М...м... Тетушка! вамъ моя сигара не мѣшаетъ?

Люб. Васил. О, нѣтъ, нисколько. Я сама иногда курю.

Пупыринъ *(за руку притягиваетъ къ себѣ жену)*. Ты, кажется, опять волосъ не вытерла? *(сажаетъ ее къ себѣ на колѣни)*.

Люб. Васил. Скучно долго возиться.

Пупыринъ *(снимаетъ съ ея головы косынку)*. Это вредно. *(Гладитъ по головѣ)*. Совсѣмъ почти мокрая... Цыпка! *(цѣлуетъ ее въ шею; молча смотритъ, улыбается и пускаетъ вверхъ дымъ)*.

Люб. Васил. *(конфузится)*. Ну, да пусти пожалуй-

ста! Вонъ самоваръ несутъ. Да—пусти же А!.. *(вырывается).*

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тѣ же и лакей *(съ серебрянымъ самоваромъ).*

Люб. Васил. Что-жъ моя лошадь готова?

Лакей. Сейчасъ будетъ готова. Сѣдлаютъ.

Люб. Васил. *(начинаетъ разливать чай).* Пожалуйста, скажи чтобъ поскорѣй. Поль, вы не хотите ли меня проводить? Я вѣдь всего минутъ на двадцать.

Гемороевъ. Сегодня извините ради Бога—не могу: усталъ и спать что-то хочется.

Люб. Васил. Ну не нужно.

Гемороевъ. Завтра съ удовольствіемъ. Дядя говорилъ, что вы каждый день катаетесь верхомъ.

Люб. Васил. Нн... да...

Гемороевъ. Пожалуй, даже сегодня я къ вашимъ услугамъ, ужо, вечеромъ.

Люб. Вас. Утромъ еще лучше.

Пупыринъ. Да оставь же его въ покоѣ. Человѣкъ съ дороги. Всю ночь ѣхалъ. Ты думаешь, удивительное наслажденіе скакать съ тобою сломя голову.

Люб. Вас. Да я вовсе и не требую. Поль самъ предложилъ ѣхать ужо. Я не знаю, что ты все придираешься ко всѣмъ?..

Пупыринъ. Мнѣ хочется тебя посердить, цыпка! Ну, поди ко мнѣ, поцѣлуй.

Люб. Васил. Послѣ. Поль, вамъ дядя сказывалъ, что̀ у насъ готовится здѣсь?

Гемороевъ. Нѣтъ, ничего не знаю. Что такое?

Пупыринъ. Объ этомъ мы съ тобою сегодня вечеромъ поговоримъ.

Гемороевъ. Ахъ, это можетъ быть сюрпризъ кому

нибудь или секретъ! Въ такомъ случаѣ пожалуйста не посвящайте меня въ эти тайны. Я могу проболтаться и изъ этого выйдетъ какая нибудь глупая исторія.

Люб. Васил. О, нѣтъ, какой же это секретъ? это всѣ знаютъ.

Гемороевъ. Да въ чемъ-же дѣло?

Пупыринъ. Вотъ видишь... какъ бы это тебѣ объяснить... 4-го іюля я буду имянинникъ...

Гемороевъ. Знаю.

Пупыринъ. Ну, и вотъ видишь... Здѣсь, между помѣщиками и крестьянами, какъ бы тебѣ это сказать... развито страшное невѣжество... ужасное невѣжество! и потомъ, послѣ эмансипаціи, мы какъ-то разъединились... нами начинаютъ помыкать, мы скоро никакого значенія не будемъ имѣть. Вотъ эта исторія съ колокольчиками... ты смѣешься, а между тѣмъ вѣдь это серьезная вещь.

Гемороевъ. Положимъ. Дальше-съ.

Пупыринъ. Поэтому, намъ необходимо слиться съ народомъ. Это совершенно современно... Тогда мы будемъ въ состояніи, опираясь на народъ... ты понимаешь, что я говорю? *(показываетъ кулакъ)*. Вотъ тутъ сколько пальцевъ?

Гемороевъ. Это что за вопросъ?

Пупыринъ. Я могу объяснить это тебѣ нагляднѣе *(разжимаетъ кулакъ)*. Вотъ видишь, ихъ тутъ пять. Разъ... два... три...

Гемороевъ. Да я совершенно увѣренъ *(смѣется)*; въ чемъ дѣло-то?

Пупыринъ. Четыре... пять... Въ отдѣльности они слабы, но если ихъ сплотитъ въ одну сплошную массу *(сжимаетъ кулакъ)*.

Гемороевъ. Да какъ же вы это сдѣлаете?

Пупыринъ. А вотъ видишь, 4-го я имянинникъ. Я и избралъ этотъ день...

Геморoевъ. Ну-съ...

Пупыринъ. Ну, и только. Соберу сосѣдей, соберу мужиковъ.

Геморoевъ. Соберете, ну, а дальше что-жь?

Пупыринъ. Ну, и слить ихъ... сплотить!.. *(потрясаетъ кулакомъ).*

Геморoевъ. Въ одну сплошную массу?.. *(смѣется).* Чья же это мысль?

Пупыринъ. Моя. А что?

Геморoевъ. Такъ. Оригинальная мысль. Это ужь рѣшенное дѣло?

Пупыринъ *(серьезно).* Да... У меня, Паша, будетъ къ тебѣ маленькая просьба. Я хочу тебѣ поручить написать пригласительныя письма ко всѣмъ этимъ осламъ. Я тебѣ говорю: невѣжество ужасное. Они неспособны даже понять приблизительно что нибудь въ этомъ родѣ. И потому необходимо объяснить имъ, растолковать. Ты, пожалуйста, напиши черновую. Я тогда велю переписать...

Геморoевъ. Пожалуй. Только я все еще хорошо не пойму, въ чемъ дѣло.

Пупыринъ *(встаетъ).* Да это... дѣйствительно... это, если хочешь... я самъ объ этомъ долго думалъ. Погоди, я тебѣ сейчасъ принесу мои замѣтки...

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Любовь Васильевна и Геморoевъ.

Геморoевъ *(кладетъ сигару и тянется).* Ну-съ, Любовь Васильевна...

Люб. Васильевна *(оглядывается и обнимаетъ его).* Паша!.. *(цѣлуетъ)* голубчикъ!..

Геморoевъ. Тише... Тише...

Любовь Васильевна. Паша... душка!..

Гемороевъ. Ну, рада? Видишь — сдержалъ слово: пріѣхалъ?

Люб. Васильевна (*смотритъ и смѣется*). Какъ ты похудѣлъ, Паша... Ты боленъ былъ?..

Гемороевъ. Ничуть. Такъ, поистаскался...

Люб. Васильевна. Что за гадости!..

Гемороевъ. Что-жь тутъ гадкаго?

Люб. Васильевна. Да какъ же? (*расправляетъ волосы*).

Гемороевъ. Объ этомъ ты не можешь судить. Ты въ въ этомъ толку не знаешь...

Люб. Васильевна. И знать не хочу.

Гемороевъ. Впрочемъ, когда зимой пріѣдешь въ Петербургъ, я тебя просвѣщу. Тогда ты совсѣмъ другое заговоришь.

Любовь Васильевна. Ну, хорошо, хорошо, увидимъ... Ты вотъ мнѣ скажи что: ты серьезно ѣдешь въ Парижъ?

Гемороевъ. Да.

Любовь Васильевна. Паша (*обнимаетъ его*)!

Гемороевъ. Послушай, Люба, задушишь! Ну, что ты кричишь—чтобъ услыхали?—этого только не доставало.

Любовь Васильевна. И не грѣхъ это тебѣ? Паша!.. Вѣдь я полгода съ тобой не видалась. Ну, куда ты тащишься!..

Гемороевъ. Какъ куда?—въ Парижъ... Ну, да объ этомъ послѣ—вѣдь я не завтра же ѣду. Теперь вотъ что.

Любовь Васильевна. (*цалуетъ его и смѣется*).— Ну, вотъ спасибо. Такъ ты остаешься?

Гемороевъ. Ты слушай, что я говорю...

Любовь Васильевна. Слушаю, слушаю; что ты все сердишься?

Гемороевъ. Да какъ же не сердиться: помилуй, ма-

тушка! Кричишь, точно на сто верстъ кругомъ никого нѣтъ. Потомъ, сегодня же, въ первый день, чуть-чуть сцены не сдѣлала.

Любовь Васильевна. Когда?

Геморoевъ. Это очень мило: когда? — когда я тебѣ сказалъ, что не могу ѣхать кататься. А ты губы надуваешь. Ну, сообрази ты это: пріѣхалъ я къ старику-дядѣ, и сейчасъ же ѣду кататься съ его молоденькой женой. Вѣдь это только круглый дуракъ не догадается. Нѣтъ, ты, пожалуйста, будь осторожнѣе.

Любовь Васильевна *(смѣется)*. Ну, я не буду. Ну, не сердись только.

Геморoевъ. Садись, пожалуйста, онъ вѣдь сейчасъ придетъ.

Любовь Васильевна *(отходитъ и садится)*. Паша!

Геморoевъ. Ну!

Любовь Васильевна. Какъ же я рада тебѣ! *(приподнимается и оглядывается)*.

Геморoевъ. Не вставай, пожалуйста, я тебя прошу.

Любовь Васильевна. Ну, ты подойди ко мнѣ.

Геморoевъ *(смѣется)*. Да это развѣ не все равно будетъ?

Любовь Васильевна *(шопотомъ)*. Пашка... Пашка, мой хорошій.

Геморoевъ. Ты точно вотъ-вотъ сейчасъ выпущенная институтка... Послушай, скажи мнѣ, что онъ за чепуху такую несъ? что онъ хочетъ сдѣлать?

Любовь Васильевна. А, да ничего больше... Хочетъ онъ... вотъ видишь... И Сычуговъ тоже... Ну, хотятъ сблизить сословія... Ты понимаешь?

Геморoевъ. Чортъ знаетъ, что такое!..

Любовь Васильевна. Идетъ!..

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Тѣ же и Пупыринъ *(съ тетрадкой).*

Пупыринъ. Вотъ это мои завѣтки.

Гемороевъ *(перелистываетъ).* Да это цѣлая диссертація.

Пупыринъ. Не вся тетрадь. Вотъ только до этихъ поръ *(показываетъ)*, а то замѣтки о нигилистахъ.

Гемороевъ. Ну, это во всякомъ случаѣ... вѣдь не сейчасъ же?..

Пупыринъ. Разумѣется!

Гемороевъ *(кладетъ тетрадку).* А то я усталъ *(зѣваетъ, входитъ лакей).*

Лакей. Лошадь, ваше-ство, готова.

Любовь Васильевна. А! готова! сейчасъ *(встаетъ).*

Пупыринъ. Какую это осѣдлали? Горностая?

Лакей. Точно такъ-съ.

Пупыринъ. Ужь ты сломишь себѣ шею! Пожалуйста, возвращайся скорѣе, да не скачи такъ безумно. Просто души нѣтъ. Ну, помилуй Богъ, упадешь... Цыпка! поцѣлуй меня...

Любовь Васильевна. Послѣ! *(идетъ и въ дверяхъ сталкиваетса съ Золотухинымъ).*

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Тѣ же и Золотухинъ.

Любовь Васильевна. Ахъ! здравствуйте. Что это вы такъ рано?

Золотухинъ. Bon jour. А вы куда спѣшите? Вѣрно кататься?

Любовь Васильевна. Да. Я сейчасъ же назадъ, минутъ черезъ двадцать.

Золотухинъ *(къ Пупырину).* Bon jour. А я былъ сейчасъ у себя на хуторѣ—на этомъ, знаете, что возлѣ васъ,—вспомнилъ, что и вы рано встаете—и завернулъ на минуточку. Вы простите, что я такъ рано?..

Пупыринъ. Какъ вамъ не стыдно это говорить. Я всегда радъ. Чаю хотите?

Золотухинъ. Пожалуйста *(усаживается, вставляетъ въ глазъ стеклышко. Потомъ вдругъ вскакиваетъ).* Поль, кого я вижу! Ты какъ тутъ! Давно?..

Гемороевъ *(лѣниво поднимается).* А я вѣдь совсѣмъ бы тебя не узналъ, еслибы ты не заговорилъ. *(Обнимаются).*

Золотухинъ. Давно ты здѣсь? Вотъ встрѣча-то!

Гемороевъ. Только сейчасъ пріѣхалъ.

Пупыринъ. Я и не зналъ, что вы знакомы. Очень радъ.

Золотухинъ. Помилуйте! Товарищи. Ты къ кому же пріѣхалъ? Сюда собственно?

Гемороевъ. А вотъ къ дядѣ.

Золотухинъ. И на долго?

Гемороевъ. Н... н...ѣтъ, на недѣлю, на двѣ...

Золотухинъ. Ко мнѣ обѣдать сегодня, пожалуйста. Я вѣдь всего пять верстъ отсюда. Пожалуйста же.

Гемороевъ. Хорошо. Спасибо. Только сегодня едва ли: усталъ. Завтра.

Золотухинъ *(протягиваетъ руку).* Такъ это ужь вѣрно?

Гемороевъ. Вѣрно. Ну, что ты тутъ подѣлываешь?

Золотухинъ. Работаемъ! Въ навозѣ возимся! Землю пашемъ!

Гемороевъ. То-то ты въ этакомъ одѣяньи-то...

Золотухинъ. А! Еслибъ ты зналъ, какъ народъ это цѣнитъ. Какъ онъ на это смотритъ! Это необходимо... Ну, что наши?

Гемороевъ. Знаешь, это къ тебѣ идетъ. Серьезно.

Золотухинъ. Здѣсь, mon cher, не до того, что идетъ, что нейдетъ — некогда. Здѣсь польза и польза, работа, работа и работа! Ну, скажи же, что наши?

Гемороевъ. Да ничего, живутъ.

Золотухинъ. Все, значитъ, по старому?

Гемороевъ. Да.

Золотухинъ. А мы вотъ съ твоимъ дядюшкой хлопочемъ здѣсь. *(Къ Пупырину)* Вы говорили ему?

Пупыринъ. Какъ же. Я ему вотъ и замѣтки мои далъ прочитать.

Золотухинъ. А, знаю, читалъ. Ты прочти, Поль. Это, я тебѣ скажу!.. *(Входитъ лакей)*.

Лакей. Семь часовъ, ваше-ство.

Гемороевъ. Что такое?

Лакей. Семь часовъ-съ.

Гемороевъ. Что это значитъ?

Пупыринъ. Я въ это время всегда гимнастикой занимаюсь.

Золотухинъ. Ну, вотъ и прекрасно. Вы пойдете заниматься, а мы съ нимъ ко мнѣ поѣдемъ. У меня шарабанъ тутъ.

Пупыринъ. Куда? Нѣтъ, погодите. Сейчасъ Люба пріѣдетъ. Я вѣдь всего на полчаса. Сегодня у меня будутъ упражненія въ исполинскихъ шагахъ. Пожалуйста, подождите; онъ ужъ къ вамъ завтра.

Золотухинъ. Ну, хорошо. Извольте.

Пупыринъ. Пожалуйста же. Я вонъ тамъ буду. *(Указываетъ въ садъ)*. У меня тамъ все это устроено. *(Уходитъ)*.

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ же кромѣ Пупырина.

Гемороевъ. Послушай, Левъ... Что это вы здѣсь затѣваете? Онъ чортъ знаетъ, что мнѣ несъ.

Золотухинъ. А! это необходимо. Ты поддержи его въ этомъ. Изволишь видѣть, — дѣло вотъ въ чемъ. 4-го іюля—вѣроятно ты знаешь—онъ имянинникъ. Въ этотъ день онъ хочетъ собрать своихъ мужиковъ, пригласить сосѣдей. Будетъ общій столъ. И такимъ образомъ будетъ положено начало сближенію сословій — *сліянію*... Ну, да къ тому же, какъ хочешь, все-таки и развлеченье. Здѣсь вѣдь пропасть соберется. Нѣтъ, это можетъ выйти очень мило. Здѣсь есть, въ уѣздѣ, два, три очень... такихъ *(вертитъ пальцами)*... пикантныхъ личика. Они, разумѣется, будутъ.

Гемороевъ. Да! А я вѣдь думалъ, что это что нибудь серьезное затѣвается, демонстрація какая нибудь.

Золотухинъ. О, нѣтъ. Глупости... т. е. впрочемъ, отчасти, разумѣется, и демонстрація. Въ основаніи мысль дѣльная! Въ высшей степени... Ты знаешь положеніе дѣлъ? Знаешь, до чего здѣсь дошло?.. Мы теперь переживаемъ критическій моментъ! Мы рискуемъ утратить всякое значеніе. Намъ необходима почва—опора! Знаешь, какой здѣсь недавно случай былъ?

Гемороевъ. Это что, колокольчики-то?

Золотухинъ. Да! Ну, какова исторія? Ты ужь знаешь?!..

Гемороевъ. Послушай: вѣдь это глупо... это скандалъ! Связать земство съ колокольчиками—это вѣдь чортъ знаетъ что!..

Золотухинъ. Я совершенно съ тобою согласенъ...

Но ты проникни въ самую сущность; ты пойми первичныя причины! Вѣдь это что значитъ? Это значитъ: плевать я на васъ хочу! И кто же это дѣлаетъ?.. А потомъ вотъ эта опять исторія... съ Рыбниковымъ? ты не слыхалъ?

Гемороевъ. Нѣтъ, что такое?

Золотухинъ. О! это ужь оскорбленіе! Есть здѣсь нѣкто Рыбниковъ. Очень богатый человѣкъ, но оригиналъ,—въ высшей степени оригиналъ... И этакій, знаешь, англоманъ—пропасть странностей! Между прочимъ, если кто напомнитъ ему о долгѣ—онъ тому ни за что не заплатитъ раньше года. Ну, хоть что хочешь—не отдастъ да и баста! Говорю тебѣ, оригиналъ! Былъ онъ долженъ какому-то Подкопаеву, рыбному торговцу, руб. 500 за осетрину, за стерлядей и, разумѣется, въ свое время уплатилъ бы. Но нужно было этому дураку явиться къ Рыбникову. Тотъ, конечно, его прогналъ. Пошло дѣло... Ну, какъ бы ты думалъ, чѣмъ кончилось?..

Гемороевъ. Почемъ-же я знаю!

Золотухинъ. Пріѣхалъ исправникъ—Рыбникова въ это время не было дома—велѣлъ отворить каретный сарай... выдвинуть коляску—совершенно новенькая, съ мѣсяцъ какъ изъ Вѣны привезли—и тутъ же съ аукціона продалъ ее мѣщанамъ, за шестьсотъ руб.; 500 отдалъ Подкопаеву, а остальные, подъ росписку, сдалъ управляющему. Вѣдь вотъ до чего дошло!

Гемороевъ. То-то онъ мнѣ толковалъ о неуваженіи, что въ грошъ не чтутъ!..

Золотухинъ. Самъ видишь, что это за безобразіе: пріѣзжаетъ исправникъ — замѣть, какая наглость! — и распоряжается...

Гемороевъ. Послушай. Рыбниковъ, по моему, кругомъ виноватъ. Вѣдь мало-ли у насъ какихъ странностей можетъ быть...

Золотухинъ. Что-жь изъ этого? Ну, пріѣзжай къ нему

исправникъ разъ, два, три наконецъ, а то прислалъ какую-то повѣстку, и затѣмъ самъ ужь съ понятыми, съ мѣщанами... Въ лицѣ Рыбникова мы оскорблены всѣ. Это можетъ и съ тобой, и со мной случиться...

Гемороевъ. Да, ну вотъ въ этомъ смыслѣ...

Золотухинъ. Нѣтъ, ты поддержи дядюшку-то...

Гемороевъ. Да мнѣ чтожъ? Очень радъ.

Золотухинъ. Ахъ, какъ онъ тогда горячился... Вѣдь онъ объ этой исторіи къ князю Петру писалъ. Онъ однако страшно раздражителенъ у тебя... Ты знаешь... того... il est des rouges...

Гемороевъ. И знаешь причину?

Золотухинъ. Нѣтъ, что такое?

Гемороевъ. Это преуморительная исторія. Вѣдь ты, конечно, замѣтилъ—онъ страшно глупъ?

Золотухинъ. То есть... ну... гм... *(смѣется)*.

Гемороевъ. Ничего не „то есть", а просто дуракъ.

Золотухинъ. А все-таки онъ добрый старикъ; а потомъ твоя тетушка *(цалуетъ пальцы)*.

Гемороевъ. Да. Ну, да вѣдь это ужъ другой вопросъ. Только... слушай-же. Вѣдь онъ—ты слышалъ, можетъ быть—во времена оно былъ важная особа. И былъ онъ гдѣ-то на ревизіи. Его и пригласили присутствовать при отливкѣ соборнаго колокола. Ты знаешь, вѣдь въ это время, въ котелъ съ мѣдью бросаютъ серебряныя деньги, чтобъ колоколъ звучнѣе вышелъ, а онъ, съ дуру, возьми да и брось въ котелъ сторублевую ассигнацію.

Золотухинъ. Что ты? Помилуй. Вѣдь это...

Гемороевъ. Увѣряю тебя. Онъ страшно глупъ... Ну, когда огласилась эта исторія, его сейчасъ-же вонъ, разумѣется... Съ тѣхъ поръ онъ и въ оппозиціи.

Золотухинъ. Это однако ужасно... Да ты какъ къ нему попалъ сюда?

Гемороевъ. Очень просто. Я ѣду въ Парижъ... Моя

мать—его родная сестра; ну, она и пристала ко мнѣ, чтобъ я прежде къ нему заѣхалъ. Да это бы все вздоръ—я бы отвертѣлся... Я собственно... Левъ! не болтать смотри!..

Золотухинъ. Ну, вотъ, что за глупости.

Гемороевъ. Я къ Любѣ пріѣхалъ... Она славная дѣвчонка. Онъ съ нею въ прошломъ году въ Петербургѣ зимою былъ. Я тогда и сошеля. Она мнѣ до извѣстной степени нравится...

Золотухинъ. Да, такъ вотъ что!... А это видѣлъ? посмотри-ка! *(Указываетъ на бѣгающаго вдали Пупырина)*.

Гемороевъ. Ужасно. И все бодриться. Я воображаю, какое ей мученье жить съ нимъ. И онъ вѣдь эдакій сладенькій—все лѣзетъ цѣловаться... раздражаетъ ее... Вотъ и сейчасъ, при мнѣ, тоже.

Золотухинъ. Смотри, какъ бы онъ васъ...

Гемороевъ. Не его ума дѣло.

Золотухинъ. Ну, а какъ вдругъ да она...

Гемороевъ. Такъ что-жь? мужъ—и баста.

Золотухинъ. Ха, ха, ха... Это мило!

Гемороевъ. Она довольно ловко ведетъ себя. Я даже отъ нея этого не ожидалъ.

Золотухинъ. Вѣдь она очень неглупа.

Гемороевъ. Гм... не скажу. Мнѣ больше всего нравится въ ней эдакая свѣжесть какая-то... Въ Петербургѣ такого товару мало... и потомъ она удивительно наивна... что ни скажи—всему вѣритъ.

Золотухинъ. Институтка.

Гемороевъ. Институтки мнѣ нравятся... только надоѣдаютъ скоро... плаксы—вотъ что скверно... А эта наивность... дѣйствительно, пожалуй...

Золотухинъ. Это первое условіе. Женщина должна быть наивна. Должна вѣрить. Она должна быть даже немного суевѣрна... словомъ, она должна быть женщиной.

Гемороевъ. Нѣтъ, я вѣдь этихъ сладостей тоже не люблю. По моему она должна быть прежде всего тѣло. Въ этомъ случаѣ я совершенно согласенъ съ Базаровымъ.

Золотухинъ. А! нигилистъ! понимаемъ!

Гемороевъ. Нисколько. Ты меня совсѣмъ не понимаешь. Все, что теперь пишутъ эти... всѣ эти господа... о женскомъ трудѣ и объ этихъ работницахъ женщинахъ—это все вздоръ, чепуха. Они непослѣдовательны... Если женщина—тѣло, надо его беречь, а не изнурять работой.

Золотухинъ. Но вѣдь это трудъ во имя свободы.

Гемороевъ. Вздоръ. Свобода свободой. Я развѣ говорю объ угнетеніи? Я первый выпью за свободу женщинъ, но не за работу женщинъ.

Золотухинъ. Да вѣдь теперь все пишутъ, что въ работѣ свобода...

Гемороевъ. Вздоръ и это. Въ работѣ свобода! Софизмъ. Да самъ-то ты развѣ этого не можешь понять? Если въ работѣ свобода — въ чемъ же тогда неволя? Въ свободѣ? Зачѣмъ же эти господа такъ кричали объ освобожденіи крестьянъ? Логики нѣтъ. Если освободили мужиковъ, то ужъ конечно слѣдуетъ освободить женщинъ. По моему свобода въ свободѣ.

Золотухинъ. Это разумѣется... Но видишь, не помню, чья это статья... тамъ какъ-то выходило такъ, что вѣдь дѣйствительно... въ работѣ свобода... Можетъ, впрочемъ, это въ самомъ дѣлѣ софизмъ?

Гемороевъ. Ну, конечно. Да наконецъ и пора эта прошла... Теперь въ обществѣ на это уже стали иначе смотрѣть... поняли, что̀ это такое... поняли, къ чему это ведетъ *(тянется и зѣваетъ)*. А! чортъ!.. спать хочется... ты рано встаешь?..

Золотухинъ. По правдѣ сказать—очень рѣдко. Впрочемъ, эту ночь я тоже вѣдь не спалъ... Я твоему дя-

дюшкѣ совралъ, когда сказалъ, что ѣду съ хутора. Я у Рыбникова былъ.

Гемороевъ. Зачѣмъ же ты совралъ? Ему какое дѣло, гдѣ ты былъ?

Золотухинъ. Неловко. Сталъ бы разспрашивать, а тамъ нынче такая ночь была воробьиная. Э, жаль, что тебя не было!..

Гемороевъ. Да что̀ такое тамъ было?

Золотухинъ. Какъ это тебѣ объяснить?.. это—вечеръ на воздухѣ. Вышло великолѣпно. Все это онъ устроилъ въ саду, въ зелени... За рѣкой музыка. Всѣ эти красавицы... одного газа пошло до трехъ тысячъ аршинъ... Что-жь! Человѣкъ онъ—богатый, дѣтей у него нѣтъ, для кого-жь ему беречь? Жаль, что тебя не было... Вышло все очень мило... *(За кулисами слышится голосъ Любови Васильевны: „Завтракать несите, пожалуйста, поскорѣй“).*

ЯВЛЕНІЕ ОСЬМОЕ.

Тѣ же и Любовь Васильевна (въ сѣрой амазонкѣ).

Люб. Васил. Фу, какъ я устала! Жара какая... А вы все еще чай пьете? А Андрей Ивановичъ гдѣ-жь?

Гемороевъ. Не знаю. Онъ все тамъ *(указываетъ)*.

Люб. Васил. Это вѣрно опять исполинскіе шаги?

Золотухинъ. Да. Онъ такъ и намъ сказалъ.

Люб. Васил. Ужь я знаю *(снимаетъ шляпку и поправляетъ волосы)*. Ну, а вы что-жь тутъ дѣлали?

Золотухинъ. А мы все наговориться не можемъ. Вѣдь мы старинные пріятели, товарищи по училищу. Все старое вспоминаемъ.

Люб. Вас. Товарищи? А я и не знала!

Гемороевъ. Не вѣрьте, онъ все лжетъ. Мы не ста-

рину вспоминали, а онъ разсказывалъ, какъ онъ эту ночь провелъ.

Золотухинъ. Послушай, Поль! Что ты... вздоръ... перестань... ну, что это?

Гемороевъ. Что за глупости! отчего-жь не разсказать? Я же обѣщалъ ей посвятить ее во всѣ тайны жизни...

Люб. Васил. Ахъ, нѣтъ, Поль, ради Бога... Это опять какія нибудь сальности...

Гемороевъ. Какія тамъ сальности? — Это апоѳеоза классической жизни...

Люб. Васил. Поль, ради Бога!.. *(входитъ лакей съ закуской на подносъ)*. Послушай, принеси мнѣ воды...

Золотухинъ. Вонъ Андрей Ивановичъ *(генералъ опять начинаетъ бѣгать)*.

Люб. Васил. Ахъ, какой ужасъ! Какъ это ему не надоѣстъ?..

Гемороевъ. Супружескую жизнь любитъ—хочетъ силенки поддержать.

Люб. Васил. Позовите его пожалуйста. Крикните.

Золотухинъ. Какъ же кричать — онъ обидится!

Люб. Васил. Э, глупости... ну, вы, племянникъ!

Гемороевъ. Голосу, тетушка, нѣтъ...

Люб. Васил. А! какой вздоръ... Андрей Ивановичъ!!!..

Гемороевъ. Погромче, вѣдь онъ не слышитъ...

Люб. Васил. Да если я не могу громко?

Гемороевъ. Ну, въ такомъ случаѣ потише и басомъ...

Люб. Васил. Котораго у меня нѣтъ.

Гемороевъ. Ну, теноромъ, альтомъ—это все равно. Да, наконецъ, зачѣмъ онъ вамъ нуженъ? Пусть онъ себѣ бѣгаетъ да бѣгаетъ.

Люб. Васил. Что̀ это, Поль?! *(Кричитъ)*. Ку-ша-а-ть!... *(Голосъ срывается и она смѣется. Гемороевъ съ Золотухинымъ тоже хохочутъ и аплодируютъ)*.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Мѣсто дѣйствія тотъ же балконъ.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

У стола, въ креслахъ, сидитъ Гемороевъ и печатаетъ письма. Время отъ времени пускаетъ сигарный дымокъ и прихлебываетъ кофе изъ чашки. Тутъ же, возлѣ, сидитъ и Пупыринъ съ женою. Пупыринъ держитъ на рукахъ мотокъ красной шерсти, которую разматываетъ Любовь Васильевна. Гемороевъ въ изящномъ свѣтломъ пиджакѣ, Пупыринъ въ томъ же костюмѣ. Любовь Васильевна въ сѣромъ шолковомъ платьѣ, съ бѣленькими рукавчиками и воротничкомъ.

Люб. Васил. А! да держи же хорошенько!..

Пупыринъ. Цыпка! Да какъ же еще? Я не умѣю...

Люб. Васил. Такъ зачѣмъ же было браться?..

Пупыринъ. Да развѣ это такая ужь премудрость?

Люб. Васил. Стало быть премудрость...

Пупыринъ. Цыпка! Ну, за что же сердиться?.. Поцѣлуй меня...

Люб. Васил. Послѣ...

Пупыринъ. Я теперь хочу.

Люб. Васил. А я не хочу.

Пупыринъ. У, шалунья...

Люб. Васил. Да держите же хорошенько...

Пупыринъ. Поцѣлуй...

Люб. Васил. *(бросаетъ клубокъ и бѣжитъ)*. Господи, Господи!.. Чтó это за мученье!..

Пупыринъ. У, глупенькая. Ну, куда же ты, цыпка? *(Подбираетъ клубокъ и шерсть и бѣжитъ за ней)*.

Гемороевъ *(одинъ)*. Экой оселъ!.. *(Насвистываетъ folichons, и продолжаетъ печатать)*.

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Пупыринъ и Гемороевъ.

Пупыринъ *(входитъ и улыбается)*. Сердита... заперлась... не пускаетъ...

Гемороевъ. Ну, а шерсть-то вы какъ же ей отдали?

Пупыринъ. Черезъ горничную... Вотъ, Паша, я тебѣ скажу, амурчикъ-то!..

Гемороевъ. Кто, горничная-то?

Пупыринъ. Да, это, я тебѣ скажу... *(дѣлаетъ ручкой)*.

Гемороевъ. А вы ходокъ развѣ по этой части?

Пупыринъ. Я, Паша, по всѣмъ частямъ... Ты думалъ, что я старикъ, такъ ужь и...

Гемороевъ. Это, однако, надо тетушкѣ сообщить...

Пупыринъ. Что за глупости! Ты вѣдь, пожалуй, въ самомъ дѣлѣ... я такъ только...

Гемороевъ. Да я знаю, я шучу...

Пупыринъ. Что ты знаешь?.. Ты думаешь, что если кто ужь старикъ...

Гемороевъ. Послушайте. И часто-таки у васъ бываютъ подобныя сцены?

Пупыринъ. Какія ты глупости спрашиваешь? Это я не знаю, что̀ съ ней сдѣлалось!

Гемороевъ. Я вамъ, пожалуй, могу объяснить это. Тетушкѣ который годъ?

Пупыринъ. Двадцать-два будетъ семнадцатаго сентября.

Гемороевъ. А вамъ?

Пупыринъ. Это что за вопросъ?

Гемороевъ. Самый обыкновенный.

Пупыринъ. Мнѣ въ маѣ было шестьдесятъ-два.

Гемороевъ. И вы не понимаете, что̀ съ ней дѣлается?

Пупыринъ. Ахъ, перестань, пожалуйста. Поговоримъ лучше объ дѣлѣ... я хотѣлъ попросить тебя объ дѣлѣ.

Гемороевъ. Что такое?..

Пупыринъ. А вотъ что: нельзя ли будетъ тебѣ тогда, во время обѣда... понимаешь, послѣ жаркого что-ль... Ты вдругъ эдакъ встань и скажи что-нибудь? а?

Гемороевъ. Да что-жь сказать-то?

Пупыринъ. Ахъ, Боже мой, ну, мало ли что? Ну, что-нибудь. Ну, скажи отъ меня, что я всегда готовъ... что все, что̀ только отъ меня зависитъ... Понимаешь, что-нибудь въ этомъ родѣ.

Гемороевъ. А вы сами чтожь? мнѣ неловко: вы на лицо, а я буду отъ васъ говорить.

Пупыринъ. Ну, ты это отъ себя скажи, да и меня какъ-нибудь тоже сюда, понимаешь, а?..

Гемороевъ. Пожалуй.

Пупыринъ. Ну, и объ женщинахъ тоже что-нибудь скажи... Это ты ужь отъ нея *(указываетъ головой на дверь, въ которую ушла Люб. Вас.)*.

Гемороевъ. А объ женщинахъ что-жь?

Пупыринъ. Вѣдь ты же говоришь, что ихъ необходимо пригласить?

Гемороевъ. Такъ что-жь изъ этого?

Пупыринъ. Какъ что? Мало ли что? Скажи, напримѣръ: что̀ такое женщина?.. И въ самомъ дѣлѣ, отчего жь имъ и не дать правъ? Я говорю тебѣ—все это вѣдь надо будетъ растолковать, разъяснить, зачѣмъ онѣ попали сюда...

Гемороевъ. Пожалуй *(звонитъ)*.

Пупыринъ. Ты мнѣ сдѣлаешь этимъ большое удовольствіе...

Гемороевъ. Хорошо, извольте. *(Входитъ лакей)*. Ступай въ контору, и скажи тамъ, чтобъ всѣ эти письма сейчасъ же разослали по адресамъ. Да пошли кого-нибудь на деревню за старостой, чтобъ онъ сюда ко мнѣ сейчасъ же пришелъ...

Пупыринъ. Это что-жь, ты хочешь ему объ народѣ сказать?..

Гемороевъ. Да, надо это все заблаговременно. Скажу ему, чтобъ онъ сюда ихъ собралъ; я имъ самъ все растолкую.

Пупыринъ. Ты это хорошо придумалъ. Я тебѣ говорю: невѣжество страшное. *(Лакей появляется опять).*

Лакей. Сергѣй Петровичъ Сычуговъ.

Пупыринъ. Зови же *(оправляетъ парикъ и бодрится).* Это нашъ премьеръ. Образованный, совершенно современный человѣкъ. Либералъ... членъ англійскаго клуба. По зимамъ постоянно въ Москвѣ живетъ.

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тѣ же и Сычуговъ (въ рукахъ у него фуражка съ краснымъ околышемъ).

Сычуговъ. Здравствуйте!

Пупыринъ. А! Здравствуйте. Какъ же мнѣ сказали, что вы въ городѣ?..

Сычуговъ. Былъ. Я вчера только вернулся.

Пупыринъ. Какія тамъ новости?..

Сычуговъ. Новаго много. Губернатора ждутъ на ревизію... Ну, объ Шмелевой вы конечно ужь слышали?

Пупыринъ. Нѣтъ; что̀ такое?

Сычуговъ. Ахъ, это ужасная вещь! Представьте, вотъ уже второй разъ двойни родитъ. И замѣтьте, только два года замужемъ. Мужъ въ отчаяніи: конца не предвидитъ потомству.

Гемороевъ. Что̀ это за свинья?

Сычуговъ. Наша исправничиха.

Пупыринъ. Слышишь! Не женись, Паша. Не совѣтую. Ха, ха!

Геморoевъ. Отчего же? Я знаю и совершенно въ другомъ родѣ примѣры.

Пупыринъ. Если это намекъ на меня, то я тебѣ скажу, что у меня еще очень легко можетъ быть и сынъ, и дочь. Я всего еще только второй годъ женатъ.

Гемороевъ. Я увѣренъ, что очень можетъ быть.

Сычуговъ. Тогда, надѣюсь, я кумъ?... а?

Пупыринъ *(жметъ руку)*. Разумѣется.

Сычуговъ. Ха, ха, ха... Любовь Васильевна гдѣ жь? дома?

Пупыринъ. Она что-то не такъ здорова.

Сычуговъ. Что-жь, однако, съ ней?..

Пупыринъ. Такъ, пустяки. Голова что-то. Она сейчасъ все время съ нами тутъ сидѣла. Паша! мой другъ, позови ее, сдѣлай одолженіе. *(Гемороевъ уходитъ)*.

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Пупыринъ и Сычуговъ.

Сычуговъ. Кто этотъ молодой человѣкъ?

Пупыринъ. Мой племянникъ, Гемороевъ.

Сычуговъ. Познакомьте пожалуйста... Ну, а вы что разскажете? Что наше дѣло?

Пупыринъ. Идетъ. Готовимъ. Хлопотъ пропасть. Паша такое въ этомъ живое участіе принимаетъ.

Сычуговъ. Въ городъ, куда ни пріѣдешь, только объ этомъ и говорятъ.

Пупыринъ. Что-жь говорятъ?

Сычуговъ. Всѣ въ восторгѣ. Исключая, впрочемъ, Болотникова.

Пупыринъ. А онъ что?

Сычуговъ. Ну, говоритъ, что это шутовство, глу-

пость... Да на него что-жь смотрѣть? Вы вѣдь знаете, что такое Болотниковъ!

Пупыринъ. Я одного понять не могу, какъ могъ онъ попасть въ посредники! Можно ли терпѣть на службѣ подобныхъ людей? Это язва!

Сычуговъ. Если бы вы видѣли, что онъ на съѣздѣ дѣлаетъ?

Пупыринъ. Какъ же вы его терпите?

Сычуговъ. Да ничего съ нимъ не подѣлаешь—уменъ! остороженъ!

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Тѣ же и Гемороевъ.

Гемороевъ. Она платье примѣряетъ... придетъ.

Пупыринъ. Мой племянникъ, Павелъ Николаевичъ Гемороевъ... Нашъ предводитель, Сергѣй Петровичъ Сычуговъ.

Сычуговъ. Очень радъ. На долго въ наши края?

Гемороевъ. Не знаю... нѣтъ, я скоро долженъ ѣхать.

Сычуговъ. Вы прямо изъ Петербурга?

Гемороевъ. Да.

Сычуговъ. Что привезли оттуда новенькаго, хорошенькаго?

Гемороевъ. Да ничего особеннаго.

Сычуговъ. Такъ и должно быть! Теперь вся жизнь перешла изъ Москвы и Петербурга въ провинцію, въ деревню. Теперь *мы* работаемъ, теперь *за нами* очередь. Довольно мы лежали!.. Вы, конечно, ужь слышали о намѣреніяхъ вашего дядюшки?

Гемороевъ. Какъ же, онъ мнѣ говорилъ.

Сычуговъ. Блестящая мысль! Мы должны это сдѣлать. Мы должны показать, что и въ нашемъ далекомъ уголкѣ

вращаются тѣ же идеи... Разумѣется, еще многіе не съумѣютъ оцѣнить всей важности подобныхъ явленій, но, по крайней мѣрѣ, все лучшее, все, что называется *солью земли*, что всегда стояло въ челѣ... Даже, я вамъ скажу, ужь не далеко то время, когда... понимаете?.. когда... нашъ богатырь проснется! Онъ теперь потягивается... А чудный это будетъ моментъ!

Гемороевъ. Мм... да, конечно...

Пупыринъ. Торжественный моментъ! Необходимо! Я уже давно рѣшилъ. Я готовъ жертвовать.

Сычуговъ *(закуривая сигару)*. Знаете, я иногда, послѣ обѣда, сижу у себя на балконѣ, курю вотъ эдакъ сигару, гляжу, какъ обозы идутъ... или вотъ снопы везутъ... и думаю: „что еслибы этотъ народъ пробудить къ жизни, къ дѣятельности?“

Пупыринъ. Лѣнь. Ужасная лѣнь! Какая въ этомъ случаѣ разница между нашимъ мужикомъ и, напримѣръ, англійскимъ? Тотъ идетъ за плугомъ, и читаетъ „Таймсъ“!

Гемороевъ. Знаете что? Не вините ихъ такъ строго. Условія совершенно другія! Возьмите, напримѣръ, англійскаго лорда...

Сычуговъ. Разумѣется. У насъ людей не умѣютъ цѣнить. Я съ этимъ совершенно согласенъ.

Пупыринъ. Нѣтъ-съ, позвольте. Я развѣ ихъ осуждаю? Я говорю только, какая разница...

Гемороевъ. Повторяю вамъ: условія другія... Давно ли у насъ было рабство? Стало быть, мы должны ихъ поднять. Наконецъ, заставить подняться!

Сычуговъ. О!... въ этомъ я съ вами совершенно согласенъ. Я первый говорю: мы должны заявить о себѣ. Андрей Ивановичъ... мсье Гемороевъ совершенно посвященъ въ нашъ планъ, то-есть въ самую суть-то? Пружины-то знаетъ?

Пупыринъ. Ну, да... то-есть вотъ мы уже говорили...

Сычуговъ. Нѣтъ-съ, а въ самую суть-то? Такъ-сказать, въ первичныя-то причины?

Пупыринъ. Мм... Нѣтъ... Ты, Паша, вотъ что: ты, пожалуйста, вопервыхъ, будь серьезнѣй, въ тебѣ много этого *(вертитъ пальцами)* этого... увлеченія идеями современности.

Гемороевъ. Что такое вы хотите сказать?... Вы прямо говорите...

Пупыринъ. Я хочу, чтобъ ты меня лучше понялъ. Вотъ видишь, идеи бываютъ двухъ родовъ: либеральныя и консервативныя... По своему происхожденію, какъ потомокъ Рюрика, ты долженъ защищать идеи консервативныя.

Сычуговъ. Позвольте! Позвольте мнѣ это представить Павлу Николаевичу; я надъ этимъ много работалъ! Я, положа руку на сердце, могу сказать, безкорыстно служу въ этомъ случаѣ нашимъ интересамъ: какъ человѣкъ, въ жилахъ котораго течетъ кровь Рюрика, и, наконецъ, какъ удостоенный служить вотъ уже третій срокъ...

Пупыринъ. Паша! ты слушай. Это, я тебѣ скажу... отъ этого наша будущность зависитъ. Это—единственный выходъ.

Гемороевъ. Говорите, говорите: я слушаю.

Сычуговъ. Прежде всего позвольте васъ, Павелъ Николаевичъ, спросить: что такое представляемъ мы изъ себя въ настоящее время? *(Съ полминуты молчанія).* А за что? Что мы сдѣлали? За что?... Развѣ въ Англіи возможно что либо подобное? Почему? *(Все это Сычуговъ говоритъ важно, серьезно, съ длинными паузами).* Мы не противъ освобожденія мужиковъ... освободите ихъ, возьмите ихъ!.. Но наши интересы, наши права... За что?

Гемороевъ *(пускаетъ дымъ и стряхиваетъ пепелъ).* Мм... Я не знаю собственно, что же такое?.. Вотъ и дядя, и Золотухинъ мнѣ говорили...

Сычуговъ. Нѣтъ ни одной реформы, ни одного распоряженія, въ которомъ бы не старались, такъ-сказать, привести къ одному знаменателю. Какъ хотите, а это... это...

Гемороевъ. Прекрасно. Но я опять не понимаю, какъ же все это относится къ тому, что вы затѣваете—къ празднику-то? Я вѣдь, господа, ничего не знаю,—слышу все какіе-то намеки, но положительнаго ничего не добьюсь.

Сычуговъ. Вотъ-съ это-то мы и хотимъ вамъ объяснить. Въ этомъ-то все и заключается.

Пупыринъ. Ты, Паша, слушай. Тебѣ довѣряютъ...

Сычуговъ. Да-съ, это... объ этомъ... не слѣдуетъ такъ говорить; отъ этого все зависитъ. Наше несчастіе, что мы разрознены; собрать насъ нельзя, и потому намъ остается одно—показать, что народъ на нашей сторонѣ, что народъ за насъ!

Гемороевъ. Гм! Это ловко: хотите обмануть и тѣхъ, и другихъ...

Сычуговъ. Зачѣмъ же вы говорите *обмануть*? Показать—только.

Гемороевъ. Ну, да, показать не то, что есть.

Сычуговъ. Въ политикѣ, молодой человѣкъ, безъ этого нельзя.

Гемороевъ. Понимаемъ. То-есть вамъ желательно, чтобы все это потише, потому что если ужъ слишкомъ вскачь пойдетъ, такъ, чего добраго, и послѣднее уйдетъ на улучшеніе быта поповъ, мѣщанъ и т. д.

Пупыринъ. А развѣ нѣтъ? Именно такъ, именно!

Гемороевъ. Слаба шутка-то. Если повсемѣстно...

Сычуговъ. Погодите, не вдругъ; только вотъ чтò я вамъ скажу: есть у насъ нѣкто *господинъ* Болотниковъ...

Гемороевъ. Кто это Болотниковъ?

Сычуговъ. Здѣшній мировой посредникъ. Молодой еще человѣкъ, кандидатъ.

Гемороевъ. Чтó жь, нигилистъ, что ли?

Сычуговъ. Это язва!... Да, кстати, я и забылъ!... Впрочемъ, пожалуйста, чтобъ это между нами осталось... Вы слышали, разыскиваютъ какого-то господина; примѣты: черные, длинные волосы, маленькая бородка, худой, высокій—такой же точно вѣдь и Болотниковъ... Ну-съ, такъ вотъ кое-кто и подбиваетъ исправника арестовать его по ошибкѣ, по сходству примѣтъ. Выпустить его, конечно, придется,—но все же скандалъ... Да боится исправникъ-то, поддержки нѣтъ, какъ бы отвѣчать не пришлось...

Пупыринъ. А знаете, это—славная мысль! Я его поддержу. Я къ нему сегодня же напишу, чтобъ онъ на меня разсчитывалъ. Въ случаѣ чего особеннаго, князь Петръ выручитъ.

Сычуговъ. Въ такомъ случаѣ, онъ на все рискнетъ. Я, впрочемъ, и самъ обѣщалъ свою поддержку... А его надо, непремѣнно надо проучить! Это отрава, это язва!

Гемороевъ. Смотрите, господа, осторжнѣе.

Пупыринъ. Что жь можетъ выйдти? Чтò жь мнѣ можетъ сдѣлать какой-нибудь мальчишка? *(Входитъ лакей).*

Лакей. Староста пришелъ.

Гемороевъ. А, пришелъ! Ну, хорошо... Мм... Скажи, чтобъ онъ собралъ сюда сейчасъ какъ можно больше бабъ, дѣвокъ и мужиковъ, да поскорѣй.

Сычуговъ. Зачѣмъ это они вамъ?

Пупыринъ. Онъ хочетъ ихъ нѣсколько подготовить... Я съ вами хотѣлъ посовѣтоваться... Не знаю, хорошо ли мы сдѣлаемъ, если допустимъ къ празднику крестьянскихъ женщинъ... Паша находитъ, что это необходимо...

Сычуговъ. Великолѣпная вещь! Это совершенно со-

временно. Ничего! Это будетъ даже очень мило. Это придастъ празднику нѣкоторый поэтическій оттѣнокъ.

Гемороевъ. По моему, это необходимо...

Пупыринъ. Вѣдь если безпристрастно посмотрѣть, и въ самомъ дѣлѣ—что такое женщина? Вѣдь это такой же человѣкъ!..

Сычуговъ. Само собою разумѣется... Гм! Только знаете, вотъ что мнѣ кажется... я думаю, все-таки слѣдуетъ отобрать какихъ поприличнѣе... *(Смотритъ на часы)*. Однако, ужь скоро три часа, а моей Анны Ниловны еще нѣтъ...

Пупыринъ. А развѣ она будетъ?

Сычуговъ. Непремѣнно, мы вмѣстѣ выѣхали,—она хотѣла только къ Недобѣжкиной заѣхать на минуту. Жара, однако, какая! Фу!..

Пупыринъ. Купаться не хотите ли?

Сычуговъ. А вы?

Пупыринъ. Пожалуй, съ удовольствіемъ *(звонитъ; входитъ лакей)*: Купаться приготовь. Да скажи, чтобъ обѣдать собирали... Пойдемте же, Сергѣй Петровичъ. А ты, Паша?

Гемороевъ. Я не пойду. *(Тянется и зѣваетъ. Пупыринъ и Сычуговъ уходятъ въ садъ)*. Пойти развѣ къ Любѣ *(осматривается)*, съ ней повозиться! *(Начинаетъ насвистывать, встаетъ и хочетъ идти. Изъ дверей выходитъ Любовь Васильевна)*.

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Гемороевъ и Любовь Васильевна.

Гемороевъ. А я было къ тебѣ шелъ.

Люб. Васил. Гдѣ они?

Гемороевъ. Купаться ушли.

Люб. Вас. А ты что-жь?

Гемороевъ. Мнѣ нельзя,—могу простудиться.

Любовь Васильевна. Какъ? Теперь-то?

Гемороевъ. Да, теперь-то.

Любовь Васильевна *(подходитъ къ нему, откидываетъ пальцами назадъ его волосы, потомъ цѣлуетъ его въ лобъ)*. Какой ты, Паша, блѣдный. Ты боленъ?

Гемороевъ. Былъ. За то Андреасъ твой такой пухленькій, розовенькій... Какъ онъ дѣтей хочетъ имѣть! Онъ ужь и кумомъ заручился; Сычугова сейчасъ приглашалъ, если у него что родится...

Люб. Васил. Я его видѣть не могу! Онъ измучаетъ меня!

Гемороевъ. Очень онъ надоѣлъ тебѣ?... Нѣтъ, этотъ еще туда-сюда, а я бы тебѣ показалъ князя Петра, вотъ о которомъ онъ все толкуетъ-то. Это звѣрь полюбопытнѣе твоего. Вообрази себѣ: ростомъ еще меньше твоего Андреаса; голова, разумѣется, какъ колѣнка, голая; парикъ его съ кудряшками,—вся рожа въ угряхъ, и нижняя губа ужь не держится, отпадаетъ сама собою.

Люб. Вас. *(задумчиво)*. Нѣтъ, я не вынесу и года такихъ мученій... Разсказать нельзя всѣхъ его гадостей и подлостей! И это каждый божій день съ утра до вечера, съ вечера до утра... Господи!.. Господи!.. *(Плачетъ)*.

Гемороевъ. Послушай, Люба,—ты сама виновата.

Любовь Васильевна. Кто! Я? Я виновата?!..

Гемороевъ. Устроиться не умѣешь.

Люб. Васил. Какъ же это устроиться?

Гемороевъ. А очень просто.

Люб. Васил. Ничего нельзя сдѣлать... Я и плакала, и сердилась, и молилась... ничего!

Гемороевъ. Этимъ ты, говорю, не поможешь.

Любовь Васильевна. Что жь мнѣ дѣлать?

Гемороевъ. Я тебя научу. Золотухина знаешь?

Любовь Васильевна. Ну, знаю.

Гемороевъ. Сойдись съ нимъ.

Люб. Васильевна. Я съ нимъ хороша. Онъ бываетъ у насъ.

Гемороевъ. Ты меня не понимаешь. Я говорю: сойдись съ нимъ въ томъ смыслѣ, въ которомъ ты со мной сошлась...

Люб. Васильевна. Паша! Паша!.. что ты говоришь!

Гемороевъ. Извини. Я вѣдь этому пуризму не вѣрю.

Люб. Васил. Господи, Господи! *(Закрываетъ лицо руками и плачетъ).*

Гемороевъ. Кто-то идетъ... перестань... *(Любовь Васильевна отворачивается отъ дверей; входитъ лакей).*

Лакей. Анна Ниловна Сычугова.

Гемороевъ. Зови. Люба, оправься... Ну, довольно. Доказала, что любишь... волосы оправь. *(Любовь Васильевна оправляетъ волосы, и всхлипываетъ. Проходитъ съ полминуты молчанія).*

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тѣ же и Анна Ниловна *(въ золотистомъ шелковомъ платьѣ).*

Анна Ниловна. Ахъ, чтò это за жара! Здравствуйте. Bonjour... и представьте, я ѣхала въ открытой коляскѣ! Я сейчасъ два стакана воды у васъ выпила.

Люб. Васил. Да, жарко... Вы незнакомы? Это племянникъ Андрея Иваныча, Павелъ Николаевичъ Гемороевъ.

Анна Нил. Очень рада *(рукопожатіе);* мнѣ объ васъ вчера, знаете, кто говорилъ? Ну, какъ вы думаете?.. Ну, отгадайте!..

Гемороевъ. Я этого не могу знать.

Анна Нил. Нѣтъ, вы его знаете. Отгадайте.

Гемороевъ. Да зачѣмъ вамъ это непремѣнно нужно? Ну, кто-жь, Золотухинъ, что ли?

Анна Нил. Да! Ахъ, что это за чудный, что это за дивный молодой человѣкъ! Я всегда ему рада! Какъ онъ поетъ!..

Гемороевъ. Кто поетъ? Золотухинъ? Это для меня новость; я помню, прежде онъ только и умѣлъ—чижа да mon père est à Paris.

Анна Нил. Ахъ нѣтъ, что вы? У него какой голосъ. *(Къ Люб.Васил.)* А гдѣ же наши благовѣрные?

Люб. Васил. Купаться ушли.

Анна Нил. *(къ Гемороеву)*. Ахъ, чтò за жара! Я къ вамъ съ просьбой.

Гемороевъ. Что прикажете?

Анна Нил. Велите мнѣ дать стаканъ воды холодной, самой холодной, со льдомъ...

Гемороевъ *(звонитъ)*. Хорошо-съ.

Анна Нил. Merci. *(Къ Люб. Васил.)*. А у Зины опять эти зубы... Ахъ, какъ это мучаетъ ее! Всѣ средства мы испытали съ ней. Теперь ужь вотъ что хотимъ сдѣлать. Здѣсь есть гдѣ-то, говорятъ, старуха черничка, которая хорошо заговариваетъ зубы... Я ужь за ней послала... *(Гемороевъ улыбается)*. Вы смѣетесь? Я, разумѣется, и сама этому не вѣрю, но согласитесь—въ природѣ есть что-то такое...

Гемороевъ *(входитъ лакей)*. Конечно-съ, мало-ли чего въ природѣ нѣтъ. *(Лакею)*. Воды подай.

Анна Нил. Знаете, такое необъяснимое.

Гемороевъ. Да-съ, много необъяснимаго.

Анна Нил. Нѣтъ, не смѣйтесь. Не вѣрить этому можно—я сама не вѣрю, но отвергать... *(лакей подаетъ воду)*. А я *(обращается къ Люб. Васил.)* эти дни все хлопочу. Мнѣ хочется къ 4-му сдѣлать для моей Зи-

наиды Сергѣевны русскій костюмъ, т. е. не то чтобъ сарафанъ, а понимаете, въ русскомъ стилѣ. Надо было достать янтарей. Вѣдь здѣсь, въ глуши, порядочнаго ничего не найдешь. Я ужь насилу выпросила у моего Сергѣя Петровича протоколиста опеки, чтобъ послать его въ нашъ губернскій городъ...

Люб. Васил. Ну, что-жь, достали?

Анна Нил. Досталъ. Сергѣй Петровичъ ему пригрозилъ—сказалъ, чтобъ безъ янтарей и являться не смѣлъ... Съ ними вѣдь нельзя иначе...

Люб. Васил. И хорошіе янтари?

Анна Нил. Не скажу... все же лучше коралловъ. Зина хотѣла кораллы надѣть — у нея, вы знаете, вѣдь великолѣпные, дивные кораллы; но я ей говорю: Зина, кораллы вѣдь не русское произведеніе, а такъ какъ это будетъ праздникъ совершенно русскій, народный, такъ какъ-то и неловко... Такъ мы и рѣшили послать за янтарями... Ну, а что-жь праздникъ-то? готовится?

Люб. Васил. Да, понемножку. Вензель, фонари — все это ужь сдѣлали... Сегодня соберутъ мужиковъ и Поль растолкуетъ имъ все это... подготовитъ, отберетъ какихъ поприличнѣе...

Анна Нил. Ахъ, это необходимо!

Люб. Васил. У насъ на праздникѣ будутъ также вѣдь и крестьянскія женщины. Это вотъ Поль настоялъ. Онъ находитъ, что это необходимо, чтобъ поднять ихъ въ глазахъ ихъ мужей, братьевъ.

Анна Нил. Ахъ, какъ это мило! Бѣдныя женщины!— наконецъ-то и вамъ даютъ права.

Геморроевъ. Но вѣдь это такъ естественно... такъ законно...

Анна Нил. Да, но гдѣ вы найдете здѣсь, въ глуши, это равенство? Бѣдныя, бѣдныя женщины! Ахъ, я благодарю васъ за женщинъ, что вы ихъ вводите въ жизнь...

даете права... Зина моя не можетъ глядѣть безъ ужаса на этихъ бѣдныхъ женщинъ!.. *(Съ четверть минуты молчаніе)*. А я попрошу васъ еще разъ позвонить *(Гемороевъ улыбается и звонитъ)*.

Анна Нил. Вамъ даже смѣшно, что я такъ часто пью?

Гемороевъ. Мнѣ кажется, это даже вредно... *(входитъ лакей)*. Еще подай воды. Постой! Вы не хотите ли квасу?

Анна Нил. Ахъ, если можно! Я такъ люблю квасъ! это нашъ русскій, народный напитокъ!

Гемороевъ. Квасу подай. И вѣроятно, вы боитесь грому?

Анна Нил. Да. Ужасно! А вы почемъ это знаете?

Гемороевъ. Какъ же этого не знать?

Анна Нил. Скажите же.

Гемороевъ. Вамъ это непремѣнно хочется знать?

Анна Нил. Непремѣнно, я отъ васъ не отстану.

Гемороевъ. Потому, что всѣ московскія дамы любятъ квасъ и боятся грому! *(Входитъ лакей)*.

Лакей. Кушать готово-съ.

Люб. Васил. А Андрея Иваныча звали?

Лакей. Они ужь дожидаются. *(Къ Гемороеву)*. Мужики собрались у крыльца—прикажете имъ подождать?

Гемороевъ. Зачѣмъ ждать? Не нужно. Пошли ихъ сюда, къ балкону. Тетушка, вы меня отъ супа увольте—я все равно его никогда не ѣмъ. Я сейчасъ къ вамъ приду. Мнѣ всего нѣсколько словъ.

Люб. Васил. Пойдемте *(уходятъ)*.

ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Гемороевъ, мужики, бабы и дѣвки. *(Мужики начинаютъ сходиться къ балкону и снимаютъ шапки. Гемороевъ сидитъ, какъ будто не замѣчаетъ ихъ. Потомъ вдругъ встаетъ, опирается на перила и начинаетъ говорить).*

Гемороевъ. Здравствуйте! Что васъ такъ мало?

Староста. Въ полѣ всѣ—на работѣ.

Гемороевъ. Шапки, шапки пожалуйста надѣвайте. Что это за гнусная привычка!

Староста. Ничего-съ. Мы и такъ постоимъ. Нынче тепло.

Гемороевъ. Не въ простудѣ дѣло, мой другъ. Здѣсь принципъ скверенъ. Это выражаетъ высшую степень униженія. Надѣвайте, надѣвайте! *(мужики надѣваютъ шапки).* М... м... я пригласилъ васъ вотъ зачѣмъ. 4-го іюля мой дядя, а вашъ помѣщикъ, будетъ имянинникъ. Онъ хочетъ въ этотъ день устроить праздникъ.

Староста. Такъ-съ.

Гемороевъ. Но только это будетъ праздникъ совсѣмъ не такой, какъ обыкновенные ваши праздники, когда все удовольствіе измѣряется количествомъ выпитой водки. Дядя имѣетъ здѣсь другую, высшую цѣль: онъ хочетъ познакомить васъ, такъ сказать, слить съ другой средой, которая выше, образованнѣе васъ...

Староста. Такъ-съ.

Гемороевъ. Это оказывается для васъ совершенно необходимымъ, хотя, разумѣется, сами вы этого и не можете сознавать. Между вами распространено такое невѣжество, такая грубость.

Староста. Кх! мм...

Гемороевъ. Повторяю, грубость и невѣжество достигли въ вашихъ взаимныхъ отношеніяхъ тѣхъ предѣ-

ловъ, дальше которыхъ ихъ развитіе не должно быть терпимо.

Староста *(снимаетъ шапку)*. Кх! мы, батюшка, вашей милости не грубили. Развѣ, можетъ, такъ, по глупости какой... это точно можетъ...

Гемороевъ. Шапки, шапки надѣвайте! Вы меня не понимаете. Я говорю о грубости, свойственной вообще неразвитой массѣ.

Староста. Мы вашей милости, т. е. на счетъ грубости какой—ни Боже мой. Потому мы законъ держимъ. Пускай ужь лучше гдѣ наше пропадаетъ. А чтобъ бунтовать—ни-ни! *(чешетъ затылокъ)*.

Гемороевъ. Да ты слушай, что я говорю. Для того, чтобъ вы могли лучше понять и усвоить все то, что уже давно выработали другіе, вамъ предлагается не мертвая и сухая доктрина, а живой принципъ... Сліяніе съ людьми, стоящими въ челѣ русской мысли и прогресса, неоспоримо, принесетъ обильные и сочные плоды для васъ, а еще болѣе для того поколѣнія, которое обязано вамъ жизнію... Въ этихъ видахъ, дядя хочетъ пригласить васъ къ себѣ въ домъ, гдѣ вы и будете сидѣть въ обществѣ его сосѣдей, за однимъ общимъ столомъ. Я увѣренъ, что вы воспользуетесь этимъ драгоцѣннымъ для васъ случаемъ и не упустите ничего, что можетъ служить какъ къ внѣшнему, такъ равно и къ внутреннему облагороженію васъ. Но дядя не можетъ васъ пригласить всѣхъ. Онъ желаетъ ограничиться числомъ 50. И потому необходимо, чтобы представители ваши были, по возможности, люди благопристойные и порядочные... Съ этой цѣлью, наканунѣ торжества я сберу васъ вторично, отберу съ вашимъ старостой по 25 человѣкъ обоего пола, и затѣмъ на другой день, въ 8 часовъ утра, вы должны будете вновь собраться на берегу рѣки, у сада. гдѣ, захвативъ съ стобою лучшіе національные костюмы,

умоетесь, причешетесь. А послѣ обѣдни начнется и самое торжество... Да! я и забылъ вамъ сказать. Правительственнаго вліянія здѣсь рѣшительно нѣтъ. Иниціатива этого дѣла принадлежитъ исключительно дядѣ,—стало быть и ваша признательность за все должна быть выражена ему одному!.. Ну, теперь до свиданья. Можете идти. Я тоже еще не обѣдалъ *(кланяется и хочетъ идти)*.

Староста. Кх! ваша милость!

Гемороевъ. Что вамъ угодно? Вы меня звали?

Староста. Нельзя ли насъ ослобонить?.. Дни такіе рабочіе... Вѣдь этихъ дней годъ ждешь. А дѣло-то это, по разсчету, въ наши дни приходится.

Гемороевъ. Это что за вздоръ? Что за церемоніи! Что-жь вы хотите, чтобъ васъ самъ дядя пригласилъ? Какъ вамъ не стыдно? Вздоръ, вздоръ!..

Староста. Ужь сдѣлайте милость! Мы къ этому непривычны.

Гемороевъ. Вздоръ, вздоръ! *(уходитъ)*.

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Мужики.

Староста. Ну, что теперь станешь дѣлать? Господи, притча какая вышла!

Мужикъ. Надо *самого* просить. Можетъ и ослобонитъ?

Староста. Ни за что... Я ужъ объ этомъ давно прослышалъ! Лакеишки сказывали. Все ужъ готово.

Мужики *(нѣсколько голосовъ вдругъ)*. А какъ ослобонитъ? А то, такъ вотъ какъ повернемъ. Зачтемъ это время въ барскіе дни—да и все!

Мужики. И то! Затѣвать-то эти штуки мастера, а

все норовятъ изъ нашихъ дней. Нѣтъ, не хочешь ли изъ своихъ? Такъ-то!

Староста. И не могите! Посредникъ что говоралъ? Вы, говоритъ, плюнте, если малость какая, а бунтовать ни-ни! Въ дуракахъ останетесь!

Мужикъ. Да мы развѣ бунтовать?

Староста. Ни-ни! Штрафами-то прикащикъ и такъ ужь дошолъ.

Мужикъ. Мыть, говоритъ, будутъ всѣхъ; дѣвки слышали? мыть, говоритъ, будутъ васъ?

Староста. Сливаться будутъ.

Мужики. Сливаться?!

Мужикъ. Вѣдь что, прости Господи, имъ въ голову-то лѣзетъ! Одно, то-есть непутящее!

Мужики. Главное, не время.

Мужикъ. А имъ что?—сыты!

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Сцена представляетъ гостинную въ домѣ помѣщика Недобѣжкина. Имянины хозяйки. На столѣ стоитъ закуска, къ которой время отъ времени и прикладываются гости.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Недобѣжкинъ, его жена и Пискаревъ.

Недобѣжкинъ. Слышали?

Пискаревъ. Какъ же-съ! кто этого не слыхалъ! И это дворянинъ! Чѣмъ онъ занимается! Что онъ дѣлаетъ! Собираетъ гостей, чтобы унизить ихъ. И это, послѣ всего этого, дворянинъ!..

Недобѣжкинъ. Еще не до того доживемъ... погодите еще годикъ, другой!..

Пискаревъ. Вѣдь онъ, бестія, какъ сядетъ съ тобой рядомъ, нарочно станетъ рыгать, да почесываться. На-же, дескать, что возьмешь?

Недобѣжкинъ. Нарочно!—это первое дѣло! какъ объявили тогда эту *симансипацію*, помните? Я вамъ разсказывалъ?

Пискаревъ. Нѣтъ-съ. Что такое? можетъ и помню, да позапамятовалъ.

Недобѣжкинъ. Какъ же! Это ужасное было дѣло! То-есть, что мы вытерпѣли! А! *(махаетъ рукой)*. Теперь это позатихло ужъ—или мы, что ли, попритерпѣлись ужъ?

Пискаревъ. Притерпѣлись.

Недобѣжкинъ. Да я объ этомъ, кажется, вамъ разсказывалъ?.. какъ Егорка-то передъ окномъ въ шапкѣ ходилъ?

Пискаревъ. Ахъ! да-съ, помню!

Недобѣжкинъ. Вѣдь онъ, бестія, разъ десять прошелъ, а самъ прямо такъ въ окна и смотритъ!.. Я отошелъ даже отъ грѣха, потому, не вытерплю. А Хавронья Ивановна моя въ слезы!

Пискаревъ. И заплачешь! А то, думаете, нѣтъ? Особенно дама-то!

Недобѣжкина. Да какъ же, помилуйте!.. ходитъ въ двухъ шагахъ... и на рожѣ-то у него словно даже какъ-будто написано!

Недобѣжкинъ. Посредникъ — дрянь! я тогда говорилъ Болотникову; что жь бы вы думали?—смѣется. Объ шапкахъ, говоритъ, въ „Положеніи" ничего не сказано, а такъ-какъ онѣ сдѣланы для того, чтобы въ нихъ ходить, а не въ рукахъ носить, то пусть и ходятъ въ шапкахъ... это посредникъ!..

Пискаревъ. Каналья!

Недобѣжкинъ. И вѣдь сейчасъ узнали, что ничего съ ними нельзя сдѣлать. Вѣдь я по этому случаю тогда въ какіе дураки-то вписался.

Пискаревъ. Это къ становому-то посылали?

Недобѣжкинъ. Да-съ! проглотилъ!

Пискаревъ. Ничего не подѣлаешь!

Недобѣжкинъ. Теперь ужъ я вотъ что придумалъ. Такъ какъ я ужъ знаю свою натуру, поэтому на такихъ условіяхъ и нанимаю: съ боемъ!—одно средство. Приходитъ какой наниматься, такъ и говорю: уговоръ, братецъ, пуще денегъ. Не обижайся, если когда и въ зубы толкану. За каждую, говорю, зуботычину у меня положено—четвертакъ. Хочешь—нанимайся. Ну, выйдетъ на это въ годъ какихъ-нибудь рублей пять, десять, за то ужъ покоенъ. А эти штрафы мнѣ ужъ надоѣло платить. Будь другой какой посредникъ—съ понятіемъ—дѣло иное, а съ этимъ ничего не сдѣлаешь. Одно досадно: народъ на такое условіе все подлецъ одинъ идетъ!..

Пискаревъ. Да что-жь съ этимъ дѣлать! Свое спокойствіе дороже. Иной разъ — ну, ей-Богу — тысячи бы не пожалѣлъ, лишь бы смазать хорошенько!.. Да-съ! а тоже дворяне! Какіе мы дворяне? Какіе мы теперь дворяе?! А я опять-таки говорю — сами виноваты! Ну, на что это похоже? Генералъ... старикъ... изъ Петербурга... и что онъ затѣваетъ! Вспомните, ахъ, вспомните вашего братца, Тюлюлюя Иваныча!

Недобѣжкинъ. А что?

Пискаревъ. Да вѣдь онъ въ Севастополѣ былъ. Это, говоритъ, когда мы миръ подписывали, такъ дали, говоритъ, мнѣ бумагу, а генералъ ихній, то есть, значитъ французскій, стоитъ тутъ и говоритъ: ну-ка, говоритъ, Тюлюлюй Иванычъ, подмахни-ка, да и съ Богомъ! А онъ, Тюлюлюй-то Иванычъ, говоритъ: нѣтъ, дудки!—шалишь. Такъ-то съ меня ужъ однажды взяли росписку, да по-

томъ насилу и отдулся, сперва дай-ка прочесть. А тотъ не даетъ; такъ, говоритъ, не читавши подписывай. А Тюлюлюй Иванычъ-то не будь глупъ, да и говоритъ: ну, чортъ съ тобой—не даешь и не надо, давай и такъ подмахну, а то ужъ мнѣ тутъ съ вами надоѣло. Тотъ съ дуру повѣрь, да и дай ему, а Тюлюлюй Иванычъ-то дѣлаетъ это значитъ одинъ видъ, что подписываетъ, а самъ читаетъ: „пунктъ пятый. Дворянство по всей имперіи уничтожить!“ ...Да онъ вамъ развѣ этого не разсказывалъ?

Недобѣжкинъ. М... м-да! Штука.

Пискаревъ. Сами виноваты! Вѣдь вотъ опять-таки тотъ же вашъ братецъ, Тюлюлюй Иванычъ—вѣдь человѣкъ неглупый и ловкій, и все такое... А что сдѣлалъ? Зачѣмъ же, говорю я ему, вы подписывали? Вѣдь вы видѣли? Что дѣлать, говоритъ, теперь-то и самъ вижу, что глупость сдѣлалъ, да ужъ поздно.

Недобѣжкинъ. Правда, что русскій человѣкъ затылкомъ крѣпокъ.

Пискаревъ. Да вотъ вы его спросите, онъ самъ все разскажетъ.

Недобѣжкинъ. Да нѣту его, вотъ уже третій день куда-то закатился; ныньче, должно быть, пріѣдетъ.

Пискаревъ. Людей, Григорій Иванычъ, у насъ нѣтъ—вотъ бѣда! Напримѣръ, взять хоть изъ военныхъ—нѣтъ ни одного... Ну, на кого вы укажете?

Недобѣжкинъ. Никого.

Пискаревъ. Теперь, если взять изъ статскихъ—ну, на кого изъ статскихъ вы укажете?

Недобѣжкинъ. Никого...

Пискаревъ. Никого-съ! Я объ этомъ мало развѣ передумалъ! Лежишь иногда ночью—не спится, и думаешь: нѣтъ ли у насъ въ Россіи такого человѣка? думаешь, думаешь—нѣтъ!.. Даже, доложу я вамъ, именъ-то такихъ нѣтъ, какъ прежде было... Ей-богу! Вотъ хоть

бы, напримѣръ, это имячко: Наполеонъ. На-полѣ-онъ! Багратіонъ. Богъ-рати-онъ! Дибичъ. Ди-бичъ!..

Недобѣжкинъ. Наполеонъ-то есть и теперь, только не нашъ.

Пискаревъ (*лукаво*). А что, Григорій Иванычъ, я хочу васъ спросить, вы поѣдете къ этому?

Недобѣжкинъ. Къ генералу-то?

Пискаревъ. Да-съ.

Недобѣжкинъ. А вы?

Пискаревъ. Да что жь я стану одинъ-то дѣлать? Что жь я одинъ-то противъ всѣхъ сдѣлаю?

Недобѣжкинъ. Такъ вы, стало быть, поѣдете?

Пискаревъ. А вы?

Недобѣжкинъ. Мм... м... Если не поѣду... положимъ... я одинъ...

Пискаревъ. Таксъ-съ. Положимъ, вы одни...

Недобѣжкинъ. Ну, если я одинъ? А вы, стало быть, поѣдете?

Пискаревъ. Я, то-есть такъ для примѣра... говорю. Положимъ вы одни...

Недобѣжкинъ. Ну, а на самомъ-то дѣлѣ?

Пискаревъ. Да мы прежде предположимъ.

Недобѣжкинъ. Нѣтъ, вы мнѣ скажите прежде: вы поѣдете?

Пискаревъ. А вы?

Недобѣжкинъ. Я?.. гм... я...

Пискаревъ. Такъ-то и я-съ!

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Жена Пискарева, сынъ и дочь ихъ. (*Пискарева поминутно встаетъ и оправляетъ платье на дочери. Здороваются; кланяются. Хозяйка угощаетъ пирогомъ*).

Пискарева (*входитъ*). Здравствуйте!

Пискаревъ. Что это вы такъ долго не ѣхали—а?

Пискарева. Ахъ, мой дружочекъ, какъ это я буду тебѣ разсказывать—почему? Ну, встрѣтилось маленькое затрудненіе въ туалетѣ твоей дочери *(говоритъ что-то шопотомъ женѣ Недобѣжкина. Та улыбается. Пискарева показываетъ что-то руками. Аполлонъ между тѣмъ ищетъ вдохновенія въ „горькой“ и въ хересѣ).*

Пискаревъ. Ужь у этихъ дамъ!.. о-о!..

Пискарева. А вы-то, мужчины!—знаемъ мы васъ!

Пискаревъ. Да что-жь мужчины?

Пискарева. Да, да! знаемъ, знаемъ... А съ самимъ намедни что было—а? разсказать? Собирался онъ ѣхать вотъ къ этому генералу-то!

Пискаревъ. А ты въ самомъ дѣлѣ ужь?!

Пискарева. А! что? Дамъ теперь не будешь трогать? Вотъ какъ надо васъ учить! Ахъ да, кстати, что̀ вы къ этому генералу-то—поѣдете? *(встаетъ и что-то оправляетъ на дочери).*

Недобѣжкина. Ахъ, ужь лучше и не говорите! И ума не приложу. Не ѣхать—нельзя, обидится. Поѣхать, сами знаете, тамъ будутъ и бабы, и дѣвки, и мужики. Ахъ, я объ этомъ не могу и вспомнить равнодушно!

Пискарева. И мы вѣдь получили приглашеніе. Самъ проситъ. Вамъ Семенъ Семенычъ показывалъ? Семенъ Семенычъ, письмо съ собой?

Пискаревъ. Нѣтъ, душенька, я его дома оставилъ; вѣдь ты же взяла сама у меня его передъ отъѣздомъ.

Пискарева. Ахъ, какой ты противный! и еще лжешь. Когда я его брала? Какъ это не хорошо!

Пискаревъ. Да какъ же ты говоришь, душенька, что не брала. Ты еще чулки въ это время подвязывала въ гостиной; какъ сейчасъ гляжу.

Пискарева. Ахъ, какія вы, Семенъ Семенычъ, вещи говорите! Вспомните, здѣсь ваша дочь, дѣвица! Замолчите ужь лучше. И тутъ даже солгали.

Недобѣжкина. Что-жь, вы поѣдете?

Пискарева. Кто? я? да съ чего это онъ взялъ? Ни за что! Ни за что! Я такъ-таки прямо ему и скажу: генералъ! у васъ я всегда готова бывать, но чтобы сѣсть за одинъ столъ съ хамомъ—ни за что! Я ему прямо скажу: генералъ! извините, у меня дочь взрослая дѣвица и я дорожу ея честью! Ни за что! Вотъ Аполлонъ, какъ хочетъ, онъ мужчина, это ужь не мое дѣло, это отецъ долженъ знать. Да я бы на мѣстѣ Семена Семеныча и ему не позволила. Что жь, онъ хоть и служитъ, а все-таки еще мальчикъ. *(Аполлону, который въ это время пьетъ рюмку водки, и, вздрагивая, ставитъ ее и кидается на икру)*. Однако, душенька, ты больше не кушай, а то у тебя опять можетъ головка заболѣть.

Недобѣжкина. Нѣтъ, я не могу не ѣхать... мы въ такихъ отношеніяхъ съ генераломъ. Онъ, можно сказать, другъ Григорія Иваныча.

Пискарева. Да они вѣдь друзья и съ моимъ Семеномъ Семенычемъ. Онъ рѣдкую недѣлю у насъ не бываетъ. И теперь, если бы видѣли, какое письмо онъ къ намъ написалъ! Проситъ осчастливить. Ахъ, какой вы противный, Семенъ Семенычъ! Я очень хорошо помню, что говорила вамъ, чтобы вы взяли.

Пискаревъ. Да я его ужь наизустъ знаю: милостивый государь, Семенъ Семенычъ. 4-го числа этого мѣсяца, въ день моихъ именинъ, я намѣренъ...

Пискарева. Ахъ, ужь лучше не путайте—не знаете! Вопервыхъ, не милостивый государь, а безцѣнный другъ, Семенъ Семенычъ.

Пискаревъ. Анъ неправда: милостивый государь!

Пискарева. Я вамъ говорю, Семенъ Семенычъ, не спорьте, я ужь лучше знаю! *(Къ сыну, который опять наливаетъ рюмку)*. Душенька, оставь, я тебѣ говорю!

Аполлонъ. Больше, маменька, не буду—это последняя.

Пискарева. Какъ это не хорошо!

Недобѣжкина. Да вѣдь это слабая...

Пискарева. Все-таки...

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тѣ же и Соколиковъ *(навеселѣ).*

Соколиковъ *(пожимаетъ всѣмъ руки).* Здравствуйте!

Недобѣжкина. Гдѣ это ты пропадалъ?

Соколиковъ. Ну, на это трудно отвѣчать,—гдѣ я былъ?... Штабъ-квартира моя была у Рыбникова, но самъ гдѣ я былъ?.. А! Аполлонъ! и ты, душа моя, тутъ!

Пискаревъ. А мы только что вспоминали о тебѣ вотъ съ Григоріемъ Иванычемъ.

Соколиковъ. А по какому это случаю *(наливаетъ рюмку).* Аполлонъ, ну-ка!

Пискаревъ. Ахъ, пожалуйста, не надо!

Соколиковъ. Да одну-то?

Аполлонъ. Это, маменька, послѣдняя.

Недобѣжкинъ. А вспоминали мы, братецъ ты мой, о тебѣ вотъ по какому случаю: какъ это ты о крымскомъ мирѣ разсказывалъ, какъ вы подписывали его.

Соколиковъ. Это кто же?—онъ *(указывая на Пискарева)* тебѣ разсказывалъ? *(отходитъ отъ стола съ кускомъ икры и, прожевавъ, говоритъ).* Ничего сдѣлать нельзя было—всѣ подписали. А я-то въ этотъ день, признаться, проспалъ. Наканунѣ-то, значитъ, выпивка была у полкового, картишки... ну и проспалъ, а то бы развѣ я подписалъ? Да полковой-то командиръ—послѣ мы узнали,—нарочно меня подпоилъ—измѣнникъ! Ему было дано за это отъ Пелисье сто тысячъ... да! да! *(подмигиваетъ на*

графинъ). Аполлонъ, ну-ка! *(Аполлонъ косится на мать)*.

Пискарева. Ахъ нѣтъ, ради Бога, ни за что!..

Соколиковъ. Одну-то?

Пискарева. Нѣтъ... нѣтъ...

Пискаревъ. А вспоминали мы, братецъ ты мой, вотъ по какому случаю. Слышалъ, небось, генералъ-то нашъ что̀ затѣваетъ? Хамовъ съ нами помѣшать хочетъ!..

Соколиковъ. Слава Богу! Еще бы этого ужъ не слыхать? Я даже и приглашеніе получилъ.

Пискаревъ. Поѣдешь?

Соколиковъ. Отчего же? А ты?

Пискаревъ. Какъ это сказать? Тоже...

Недобѣжкина. Мы поѣдемъ, такъ, разумѣется, изъ любопытства одного.

Пискарева. Да! изъ любопытства! Это дѣло совсѣмъ другого рода! Изъ любопытства-то, можетъ быть, и я поѣду. Это ужъ совсѣмъ не то будетъ!

Недобѣжкина. Да, разумѣется, изъ одного любопытства!.. Кто же иначе-то пойдетъ?

Пискарева. Да, ну, такъ бы вы и прежде говорили! А то я думала... Это совсѣмъ не то! *(входитъ лакей)*.

Лакей. Кушать готово-съ.

Недобѣжкина *(встаетъ)*. Милости прошу *(гости встаютъ; начинается церемонія уступленія чести пройти въ дверь первому)*.

Пискаревъ. Значитъ, и вы поѣдете?

Недобѣжкинъ. Да какъ это сказать? да ужъ и самъ не знаю... какъ будто поѣду...

Пискаревъ. Нельзя вашему брату и не ѣхать-то!..

Соколиковъ. Да!.. стояли мы въ Польшѣ *(исчезатъ въ дверяхъ. Слышится колокольчикъ. Пискаревъ подходитъ къ окну)*.

Пискаревъ. Исправникъ!..

Недобѣжкинъ. А? гдѣ? *(тоже смотритъ въ окно и идетъ къ дверямъ).*

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Пискаревъ, Недобѣжкинъ и исправникъ.

Недобѣжкинъ. Кого не ждали!

Исправникъ *(здороваясь).* На минуточку.

Недобѣжкинъ. Это что-жь такое? Сегодня вѣдь моя Хавронья Ивановна имянинница, ужь обѣдать садятся.

Исправникъ. Знаю-съ, и честь имѣю поздравить! Только ужь мнѣ, батюшка *(вздыхаетъ),* не до обѣда!

Недобѣжкинъ. Да что такое?

Исправникъ. Такая исторія...

Недобѣжкинъ. Да что такое?

Исправникъ. Только пожалуйста, никому не разсказывайте. Ради Бога.

Недобѣжкинъ. Ну...

Исправникъ. Да вотъ, Семенъ Семенычъ, какъ вы?.. ужь я знаю, вы на язычекъ...

Пискаревъ. Ну, ей-богу же не скажу *(крестится).*

Исправникъ. Государственная тайна. Я могу сдѣлаться несчастнымъ человѣкомъ.

Недобѣжкинъ. Да что такое?

Исправникъ. Отъ генерала Пупырина получили приглашеніе?

Недобѣжкинъ. Получилъ.

Исправникъ *(къ Пискареву).* А вы?

Пискаревъ. И я получилъ.

Исправникъ *(таинственно).* Были мы вчера у стряпчаго на пирогѣ. Крестины были. Онъ и говоритъ: господа, приходите вечеромъ; мы и пришли всѣ, кто на пирогѣ былъ, и сѣли за картишки. Сидѣли, сидѣли —

закуску подали. Посмотрѣлъ я на часы, гляжу — ужь двѣнадцать—полночь. Вдругъ говорятъ:—нарочный изъ губерніи ко мнѣ. А у Марьи Васильевнѣ моей еще утромъ предчувствіе было. И весь этотъ день она не то, чтобы пролежала, а такъ, говоритъ: чувствую, душа моя, что-то такое *(вздыхаетъ)*. Ну-съ, только выхожу я въ переднюю, гляжу, съ пакетомъ стоитъ, взялъ я его этотъ пакетъ въ руки, написано: секретно. Ну-съ, только распечаталъ, читаю... Обступили меня это стряпчій и всѣ: что такое, что такое... какъ прочелъ я его — драло скорѣй. Стряпчій за мной, ко мнѣ на квартиру. Ну, этому сказалъ... Онъ-то меня и научилъ: поѣзжай, говоритъ, къ Григорію Иванычу Недобѣжкину прежде. Что онъ скажетъ? Онъ эти дѣла знаетъ. Потому, самое преступленіе... политическое и потомъ такая особа.

Недобѣжкинъ. Политическое?

Исправникъ. Требующее внезапнаго удара!

Недобѣжкинъ. Бумага съ тобой? *(Исправникъ вынимаетъ изъ боковою кармана бумагу и молча подаетъ ее Недобѣжкину)*.

Исправникъ. Вотъ отсюда извольте читать.

Недобѣжкинъ *(читаетъ)*. До свѣдѣнія дошло...

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Тѣ же и Соколиковъ *(съ салфеткой въ рукѣ)*.

Соколиковъ. А! что такое до свѣдѣнія дошло? А! здравствуй, душа моя!.. *(цѣлуется съ исправникомъ)*.

Исправникъ *(тащитъ бумагу къ себѣ. Недобѣжкинъ не даетъ)*. Григорій Иванычъ!.. ради Бога... послѣ...

Соколиковъ. Да что такое?.. А!

Исправникъ. Послѣ.

Соколиковъ. Послѣ? Ну, послѣ... А! я помѣшалъ?..

(вдругъ вырываетъ бумагу, свертываетъ и хочетъ спрятать ее въ карманъ).

Исправникъ. Отдайте! какъ можно!

Соколиковъ. Послѣ! ха, ха, ха!.. нѣтъ, давайте теперь читать.

Недобѣжкинъ *(спокойно).* Тюлюлюй! отдай, это нужная бумага—секретная... Ну, что ты дурачишься?

Соколиковъ. При мнѣ будете читать? отдамъ. А то изорву.

Исправникъ. Да вѣдь ты разболтаешь... Ахъ ты Господи! Этого только не доставало! Тюлюлюй Иванычъ, не для меня — для дѣтей — побожись, что ты не будешь болтать объ этотъ три дня.

Соколиковъ. Ну, вотъ тебѣ честное слово.

Исправникъ. Честное слово! Нѣтъ, ты побожись!

Соколиковъ. Ну, ей-богу не стану болтать *(крестится).*

Исправникъ. А! *(махаетъ рукой)* разболтаетъ! *(Недобѣжкинъ начинаетъ читать письмо, которое держитъ въ рукахъ Соколиковъ).* До свѣдѣнія дошло, что проживающій въ имѣніи своемъ помѣщикъ Андрей Иванычъ Пупыринъ намѣренъ въ день своихъ имянинъ учинить праздникъ, къ участію въ которомъ пригласилъ крестьянъ для прочтенія имъ разныхъ вредныхъ сочиненій, подрывающихъ основы каждаго благоустроеннаго государства. И потому, необходимо немедленно отправиться вамъ въ имѣніе вышеозначеннаго Пупырина и принять надлежащія мѣры.

Пискаревъ. Господи! И это генералъ! и это дворянинъ!

Недобѣжкинъ. Гм!

Исправникъ. Только, ради Бога, господа.

Соколиковъ. Что-жь тутъ удивительнаго? Я давно зналъ объ этомъ. Какъ только дворянство соберется къ

нему, такъ всѣхъ сейчасъ окружатъ: ребята! Ура!.. и конецъ.

Пискаревъ. Господи!

Исправникъ. Да-съ!

Недобѣжкинъ. Вотъ что: дѣло это серьезное. Болтать ни подъ какимъ видомъ не слѣдуетъ, а взяться за него надо потоньше. Мнѣ что-то сдается, что это... такъ, вздоръ одинъ!..

Соколиковъ. Вздоръ, хорошъ вздоръ; такія дѣла у него вздоръ!..

Исправникъ. Какой тутъ вздоръ!

Соколиковъ. А я тебѣ говорю, самъ ты послѣ этого вздоръ! Ну, разбери ты самъ: еслибы это былъ вздоръ— въ уѣздѣ не ходили бы слухи. Вздоръ!—хорошъ вздоръ!

Недобѣжкинъ. Да ты отъ кого слышалъ?

Соколиковъ. Что онъ хочетъ дворянство-то уничтожить? Самъ, братецъ,—налетѣлъ! Ѣду я, знаешь, мимо конторы-то его... контору-то знаешь?

Недобѣжкинъ. Ну?..

Соколиковъ. А на крыльцѣ конторщикъ его. Не на томъ крыльцѣ, чтò къ дому, а на томъ, чтò къ плотинѣ. Ну, ты конторщика знаешь? Французъ?

Недобѣжкинъ. Ну, знаю.

Соколиковъ. Вижу я, что-то такое блеститъ у него— я велѣлъ подъѣхать. Чтò, говорю, ты дѣлаешь, Наполеонъ? Я вѣдь его Наполеономъ зову — такая бестія, шельма, и вѣдь деньги у него есть...

Недобѣжкинъ. Ну?..

Соколиковъ. А у него въ рукахъ два пистолета чиститъ. Чьи это? говорю. Генерала. А возлѣ еще два лежатъ. А это, спрашиваю, чьи? И это его же. Ахъ ты, говорю, бестія — надуть меня хочешь!.. Не хотѣлось только изъ тарантаса вылѣзать... а то бы я ему такую выволочку задалъ!..

Недобѣжкинъ. Да они, можетъ, и въ самомъ дѣлѣ его?

Соколиковъ. Чудакъ! Это бы еще ничего. Да я отъ кого знаю-то? Вѣдь съ его женой-то я... понимаешь?

Недобѣжкинъ. Ну, это ты, братецъ ты мой, занесъ!..

Соколиковъ. Занесъ! самъ ты занесъ...

Исправникъ. Ну-съ... Извольте, извольте продолжать.

Соколиковъ. Вотъ только я сижу съ ней—привезъ я съ собой ликерцу—все же вѣдь дама! Сладенькое любитъ—сидимъ да потягиваемъ. Она мнѣ во всемъ и призналась. И какъ упрашивала-то, чтобъ я не говорилъ никому?!.. Я, говоритъ, тебѣ, душа моя, жалѣючи сказала, чтобы ты не пріѣзжалъ тогда... Ужь вы, господа, про нее-то не говорите!

Пискаревъ. Какъ это можно!..

Недобѣжкинъ. Чудное что-то дѣло! Да откуда же въ губерніи-то объ этомъ узнали?

Исправникъ. Непостижимая вещь!

Недобѣжкинъ. Что ты хочешь дѣлать?

Исправникъ *(уныло)*. Поѣду туда...

Соколиковъ. Вотъ что! Поѣзжать ты поѣзжай. Если ты боишься—пожалуй, и я съ тобой поѣду. Только ты, братъ, ужь какъ хочешь, а три тысячи цѣлковыхъ мнѣ подай. Безъ этого я тебя не выпущу.

Исправникъ. Что такое ты говоришь? а?

Соколиковъ. Три тысячи подай.

Исправникъ. Какія три тысячи—за что?

Соколиковъ. А вотъ какія—чтобы я не разболталъ, да его не предупредилъ обо всемъ.. такъ-то! Я, братъ, тебя люблю и ты хорошій малый—а три тысячи все-таки подай, не дашь — и себя, и семью погубишь. Это ужь какъ хочешь!..

Исправникъ. Господи! да что-жь это такое? Григорій Иванычъ—что-жь это? Въ вашемъ домѣ...

Недобѣжкинъ. Тюлюлюй, что это ты?

Соколиковъ. Ну, слушай, вотъ что: тысячу я, такъ и быть, тебѣ спущу—а двѣ сейчасъ подай!..

Исправникъ. Да за что же?

Соколиковъ. Ну, какъ хочешь. Тогда поздно будетъ, изволь — куда не шло! — еще тысячу брошу. Чортъ съ тобой. А тысячу подай.

Исправникъ. Григорій Иванычъ! что-жь это такое? У васъ въ домѣ? Вѣдь это ни на что непохоже!

Недобѣжкинъ. Да развѣ это я?

Соколиковъ. Ты мнѣ скажи: дашь мнѣ тысячу или нѣтъ?

Исправникъ. Да за что же я тебѣ дамъ?

Соколиковъ. Такъ ты не дашъ?

Исправникъ. А! Господи, что это? двадцать-пять возьми—такъ ужь и быть съ тобой. А еще другомъ называешься?!

Соколиковъ. Это опять вздоръ ты говоришь. Ты говори, съ тобой сколько? Покажи бумажникъ.

Исправникъ. *(вынимаетъ бумажникъ)*. Только я вѣдь всѣхъ не отдамъ. Самъ я съ чѣмъ же?

Соколиковъ. *(считаетъ и насчитываетъ 35 руб.)*. Ну вотъ тебѣ 5 р., а остальные мои.

Исправникъ. Какъ, тридцать-то? за что же это?

Соколиковъ. За что? *(прячетъ деньги)* за три дня!.. Ну, теперь мировая. Все забыто. А то вѣдь я, если будешь дуться... я вѣдь этого не люблю...

Исправникъ. Нѣтъ, ты мнѣ росписку дай, что не будешь болтать,

Соколиковъ. Росписку? Это что за глупости? Говорю—не буду болтать. Ну, вотъ тебѣ честное слово.

Исправникъ. Нѣтъ, росписку давай!

Соколиковъ. Что-жь, ты моему слову не вѣришь?

Исправникъ. Вѣрю. А росписку все-таки дай. Потому что государственная тайна.

Соколиковъ. Вотъ что: объ этой глупости перестань толковать,—росписку тебѣ ни за что не дамъ, а ты лучше поѣзжай къ нему скорѣе въ Пупыревку, да разузнай.

Исправникъ. Григорій Иванычъ! Не выпускайте его эти три дня изъ дому.

Недобѣжкинъ. Тюлюлюй, слышишь?

Соколиковъ. Что же чепуху слушать? Да! вотъ что: поѣдешь—вели колокольчикъ подвязать, это я, братецъ, тебѣ говорю. Можетъ, еще накроешь съ поличнымъ.

Исправникъ (*вздыхаетъ*). Господи! и за что слупилъ?

Недобѣжкинъ. Да ты хоть на минуту зайди. Закуси чего-нибудь.

Исправникъ. Закуси!..

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Сцена представляетъ площадку передъ домомъ; направо видѣнъ уголъ дома съ балкономъ; прямо, на послѣднемъ планѣ, стоятъ еще незажженные вензеля, щиты и пр.; на деревьяхъ висятъ разноцвѣтные фонари, тоже не зажженные. Начинаетъ смеркаться. Ближе на первомъ планѣ, почти во всю сцену столъ, конецъ котораго скрывается за зеленью; позади бесѣдка. За столомъ сидятъ въ перемежку мужики, господа, бабы, барыни, дѣвки. Вносятъ бутылки шампанскаго. Слышится хлопанье пробокъ.

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Всѣ (*Сычуговъ стоитъ съ бокаломъ. Поднятіе занавѣси застаетъ его уже читающимъ*).

Сычуговъ. Наконецъ даже личное оскорбленіе, нанесенное всѣмъ намъ въ лицѣ нашего почтеннѣйшаго

Андрея Ивановича, заподозрѣннаго въ соучастіи и единомысліи съ разными вредными сектами и обществами, не поколебало нашего намѣренія, не своротило насъ, такъ сказать, съ пути цивилизаціи и прогресса!.. Настоящее торжество не имѣетъ ничего себѣ подобнаго. Оно будетъ служить доказательствомъ, что и въ нашемъ далекомъ уголкѣ вращаются тѣ же великія идеи и трепещутъ тѣ же русскія сердца! Господа! на насъ лежитъ долгъ, въ нѣкоторомъ родѣ обязанность, пролить свѣтъ науки въ эту темную массу. Подъ этой корой, которою покрыта она, какъ непроницаемой броней... какъ непроницаемой броней... Гм... хэ... и потому, господа, предлагаю тостъ за здоровье многоуважаемаго нашего, почтеннѣйшаго Андрея Ивановича! (*Всѣ встаютъ и говорятъ: за здоровье Андрея Ивановича! Мужики перхаютъ, стоятъ и кланяются. Андрей Ивановичъ одной рукой обнимаетъ предводителя, а другой старостиху)*.

Пупыринъ. Господа! Отъ избытка чувствъ я не могу... Господа! покорнѣйше прошу садиться. Вотъ онъ (*указываетъ на Гемороева)*, онъ знаетъ мои чувства. Паша скажетъ отъ имени моего, что я всегда, что все, что только... понимаешь? (*усаживается)*.

Гемороевъ (*встаетъ и лѣниво сквозь зубы цѣдитъ)*. Я совершенно случайный гость, господа, на вашемъ праздникѣ, тѣмъ не менѣе буду просить вашего вниманія къ слѣдующимъ немногимъ словамъ. Я буду коротокъ. Мы разстались съ правомъ, пятнавшимъ и разумѣется тяготившимъ насъ впродолженіе цѣлыхъ столѣтій. Я говорю про крѣпостное право. Рабство пало, шаги прогресса уже слышатся. Пойдемъ же ему на встрѣчу! Укажемъ этимъ новымъ людямъ, пятьдесятъ представителей и представительницъ которыхъ сидятъ здѣсь между нами, великія задачи нашего времени, познакомимъ ихъ съ результатами, уже добытыми нами,

научимъ ихъ уважать личность человѣка, уважать другъ друга и присвоенныя каждому права и преимущества. Само собою разумѣется, что исполненіе такой широкой программы потребуетъ съ нашей стороны новыхъ жертвъ, но мы не остановимся передъ ними. Мы не остановимся, лишь бы тѣ, для которыхъ приносятся всѣ эти жертвы, оказались достойными ихъ *(раздается одобреніе, крехтъ, кто-то сморкается)*. Въ заключеніе я еще укажу на одну великую заслугу нашего времени: оно открыло, если можно такъ выразиться, цѣлую половину человѣческаго рода—я говорю про женщинъ! До нашего времени женщина и человѣкъ не были словами однозвучащими. На женщину смотрѣли или какъ на рабу, или какъ на источникъ однихъ грязныхъ, животныхъ инстинктовъ. Но это время прошло безвозвратно Человѣчество пережило его! Приглашая поселянокъ къ участію въ нашемъ праздникѣ, мы имѣемъ въ виду доказать имъ ихъ равноправность съ мужьями и братьями. И этимъ мы смѣло заявляемъ предъ лицомъ цѣлой Россіи, что рабство женщинъ у насъ пало. Вы, милостивые государи, можете гордиться въ этомъ дѣлѣ начинаніемъ. Женщина человѣкъ! Я предлагаю вамъ, господа, тостъ за этотъ великій принципъ *(Раздаются аплодисменты. Пьютъ шампанское. Многіе жмутъ руки оратору. Подаютъ пирожное. Зажигаютъ фейерверкъ)*.

Сычугова. Ахъ, повѣрьте, онѣ васъ оцѣнятъ! Не теперь... но въ будущемъ... Женщины умѣютъ быть благодарными *(Гемороевъ, сидя, кланяется ей)*.

Сычуговъ. Да, мы готовы жертвовать, лишь бы насъ понимали... лишь бы цѣнили всѣ эти жертвы.

Пупыринъ. Именно. Да, да...

Сычуговъ. Одно грустно: люди злонамѣренные и въ этомъ безкорыстномъ самоотверженіи увидятъ приказаніе, тогда какъ это все родилось въ нашихъ собственныхъ сердцахъ.

Пупыринъ. Да, замѣтьте это, и помните, что мы все сами. Мы сами... да!..

Пискаревъ. Премудрость!..

Сычуговъ. Что вы этимъ хотите сказать?

Пискаревъ. Я-съ?—таксъ. Все это... и солнце, и звѣзды... и гады морскія *(окончательно мѣшается и замолкаетъ; хохотъ).*

Золотухинъ. *(встаетъ).* Еще одинъ тостъ, это—тостъ за процвѣтаніе народной, чисто русской поэзіи и музыки. Кто изъ насъ, господа, не заслушивался этихъ дивныхъ мотивовъ, этихъ очаровательныхъ... *(Раздается голосъ Соколикова: „Во лугахъ, лугахъ монастырскихъ телка, телка гуляетъ!“ Поднимается шиканье, крикъ. Музыка насилу заглушаетъ все это. Всѣ встаютъ изъ-за стола; въ это время загорается щитъ и вензель. На щитѣ изображенъ какой-то господинъ въ сюртукѣ, въ шляпѣ, съ тросточкой, протягивающій руку мужику, въ красной рубашкѣ. На верху надпись „Сліяніе“. Всѣ подъ музыку идутъ къ щиту. Лакеи убираютъ со стола).*

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Пискаревъ и **Недобѣжкинъ** *ведутъ подъ руки шатающагося* **Соколикова**. *Возлѣ нихъ суетится* **Золотухинъ**.

Соколиковъ. Пустите! закричу.

Пискаревъ. Съ ума ты сошелъ.

Недобѣжкинъ. И когда это успѣлъ онъ такъ нарѣзаться!

Соколиковъ. Говорятъ вамъ, пустите! я самъ!

Пискаревъ. Иди, иди!..

Соколиковъ. А если не пойду? Ну, что ты со мной можешь сдѣлать? А?

Пискаревъ. Иди, иди!..

Соколиковъ. Ну, что ты со мною можешь сдѣлать?

Золотухинъ. Послушайте, вы лягте, усните.

Соколиковъ. А! душа моя, и ты тутъ? Поцѣлуй меня!

Недобѣжкинъ. Иди!..

Соколиковъ. А ты что? Я тебѣ всю морду...

Золотухинъ. Ахъ, какая гадость!

Соколиковъ. Гдѣ гадость? какая гадость?

Пискаревъ (*рѣшительно*). А! да что съ нимъ толковать. Григорій Иванычъ, бери его за ноги... Ну!..

Соколиковъ. Караулъ—под-лецы!.. (*Золотухинъ зажимаетъ ему ротъ платкомъ, а Недобѣжкинъ и Пискаревъ уносятъ. Народъ толпится у щитовъ*).

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Изъ-за деревьевъ выходитъ **Геморoевъ** *и подзываетъ къ себѣ лакея, убирающаго со стола.*

Геморoевъ. Ну, что-жь? ты ей говорилъ?

Лакей. Какъ же-съ, говорилъ.

Геморoевъ. Ну, что-жь она?

Лакей. (*осклабляясь*). Боится-съ. Матушка, говоритъ, какъ бы не узнала. Да вы извольте сами ей поговорить. Она васъ-то скорѣй, можетъ, послушаетъ. Онѣ вонъ обѣ тамъ. И Левъ Александрычъ тамъ (*указываетъ на кусты*).

Геморoевъ. Въ оранжерею отнеси двѣ бутылки шампанскаго, въ китайскую комнату... да опусти шторы и вели кое-гдѣ въ оранжереѣ лампы зажечь съ матовыми колпаками (*уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

(Къ бесѣдкѣ подходитъ **Любовь Васильевна** *и два* **лакея** *съ салфетками).*

Люб. Васил. Поскорѣй же, скажи: на минуточку *(лакеи бѣгутъ почти въ разныя стороны)*. Господи! Господи! *(закрываетъ лицо руками, садится и рыдаетъ).*

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Люб. Вас. и Гемороевъ.

Гемороевъ. Что угодно?

Люб. Васил. Паша, ангелъ мой!

Гемороевъ. Только-то? Это опять начинается та же исторія?

Люб. Васил. Паша, Паша!.. Я виновата. Прости меня... но что же дѣлать?

Гемороевъ. Какъ что? Не дѣлать этихъ комедій — больше ничего. Это наконецъ чортъ знаетъ что. Не могу же я просидѣть всю жизнь у твоей юбки. Ты пойми это!

Люб. Вас. Паша! ну, вотъ что... *(задумывается и плачетъ всхлипывая).*

Гемороевъ. Ну, что еще придумала?

Люб. Васил. Вотъ что: изъ Парижа заѣзжай сюда, а не прямо въ Петербургъ...

Гемороевъ. Ты, кажется, окончательно съ ума сошла. Ну, пойми ты это: сегодня 4-е іюля. Послѣ завтра я уѣду—это будетъ 6-го іюля, раньше недѣли я не доберусь до Парижа. Тамъ недѣлю, оттуда недѣлю—это будетъ какъ разъ 27-го іюля, а къ 1-му августа я долженъ быть уже въ училищѣ. Когда же я успѣю заѣзжать.

Люб. Васил. И это ты изъ одной недѣли въ Парижъ ѣдешь! Паша! жизнь моя!

Гемороевъ *(отчаянно)*. Ахъ какая скука! двадцать разъ одно и то же!..

Люб. Васил. Милый мой!..

Гемороевъ. Это, чортъ знаетъ, что такое! Ты, кажется, окончательно не дорожишь своей репутаціей. Полонъ садъ народу, а ты тутъ съ своими нѣжностями. Вспомни, матушка, вѣдь ты хозяйка, — твое отсутствіе замѣтно. Нашла какое удобное время!

Люб. Васил. А, Богъ съ ними! Мнѣ до нихъ нѣтъ дѣла...

Гемороевъ. Это-то и самое скверное, что тебѣ ни до чего дѣла нѣтъ! Изъ этого, кромѣ глупости, ничего не выйдетъ... Однако, довольно. И, пожалуйста, не отыскивай меня больше... не слѣди за мной. Это въ глаза всѣмъ бросается. Ступай, пожалуйста, послѣ поговоримъ! Утрись, волосы оправь... спроси себѣ воды... послѣ поговоримъ...

Люб. Васил. Когда все это кончится?

Гемороевъ. Ну, да завтра утромъ, что ли... послѣ...

Люб. Васил. Паша!

Гемороевъ. Опять? ну, что?

Люб. Вас. Вотъ что: я завтра поѣду кататься утромъ... поѣзжай со мной.

Гемороевъ. Если не просплю.

Люб. Васил. Я пришлю тебя разбудить.

Гемороевъ. Этого только еще недоставало?!... Нѣтъ, ужь пожалуйста не посылай. Я самъ велю, въ такомъ случаѣ, разбудитъ себя. У тебя рѣшительно нѣтъ никакого соображенія, никакой осторожности.

Люб. Васил. Такъ ты поѣдешь со мной?

Гемороевъ. Да, хорошо! Иди же, пожалуйста!

Люб. Васил. Честное слово? поклянись мнѣ!...

Гемороевъ. Вотъ наказанье то!... Уйдешь ты?

Люб. Васил. Господи! Господи! *(Уходятъ въ разныя стороны).*

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

(По сценѣ проходятъ два **мужика**. *Одинъ лѣтъ сорока-пяти, а другой еще молодой малый).*

Старый *(зѣваетъ и крестится).* Господи, мать пресвятая Богородица... Эхъ малый! себя совѣстно, болтаемся мы тутъ—ну, какъ завтра, избави Господи, дождикъ... хлѣбъ-то, почитай, весь въ полѣ еще...

Молодой. Что-жь, на сходѣ-то порѣшили зачесть эти дни въ барскіе?

Старый. Зачтемъ. Мы развѣ просили? Еще отговаривались.

Молодой. Производитель-то по бумажкѣ читалъ.

Старый. А будетъ, малый, тутъ оказія у насъ, потому они дней этихъ въ разсчетъ не берутъ—а намъ-то уступать за что же?...

Молодой. Будетъ.

Старый. Помяни мое слово!...

Молодой. А сливаться когда же?

Старый. Смотри-ка *(указываетъ)*, вѣдь это они Машку съ Ганькой кулижатъ... А, сволочь!... Смотри-ка!... смотри!... А!... *(уходятъ).*

ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

(Два **лакея**. *Одинъ съ бутылками).*

Первый лакей. Въ эту что ли бесѣдку велѣлъ принести?

Второй. Никакъ въ оранжерею, въ китайскую комнату.

Первый. Туда особо... И жизнь имъ только!..

Второй. А врѣзалась она въ него!

Первый. Идутъ... тш...

ЯВЛЕНІЕ ОСЬМОЕ.

Идутъ по бесѣдкѣ, впередъ **Золотухинъ** *съ* **Ганей**, *за нимъ* **Гемороевъ** *съ* **Машей**. *Оба обнявъ ихъ за талію.*

Золотухинъ. Сядемъ здѣсь.

Гемороевъ. И то тутъ.

Золотухинъ. Ганя, садись *(садится)*.

Гемороевъ. Ну, откупоривай *(лакею)* пожалуйста; только безъ этихъ хлопушекъ... можешь идти *(самъ наливаетъ стаканы: одинъ ставитъ передъ Машей, другой беретъ себѣ. Золотухинъ дѣлаетъ то же)*.

Гемороевъ. Послушай, Маша, какая ты хорошенькая... Тебѣ Иванъ говорилъ?

Маша. Какой Иванъ?

Гемороевъ. Лакей.

Маша. Говорилъ.

Гемороевъ. Ну, что-жь?

Маша. *(тихо)*. Нѣтъ, я туда не пойду... Матушка узнаетъ. *(Золотухинъ говоритъ что-то на ухо Ганѣ, та смѣется и качаетъ головой)*.

Гемороевъ. Да почемъ она узнаетъ?

Маша. Узнаетъ... нѣтъ... не пойду.

Гемороевъ. Ну, пей же.

Маша. Я не стану.

Гемороевъ. Это отчего?

Маша. А какъ захмѣлѣешь?

Гемороевъ. Что за глупость! это развѣ водка, это

дамское вино! Пей!... бери... ну, вотъ такъ... за твое здоровье... чтобы у тебя мужъ былъ хорошъ.... *(чокается).* Ну, пей, пей разомъ... Вотъ такъ... молодцомъ! Хорошо?

Маша. Да...

Гемороевъ. Ну, вотъ, я говорилъ *(наливаетъ еще).* Пей! Какая она уморительная! Чисто русскій типъ... Еслибы только не такъ толста...

Золотухинъ. Моя лучше... ха, ха, ха!

Гемороевъ. Маша, слышишь? Отомсти ему! пей еще *(наливаетъ).*

Маша. Нѣтъ... не стану... что-то въ голову бьетъ.

Золотухинъ. Знаешь, какъ отомстить?... поцѣлуй меня.

Гемороевъ. Послушай, Маша, пропляши.

Маша. Упаду, голова кружится.

Золотухинъ. У нея глаза славные *(потихоньку напѣваетъ):*

Взглядъ одинъ чернобровой дикарки,
Полный чаръ, зажигающихъ кровь,
Старика раззоритъ на подарки,
Въ сердце юноши броситъ любовь!

Гемороевъ. Пей! *(обнимаетъ ее вокругъ таліи)* пей! Да?...

Маша. Нѣтъ *(вскидываетъ голову)* а! *(тяжело дышетъ)* голова кружится!...

Золотухинъ. Моя Ганя молодецъ... Ганя! спой ей что-нибудь... повеселѣй что-нибудь...

Ганя. Да что-жь ей спѣтъ... Маша, а Маша, давай вмѣстѣ. *(Маша отрицательно качаетъ головой).*

Золотухинъ. Ну, одна спой.

Ганя. Да что-жь, развѣ эту?

Гуляй, гуляй, Маша
Пока воля наша.—
Замужъ отдадутъ,
Такой воли не дадутъ.

Гемороевъ. Молодецъ, Ганя, умница!...

Золотухинъ. Я тебѣ говорю, она славная дѣвчонка. Тогда у Рыбникова она такимъ молодцомъ была.

Гемороевъ. Ты была?.. А!—я не зналъ... А Маша была?

Ганя. Ну, нѣтъ... она все дома сидитъ.

Гемороевъ. А ты все кутишь? *(Ганя смѣется. Золотухинъ обнимаетъ и цѣлуетъ ее).*

Золотухинъ. *(къ Гемороеву).* А ты это помнишь?

Да въ подрумяненныхъ губахъ
У нашихъ барынь городскихъ
И звуковъ даже нѣтъ такихъ!

Знаешь, у него въ стихахъ вѣдь есть что-то такое... отвергать его дарованіе нельзя. Онъ вѣдь иногда... этакъ *(показываетъ рукой)* мѣтко довольно схватываетъ. Одно жаль, что это какъ-то грубо... возьми, напримѣръ, вотъ Фета.

Гемороевъ. Однако, пойдемъ.

Золотухинъ. Куда?

Гемороевъ. Въ оранжерею. Я тамъ велѣлъ все приготовить, знаешь, въ китайской комнатѣ?...

Золотухинъ. Серьезно?—Браво! идемъ...

Маша. Куда? я не пойду.

Гемороевъ. Что за вздоръ? Какія глупости! Что мы, съѣдимъ, что ли, тебя? *(обнимаетъ ее и ведетъ).*

Золотухинъ. А вина-то возьми же.

Гемороевъ. Брось, чортъ съ нимъ. Кто нибудь выпьетъ. Тамъ еще есть... я уже велѣлъ.

ЯВЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Тѣ же и Соколиковъ *(выходитъ на встрѣчу)*.

Соколиковъ. А я соснулъ, и теперь опять готовъ.

Золотухинъ. Счастливая натура!

Соколиковъ. Я всегда такъ: 5—10 минутъ заснулъ, и опять готовъ. Что-жь не попотчуете меня? Я вамъ, кажется, помѣшалъ? Вы того?

Золотухинъ. Сдѣлайте одолженіе, сколько угодно, Вотъ эта бутылка почти цѣлая, только откупорили. *(Соколиковъ наливаетъ въ стаканъ и пьетъ)*.

Соколиковъ. За успѣхъ вашей экспедиціи, господа! Ха, ха, ха!

Золотухинъ. Какой экспедиціи?

Соколиковъ. Какой? ха, ха, ха! Разсказывай! дурака какого нашелъ! ха, ха, ха!..

Золотухинъ. Посмотрите-ка, какая тамъ иллюминація. Щитъ, вонъ, вензель.

Соколиковъ. Чортъ съ ними! Глупо онъ все это сдѣлалъ... у Рыбникова, помните, развѣ такъ было?

Золотухинъ. Да вѣдь у него и не то было. Вѣдь тутъ это народное торжество.

Соколиковъ. Вотъ чепуха какая! То же самое. Тутъ даже и дѣвки нѣкоторыя тѣ же самыя. Да вотъ никакъ эта была. Рожа что-то знакомая *(указываетъ на Ганю)*.

Ганя. Была-съ.

Соколиковъ. Я помню. Рожа знакомая.

Гемороевъ. Что у васъ за выраженія!

Соколиковъ. А что?

Гемороевъ. Какъ что? развѣ можно такъ выражаться?

Соколиковъ. *(наливаетъ себѣ стаканъ, выпиваетъ его и, опять наливая, обращается къ Золотухину).* Нѣтъ, главное, эти господа въ такихъ вещахъ толку ни бельмеса не смыслятъ и не хотятъ посовѣтоваться. Стояли мы въ Малороссіи. Такъ развѣ мы эти вещи дѣлали? А это что? къ этому дню, по настоящему, надобно бы изъ Москвы цыганокъ выписать. Это такъ... А то что? Ну, вотъ двѣ красавнцы, а что въ нихъ толку... *(къ Гемороеву)* Послушайте, однако, ваша-то захмѣлѣла, вы скорѣй идите!

Гемороевъ *(съ досадой).* Да мы никуда не идемъ.

Соколиковъ *(продолжаетъ).* Ну, что въ нихъ толку? Что онѣ толсты-то, да румяны-то?—Вѣдь и только. Да чортъ бы ихъ побралъ: рѣпа! *(беретъ за подбородокъ Машу)* а цыганка, цыганочка, ххе! Гм! *(прищелкиваетъ пальцемъ).*

Гемороевъ. *(сухимъ, задыхающимся голосомъ).* Послушайте, какъ васъ? Это ужь ни на что не похоже. Вы никакъ, въ самомъ дѣлѣ, воображаете, что вы у Рыбникова? Извольте извиниться сейчасъ передъ ней, слышите?

Соколиковъ. Что такое?

Гемороевъ. Да развѣ не слыхали?

Соколиковъ. Слышалъ.

Гемороевъ. Еще разъ повторяю: извольте извиниться!

Соколиковъ. Ты въ своемъ умѣ? Передъ твоей дѣвкой я стану извиняться!..

Золотухинъ. *(испугавшись).* Господа, перестаньте, ну что это такое?

Гемороевъ. Ахъ, оставь! Какъ это можно позволять! Какой-нибудь моншеръ... его вонъ надо *(оглядывается, вдали проходятъ два лакея).*

Сокольниковъ. Это что же такое?

Гемороевъ *(лакеямъ)*. Выведите его!

Соколиковъ. Кого, меня? Ахъ ты, щенокъ этакій!

Гемороевъ. Тащите его! вонъ! *(Лакеи хватаютъ и тащутъ)*.

Соколиковъ. Караулъ! грабятъ! А! А!

ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

(Отовсюду сбѣгается народъ).

Сычуговъ. Чтò это такое?

Гемороевъ. Я велѣлъ вывести его. Пьянъ, мы гуляли, онъ откуда-то вывернулся и началъ говорить разныя сальности, дерзости...

Соколиковъ. Врешь, подлецъ. Самъ началъ. Все дѣло плевка не стоитъ, вздоръ! пшикъ!

Сычуговъ. Послушайте, милостивый государь, что это за выраженіе. Развѣ въ порядочномъ обществѣ...

Соколиковъ. Пшикъ?.. что такое пшикъ?—Пшикъ и больше ничего!

Сычуговъ. А я вамъ говорю, чтобы вы этого слова не употребляли, если хотите быть съ нами.

Соколиковъ. Да что-жь тутъ такого?.. пшикъ?

Пупыринъ. *(подходитъ)*. Что это такое?

Сычуговъ. Пьянъ и говоритъ разныя сальности, сейчасъ даже при насъ позволилъ себѣ такое выраженіе...

Соколиковъ. Что же я позволилъ,—пшикъ!...

Недобѣжкинъ. Опять нализался! Иди... тебѣ говорю.

Соколиковъ. А тебѣ какое дѣло?

Пискаревъ. Ну, ну... иди, иди, иди.. пошелъ, выспись!...

Сычуговъ. Г. Соколиковъ, я вамъ предлагаю удалиться отсюда.

Соколиковъ. Что такое? куда удалиться?!..

Сычуговъ и Пупыринъ. (*вмѣстѣ*). Выведите его!

Соколиковъ. И вышли дураки, пшикъ!... пшикъ!...

Пупыринъ. Отведите же его! (*Недобѣжкинъ и Пискаревъ тащутъ Соколикова; онъ барахтается и кричитъ*).

Геморoевъ. Это чортъ знаетъ что!...

Соколиковъ. (*вырываясь*). А мнѣ, главное, вотъ кого! Щенокъ этакій, и туда же! ты знаешь, кто я?.. а?.. всю морду!...

ОГЛАВЛЕНІЕ.




2007110920